

ГРАНИ

GRANI

159

1991

Verlagsort: Frankfurt / M, Januar-März

"ГРАНИ"

Ежеквартальный журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической жизни. Проза, поэзия, очерки современности, философия, публицистика, литературная критика и пр.

Журнал считает своим долгом способствовать развитию свободной мысли, свободного слова, свободного творчества; способствовать публикации произведений, которые не могут быть изданы на родине из-за цензурных или политических ограничений. Из широко известных авторов в "Граних" были опубликованы произведения:

А. Ахматовой, Л. Бородина, М. Булгакова,
И. Бунина, Г. Владимова, В. Войновича,
З. Гиппиус, В. Гроссмана, Ю. Домбровского,
Н. Заболоцкого, Б. Зайцева, Е. Замятина,
Н. Коржавина, В. Корнилова, А. Куприна,
С. Левицкого, Н. Лосского, В. Максимова,
О. Мандельштама, В. Набокова, В. Некрасова,
Б. Окуджавы, Б. Пастернака, К. Паустовского,
А. Платонова, Г. Подъяпольского,
Р. Редлиха, А. Ремизова, Ф. Светова,
А. Солженицына, В. Солоухина, М. Цветаевой,
И. Шмелева, В. Шульгина...



Журнал основан в 1946 году
Основатель журнала Е. Р. Романов

Редактировали:

1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов, Б. В. Серафимов

1947 – 1952 Е. Р. Романов

1952 – 1955 Л. Д. Ржевский

1955 – 1961 Е. Р. Романов

1962 – 1982 Н. Б. Тарасова

1982 – 1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч

1984 – 1986 Г. Н. Владимов

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XLV

№ 159

1991

СОДЕРЖАНИЕ

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

Владимир САПОЖНИКОВ. Моё покаяние 5

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Максим СТИШОВ. Окончательные итоги 45

Е. СМАГИНА. Стихи 110

Андрей ОКУЛОВ. Леший камень 118

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Вадим КРЕЙД. О поэте Александре Кондратьеве 129

Ив. ТОЛСТОЙ. Рассказ В. Набокова "Лик" –
Малая Вселенная 147

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Ольга КЛИМЕНКО. Десять лет (окончание) 157

ИСТОРИЯ

Юрий ФЕЛЬШТИНСКИЙ. Разговоры с Бухариным 189

ПУБЛИЦИСТИКА

О. ЛЕБЕДЕВ. Спасемся ли?	221
Роман РЕДЛИХ. О диалектике трудовых отношений	241

ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА

Виктор БЫЧКОВ. Возвышенным земное укрепляя	253

ПУБЛИКАЦИИ

Леонид БОРОДИН. Полюс верности	269

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Валентина СИНКЕВИЧ. Посмертная книга Леонида Ржевского (Л. Ржевский "К вершинам творческого слова")	304
Евгений КРОХМАЛЬ. Сталин - это Маркс сегодня (Юрий Боров. "СталиниАДа". М., 1990)	310
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ	317

Обложка работы художника Н. Мишаткина

Владимир САПОЖНИКОВ

Моё покаяние

*"...путь к возрождению лежит
через покаяние".*

Николай Бердяев

Зашли ко мне на чай двое молодых людей, муж и жена, разговор получился горячий, митинговый, та и другая сторона пришли в сильное волнение – и вдруг гости мои стали требовать, чтобы я покался. Не от себя лично, объяснили они, а от имени поколений, подарившим им, молодым, вполне свинскую жизнь.

Что жизнь наша не сахар, я, естественно, соглашался, но взваливать ответственность за ее свинство на себя показалось не совсем справедливым, поскольку, если я и строил текущую жизнь, то не по эту, а по ту сторону колючей проволоки в одном из лагерей под Омском. Пусть покаются вначале прорабы и "генераторы", возражал я, те, что вырабатывали идеалы светлого будущего и приводили их в исполнение, а я сам жертва: десять лет и пять поражения – не шуточки.

– Да, вы жертва, ну и что? – Муж выдержал паузу, жестко закончил: – Но еще не известно, чья вина больше: палача или жертвы.

Юная дама в знак согласия закивала головой: да, еще неизвестно.

Выходило, если каяться, то и тем, и другим,

вроде как бы и гильотине, отрубаящей головы, но и отрубленной голове, чья вина, как настаивали мои друзья, не меньше, а, может быть, даже больше.

Уточнение это меня, надо сказать, немало обеспокоило: была в нем какая-то логика, может быть, по ту сторону добра и зла: отрубили тебе голову – покайся.

С позиции жертвы я, разумеется, оспаривал ее, странную эту логику, но, когда молодые люди ушли, призадумался. Вот и старичок гуманитарный, сам великий страдалец, призывает всех нас к покаянию, но не раздельно, – чтобы "генераторы" – исполнители сами по себе, жертвы – тоже, нет, говорит старичок, надо покаяться всем миром, соборно.

Увы, призыв старичка-страдальца, если и был услышан, то последователей что-то не слышно, что, может, даже к лучшему. Представить страшно, какой жуткий вопль потряс бы Россию, восстань все жертвы и палачи к покаянию!

Мертвые, слава Богу, лежат тихо, а розово-щекие старички, что приводили в исполнение, благостно доживают век по заслуженным персональным дачкам, видят розовые сны, над ними не капает.

А Руководящая, когда ей напоминают, гневается: какое еще покаяние?! Было, было, но что? Были деформации, были искажения – диалектика, а одна кристально честная дамочка уверяет, что если жертвы и были, то в оптимальных параметрах, вполне допустимых: лес рубят – щепки летят. Она ученый-химик, воспитатель юношества.

Не каяться, а работать, как всегда, лозунгом чеканит Руководящая. А кому приспичило каяться, пусть делает это явочным порядком – не запрещено.

Я в партии не состою, но призыву державному решил последовать, поставив перед собой одно условие. Условие это – покаяние мое не только от себя лично, но и от сословия моего, российского крестьянства. Оно тоже ведь жертва, самая, надо сказать, главная жертва, бывший главный класс империи, ее опора и надежда.

А кто, спросят, уполномочивал? Каяться от имени? Никто. Сам. Признаюсь, пошел на это, зная, могут обвинить в нескромности, усомниться даже, есть ли корни. Нескромность, согласен, налицо, а насчет корней – есть корни.



Родители мои "с Танбови". Сколько поколений дедов и прадедов моих крестьянствовало на тамбовской и соседней рязанской земле, я не знаю, но дед по отцу Митрофан Тимофеевич сразу после "манифеста" подался в Сибирь на вольные земли. До Алтая – дело было еще до "железки" – добились гужем, ехали зиму и два лета, везли на телегах сохи и бороны, и судьба крестьянствовать уготована была также и мне, потому что в тот день, когда я родился, на меня, как на "мужеска пола" был выделен надел земли в селе Клочки, что до сих пор здравствует в алтайской степной Кулунде. Крестьянствовал бы, наверное, до сих пор, но за какие-то грехи великие Создатель отдал судьбы русского мужика в руки некоего Джугашвили со товарищи, и не стало у меня ни надела в две десятины, ни дома с родными полатями, даже имени, коим был назван в клочковской церкви, и с шести лет от роду я долгие годы жил, именуясь Юрием Юдаковым...

Как и всякого деревенского, всю жизнь тянуло меня побывать на родине, в Клочках, но все недо-

суг: то тюрьма, то война, то сомнение: как отнесутся односельчане к появлению на улице раскулаченного, репрессированного? Политическую чистоту душ Руководящая блюла, как зеницу ока, оберегая строго чистых от нечистых.

Все же, хотя не ждал, не звал меня никто в родном селе, тайком собрался, поехал – была мечта вернуться когда-нибудь на родину. Разыскал родную улицу, не признаваясь, кто я и зачем, попросил показать место, где стояло отцовское подворье. Непомерной толщины пни столбов воротных да заброшенный колодезь – вот и всё, что осталось от родного дома.

Всю жизнь я как-то связан был с селом, и теперь лето и зиму живу в собственном деревенском доме, окна которого смотрят на лесистую горюшку, где белеют кресты погоста. Там, в белоствольной березовой роще, хоронят своих усопших все три села "моего" совхоза, придет время, на той горюшке упокоюсь и я...

Вблизи кладбище омрачит душу странника: чурбаны бетонные с крашеными звездами, ни оград, ни дорожек, а если кресты, то сваренные из монтажной арматуры – ни святости, ни печали, но место славное, тихое. Внизу речонка-невеличка, соловьи всю весну заливаются, коршун парит в небе. Коршуна я хорошо знаю, он всегда тут живет, а с мая по конец июля – кукушки. Будто со всего света слетевшись, обжили они погост, долинку речную, иногда слышишь одновременно четыре-пять кукуваний разных – этаким хор, благовест голосов вещей...

Деревни же, как и везде по родной Сибири, не веселее погостов. Скверно спланированы, постройка уныло-сарайная, улицы взрыты тяжелой техникой, грязь, топь. Ни цветка, ни деревца в палисадниках, во всей округе – ни церкви, ни часовенки: не села – стойбища шиферные. Лень окно изукрасить

кружевным наличником, но радует лишь нечаянно оставшееся польце с негой озерца, дремлющего в камышах, болото с совиным гнездом и ночным уханьем – всё, что осталось от России лошадной, сосново-березовой.

В селах-стойбищах проживает население, работающее от и до, с двумя выходными, с летними отпусками, с прогулами и запоями – какое это крестьянство? Совсем другое сословие, от его имени я не хочу, не буду каяться, не имею права – не моё. Судьба моя – сословие истребленное, ушедшее неотпетым, неоплаканным похороненное.

Господи, как всё переменилось! Когда-то на Руси судьбой обиженных жалели, теперь вот зовут к ответу, к покаянию. В тюрьме сидел – кайся, в плен попал – предал, кайся. Под колесо истории попал, раздавлен – кайся!..

Ну что ж, взялся за гуж... И хотя сказано: "Единица – вздор, единица – ноль", начну с себя лично, опустив детство-отрочество.

Нет, Гаврошем я не был – Гавроши бегают, наверное, только по площадям Парижа, а я, едва став юношей, получил свои десять лет и пять поражения, хотя еще решительно НИЧЕГО не сделал. Посадили меня за то, что я, сын репрессированного, имел наглость дышать, книжки читать, мысли свои в дневнички записывал.

Ах, юность, пора подвигов и свершений! Мне едва исполнилось восемнадцать, а я уже был ТАМ, и единственным лагерным подвигом моим было то, что не околел, выжил, меня не выбросили в Медвежий лог, куда выбрасывали "жмуриков" другие ээки, раскачав за руки и за ноги.

И на войне я ничего не сделал – не верю я в подвиги воинские – кормил вшей, зверел, теряя с каждым днем, что было святого в душе, а когда кончилась война, в первую "оттепель" получил две бумажки-четвертушки: реабилитацию на отца Кон-

стантина Митрофановича и на себя. Я подолгу рассматривал и перечитывал эти бумажки. Статья... пункт такой-то... приговорен... умер... из-за отсутствия... реабилитирован...

Неприкрытый цинизм бумажек-четвертушек отдавался болью в сердце: убит, а потом реабилитирован! Ни копии приговора, ни имен участников особого совещания, ни слова о том, где умер, где похоронен. Скорее всего нигде не похоронен, избит, убит, выброшен. Надо – уничтожали. Теперь надо реабилитировать – реабилитируют. Господи, как всё просто, что надо, то и делаем. И мог же, мог и то, и другое сделать над отцом моим один и тот же человек! Сначала расстрелял, а теперь подписал новую бумажку. Той же самой рукой!..

Я думал почему-то, все исполнители живут там же, где их хозяева, и однажды решил поехать в Москву. Потребовать, чтобы мне объяснили, почему в ночных кошмарах я вижу не войну, а дизентерийный барак, где засыпал рядом с живым человеком, а утром просыпался в объятьях с окоченевшим трупом.

Сам доходяга, я помогал доходягам-дневальным стаскивать бывшего человека с нар, и этот бывший человек – прошло тридцать лет – реабилитирован. Из-за отсутствия!..

Я хотел проникнуть в Кремль, я был тогда холост, романтичен, умирал бы легко...

Но я не поехал в Москву, не проник в Кремль, и это считаю тяжким своим грехом, в чем и каюсь. Совесть мучает меня: ничего я не сделал – одни лишь порывы – это и есть мое признание, покаяние моё.

...Творцы застоя лежат в почтенных могилах, время, сотворенное ими, стало могилой душ живых. Однажды сделалось мне совсем тошно, жизнь опостылела, и была ночь, когда стояло в изголовье

заряженное патроном с жаканом ружье. Добротный немецкий "Зауэр - четыре кольца", который никогда не делает осечек.

Нет, я не спился, не вино то было. Я сдался, устал. Лгал и трусил, как лгали все кругом, даже хорошие люди. Жизнь затопила всю жизнь, проникла во все поры ее - ничего святого. Приходилось заполнять массу анкет, во всех анкетах я скрывал, что был репрессирован, что происхождения из семьи зажиточных крестьян. Об отце я писал - середняк, умер в тридцать седьмом от болезни. И постоянно боялся разоблачения. Проклятье своего прошлого я скрыл и при вступлении в Союз писателей. Не приняли бы, а узнав, прогнали бы, побрезговав состоять со мной в одном союзе, исповедующем принципы социалистического реализма.

Я всегда завидовал человеку, который мог сказать о себе: я из семьи учителей, инженеров, офицеров. Я был из "низшего" сословия, пораженного "идиотизмом деревенской жизни", презираемого даже святой нашей классикой. Из сословия, погрязшего в пьянстве, жадности, разврате - почитайте Чехова, Горького, Бунина, да и Льва Великого - соврать не дадут.

Я сломался душой, сдался и, сдавшись, приговорил себя. Приговор должен был быть приведен в исполнение утром, уже и записка лежала на видном месте.

Но была жива еще моя мать, Марфа Никифорова, она жила в другом городе, в другой области. Ей было тогда под восемьдесят, и этот человек оказался той соломинкой, за которую потянулась моя рука ухватиться.

Мать моя в школу ходила две зимы, письма ко мне писаны ею, как научил батюшка в сельской школе - с ерами и твердыми знаками. И единственная книга, которую она читала всю жизнь, -

Евангелие, тоже была издания старого, с теми же твердыми знаками, фитами, ерами.

Единственным наследством моим от матери была эта старенькая, до дыр зачитанная книга, которая достанется моему наследнику, сыну. Жила мать с внучкой, детей ее она вынянчила, вырастила, и я, приезжая, всегда удивлялся, какое множество полужнакового и совсем не знакомого мне народа кишело вокруг моей матери: двоюродные, троюродные, какие-то там внучатые племянники и племянницы, народ современный, джинсовый, всех она знала, помнила, кто чей, кому когда жениться, выходить замуж, каждому умела сказать что-то своим незабыто-крестьянским старинно-бунинским говором.

Я отложил в ту ночь исполнение приговора, решив съездить в шахтерский город, попрощаться с матерью. И теплилась детски-наивная надежда, что мать знает какое-то слово, которое примирит меня с опостылевшей жизнью.

Какое слово могла сказать полуграмотная крестьянка, верившая в приметы и домовых, усмехался я сам с собой, лежа на верхней полке переполненного вагона. Так и случилось: ничего особенного мать не сказала, лишь допытывалась, не хвораю ли, нет, здоров, уверял я, утаив, что ехал прощаться. Она призналась: последние дни очень болело у нее сердце, так болело, так беспокоило, не находило себе места в груди, а вчера дважды вставала ночью и молилась обо мне на образ Пресвятыя Богородицы Споручницы. И был ей будто бы голос — ехать ко мне, уже и за билетом собралась послать, а я вот он, слава Господи, сам надумал. Хорошо-то как, слышала молитву Матерь всех детей...

Мать смотрела на меня, как на диво, а мне было невыносимо горько. И стыдно: знала бы ты, мама, какую беду угадывало твое вещун-сердце,

знала бы, от какого горя оберегла тебя Богородица!

Я тогда позавидовал ей, насколько же она была сильнее детей своих, счастливее! Любить родных и неродных, дарить всех теплом и лаской, каждый день встречать светло, с надеждой! Это при ее-то жизни – войны, перевороты, раскулачивание, позорище суда, этапы, сахалинский ГУЛаг... Три года мать получила за поддельную справочку, которая спасла нас от Нарыма, но не спасла ее от тюрьмы и каторги. И на ее же сердце – наши судьбы, детей: один кончает срок, другой под следствием, третьего исключили, выслали – деньжонок бы, посылочку. Вспоминая, и сейчас удивляюсь и завидую: было матери уже за восемьдесят, но все та же легкость на радость, все та же вера неиссякаемая, что завтра полегчает, обыдется.

Как-то само собой мне рядом с матерью стало спокойней, я всегда заражался ее мужеством перед любым завтра, какое Бог пошлет, умением найти в нем свое место, обогреть его, сделать жилым и светлым. Жизнь должна была давно обозлить бы ее, вымотать, а она, дивился я, живет, и ни один день ей не в тягость, каждый миг – благодать и радость. Лонись в церкву ходила, апосля службы на барахолку завернула, ботиночки Славику (правнуку) глянуть. Купила. Такие расхорошенькие ботиночки и совсем как новые. Славик с ног ботиночки не сымает...

Умерла она легко, прилегла посеред одного из своих нескончаемых дел, глубоко вздохнула, затихла. На ее восковом, остывшем лице остановилась улыбка: вот и всё! Ни страха перед тем, что будет ТАМ, ни сомнения, что ТАМ начинается великое настоящее.

Поколения наших отцов счастливее нас, вера входила в их жизнь с рождения, и потому они не знали самого страшного одиночества – одиноче-

ства души. Было у них к кому прийти с горем и с радостью, прислониться душой и сердцем, а миром моей души были тифозные бараки, казармы и нары, зоны, изоляторы, гражданин начальник, "попка" на вышке, клацанье затвора, чистки, "сахалины" и "камчатки", дрянные киношки, дрянные книжонки – вся жизнь под надзором комендантов-фюреров, вколачивающих любовь к себе, веру в своих сатанинских богов и апостолов, – к кому прислониться душой и сердцем в мире, созданном без души, без сердца?

Нет, я не жалуюсь, некому, да и кто услышит? От лица своего поколения я каюсь. Слишком плавно мы вросли в мир "попок" на вышке, комендантского надзора за нашими душами, слишком легко согласились с духовным нашим ограблением, душевным оскотечением. Каюсь в той легкости, с которой мы приняли новую веру с ее звериной диалектикой вечной грызни всех со всеми.

Я не жалуюсь, я сомневаюсь, прости, мама. Если Бог все видит, все в руке Его, то почему допустил торжество Сатаны над творением своим – человеком? Зачем унизил его до степени убойного стада?

Неужто всего лишь ради урока другим народам?

Жестокий урок, Господи!

Понимаю, кощунствую, промысел Создателя непостижим, но не могу удержаться, чтобы не взроптать: во имя какого промысла высокого понадобилось уничтожение целых сословий на одной шестой части света?

Эксперимент? Но чей? И почему жертвой эксперимента вновь и вновь становится крестьянство, сословие самое многочисленное, самое незащищенное? На Западе крестьянство – элита общества, самое уважаемое сословие, а у нас – объект кровавых экспериментов.

Кошунствую, но трудно молчать, вопиет сердце. Исчезло многомиллионное сословие мгновенно, как динозавры. Эта мгновенность поразит будущего историка, он решит: такое могло случиться лишь в России, стране исторических парадоксов, нескончаемых войн и нелепых революций.

Россия, бедная Россия... Великая! Третий Рим. Страна смердов, холопов и сиятельных сиятельств. Оплот и символ. Страна революций и карточек. Страна мечты и тюрьмы. Надежда мира. Колосс на глиняных ногах за железным занавесом. Слепой богатырь, потерявший поводыря. Не Европа и не Азия. Обдумывая судьбу родины, поэт-классик обескураженно воскликнул: "Умом Россию не понять, аршином общим не измерить". Абсолютно это невозможно – измерить общим аршином Россию. Маловат он будет для нас, общий аршин, не та мы держава.

А другой классик, не поэт, – прозаик, написавший поэму о мошенниках, уродах-кувшинных рылах, вдруг придя в душевный восторг, роскошно уподобил Русь птице-тройке, которая мчится неведомо куда, поражая удалью остальные народы, замершие обочь дороги.

Теперь вроде прояснилось, куда мчалась та птица-тройка, вроде бы уже и приехали, но неужто в эти болота гиблые и мчалась она, птица-тройка? И зачем спешить-то было, сломя голову мчаться, не сверившись, туда ли скачем?

Ох уж эти кучера наши, беда ты, невезуха наша горькая! Хоть однажды повезло бы, пофартило на доброго да мудрого! То Грозный, то Великий, то шлюха на престоле, и тоже Великая! А новая волна – не приведи Господи! Откуда, из какой адской преисподней выходцы?! То начетчик с иностранного, то вор в законе с бандой мерзавцев, то плясун под балалайку, то марионетка с интел-

лектом деревенской дурочки, то из лакеев, то на семи ветрах флюгер...

И вот прискакали. Скольким поколениям уже с разных трибун вдалбливают эту самую птицу-тройку: очень по душе отцам отечества прилась красивая картиночка! И я, учась в школе барачного типа, заучивал птицу-тройку, и теперь в период всеобщего среднего вдалбливают ее в головы доверчивой юности, хотя давно никуда не скачет наша птица-тройка, а стоит и двошит посреди дороги, как загнанная кляча с провалившимися боками, с запавшими глазницами, и напуганные народы ждут, что же будет: рухнет кляча или пока еще не рухнет?

Опасаясь за экологию, сытые народы собираются, кажется, пустить шапку по кругу — помочь нам, а то как бы самим не стало хуже. Только это уже было: семьдесят лет назад умный Запад тоже гадал, взвешивал: помочь захлебывающейся в крови гражданской войны России или погодить. Думал, гадал, а между тем вся марксистская рать, пересидевшая империалистическую в тепле швейцарий, уже хлынула в Россию. И Запад великолепный знал, с чем она хлынула: читал он Плеханова, Короленко, "Бесы" Достоевского, философов, изгнанных из России Лениным. Не мог Запад не знать, чем обернется нашествие на Русь чумы двадцатого века, но с брезгливой жалостью отворачивался: в России всегда нечисто: Азия! Русские? Таким народом можно пожертвовать, сказал Бисмарк. И Запад великолепный решил пожертвовать, ограничившись все той же шапкой по кругу, в которой звякали пенсы дамской благодетельности.

Впрочем, можно ли было помочь в те страшные годы остервеневшему, потерявшему Бога и разум народу? Как только большевики отворили большую кровь гражданской, народ, будто в чужой, за-

воеванной стране, кинулся грабить, убивать, жечь, мстить. Село с топорами и вилами шло на село, сражаясь за право грабить барское поместье, любую небедную усадьбу, в том числе и столыпинских "богатеев", то есть мужиков же!

В те кровавые, озаренные пожарищами дни и ночи Сатана, думаю, ликовал дико, радуясь своей полной победе на одной шестой части земного шара! Брат на брата, сын - на отца, сын красный, отец белый. Мать, помню, рассказывала: вели однажды по улице четверых разутых "беляков". Конные с ружьями вели своих пленников расстреливать в Космолинский бор, а "беляки" те были четверо мужиков из соседней Волчихи...

Кто же мы? Палачи? Жертва? И покаяние наше по какому статусу? Палача или жертвы? Если русский народ - жертва, кто палачи? Евреи, которые вместе с Лениным вернулись из швейцарий? Нет, православные, не возьмем греха на душу, не евреи, не Свердловы, не Троцкие - мы сами. Рабочие. Матросы. Солдаты в буденновских шлемах, бывшие мужики - рязанские, курские, орловские.

В этом и покаемся. Жертвы - мы? Палачи - мы же.

Я говорю "мы", потому что отец мой Константин Митрофанович был белым, был и красным. Я видел его книжечку - мандат красного партизана. "Ты стрелял? - приставал я к нему. - В своих?" - "А ты бы не стрелял? - сердился отец. - Комиссар-то вот он, рядом. С наганом".

Палачи и жертва, между ними шаг малый, и эта эфемерность роковой черты - не еще ли одна загадка русской души, русской судьбы?

Комиссар с наганом! Но ведь ты с ружьем, папа!

Непротивление - худшее, чему учил нас брадатый пророк. "Если у тебя попросят халат - отдай рубашку" - худшее, чему учила церковь, хотя

философы-идеалисты усматривают в непротivлении некую мистическую силу, способную смирить убийцу. Чем? Ненасильственным противостоянием, терпением, ибо крови жаждущий, утверждают философы, многократ свирепеет в ответ на сопротивление, а это новые жертвы, новая кровь. Смирение якобы уже способно смягчить самое жестокое сердце.

Может, и способно, не хочу спорить, но приглашаю своих возможных оппонентов побыть в овчарне, куда ворвалась стая волков. Клыкастые боевики режут направо и налево, хмелея от крови жертв, как хмелели волчьи стаи Дзержинского-Сталина, ворвавшись в овчарню российско-толстовского непротivления.

Для иллюстрации: боевики Дзержинского расстреливали выборочно, даже суды-процессы устраивали, волки Абакумова-Ягоды-Ежова, поставив дело на поток, расстреливали списками, колоннами, лагерями, а сажали уже миллионами, волки Берии подняли масштаб еще на один порядок выше, ссылали, губили целые народы, нации, этносы. Даже головорезам фюрера далеко до рыцарей Лубянки, а изобретение доктора Гильотена рядом с мясорубкой созидателей всеобщего счастья – жалкая французская игрушка.

Говорят, волки – санитары, они подбирают лишь слабое, обреченное – великое заблуждение! Волки партии – гурманы. Они всегда выбирали самое сильное, талантливое, корень нации. Ленин начал с интеллигенции, Сталин – с крестьянства. Мое со-сло-вие – корень нации – было овчарней для волков всех последующих режимов, и мир праху его! Сожрали, исчез класс-кормилец. Мы построили единственное в своем роде государство – без крестьянина-землепашца. Такого монстра история не знала со времен Чингисхана.

Мне возразят: а те сорок миллионов, что жи-

вут на селе и худо-бедно кормят нас, кто же они? То-то и оно, что эти сорок миллионов, что очень худо и очень бедно кормят нас, – селяне, но не крестьяне. Это наемная рабсила, давно забывшая, что значит быть хлебопашцем-хозяином. Работающий за гроши, сельский люмпен не понимает, как это не воровать в "своем" совхозе, в "своем" колхозе. В сущности, он работает за то, что под покровом ночи украдет из ничейного вороха, стянет с поля, с фермы.

Крестьянин, живущий не в доме, а в казенной квартире, которому раз плюнуть – сняться и полететь на все четыре стороны – какой это крестьянин?

Крестьянин – это земля. Надел. Твой до последнего куска чернозема. Надел твоего деда, который, умирая, вспоминал низинку, где славно выходила греча. От тебя надел перейдет к сыну, который пока лежит вон на траве и сучит в воздухе голыми ножонками...

Крестьянин – это дом, двор, тын. Твой тын. Дом и тын рублены тобою, они тебя охраняют, оберегают, согревают – ты Хозяин...

Крестьянин – это семья. Хозяйка семьи – добрый колодезь, из которого, сколько ни черпай, больше прибывает. Сыновья и дочери – начала новых начал. Наследники.

Что унаследует сын-горожанин от отца-токаря? Какую науку? Как нарезать болт, просверлить гайку? Хорошая вещь – гайка, нужен и болт, а сын-крестьянин наследует от отца НАУКУ ХЛЕБА. Всю ее, ХЛЕБА, потную биографию от зернышка, брошенного в землю, до засыпанного в закром вороха, в котором весь смысл мужицкой жизни, вся его на этом свете ценность...

Хлебопашец вольный – вот как с гордостью называл себя русский крестьянин. Потому, думаю, называл, что день на день его жизни всегда не

похож, и крестьянин ВОЛЕН в нем. То пашет, то сеет, то косит, то скородит, то гребет, то мечет, то рожь подошла, то ячмень, то гречиха, то корова отелилась, то коси коса, пока роса, то ненастье – упряжь, телегу почини, а уж в ведро гребни, копни, мечи, спеши, и все надо уметь хорошо, потому что на плохую работу земля неотзывчива.

Крестьянин – это вера в Господа Всеблагого. (Колхозника, крепостного издольщика, мне всегда жаль до слез, обманутый, забитый, он давно потерял веру во все на свете.) Мир настоящего крестьянина – Природа, земля, дар ему Создателя. Ему, заметим, а не помещику. И не Агропрому! Земля – дар Создателя тому, кто на ней работает. Речка, бор, коростель, журавль – это и есть мир крестьянина. Зайчишка, лис хитрый, волк и коршун – его соседи. Надо всеми одна крыша голубая, не даром – Боровое, Щучье, Высокие Сосны, Утиное, Гусиха, Журавлиха, Горностаево, Тальменка, Быстрореченка, Лебедевка.

Журавлиху переименовали в Партсъезда, а Быстрореченку – в имени Куйбышева. "Ты куда?" – "Я в Партсъезд". – "А ты?" – "А я в Кубышеву".

Ах, если бы господа судьбы мужицкой не высасывали до полного истощения его силу, транжиря ее на дурость роскоши, амбиций, на вельмож и генералов, на глупые войны, революции! Если бы господа и челядь не объедали, не опивали крестьянство, не пожирали, как саранча, целые поколения, сколько, я думаю, мужицких Ломоносовых, мужицких Пушкиных и Толстых подарило бы миру мое сословие! Не подарило: не расцветши, отцвели поколения, ложились, как трава, в землю втаптывались, не одарив мир несостоявшимися гениями – мало кому удалось пробиться сквозь стены "крепостей".

Не могу ретроспективно не подивиться тупому

эгоизму прежних наших господ. Многие из десяти тысяч благородных семейств были образованные люди (не все же генералы-хрипуны), знали элементарнейший из законов политэкономии: если класс-кормилец беден, обречен на деградацию, обречены и другие сословия. Само государство обречено и рухнет, как рухнула Греция, пал Рим гордый, как сама собой, в сущности, рухнула Империя всяя Великия, Малыя, Белья и прочая, прочая... Знали, не могли не знать этого Романовы, Юсуповы, Шереметьевы и другие рюриковичи, но княжили беззаботно, ели, пили, веселились, тупо не желая поступиться даже малостью из алчно присвоенных вековых привилегий.

Просвещенные западные родственники, поделившиеся со своими народами землей, властью, свободами, советовали нашим "дикарям" благородным сделать то же самое, но не вняли рюриковичи. Где они теперь? Возмездие свершилось, возмездие за глупую алчность, потомки рюриковичей собирают окурки по Европам, а между тем западные графы и герцоги – до сих пор графы и герцоги.

Историю Рима император Джугашвили, вероятно, знал, во всяком случае на его глазах к ногам Ленина – Троцкого пала империя Романовых, и он понимал, почему так легко далась победа, но бестрепетно реставрировал крепостное право, беспощадно его ужесточив. Сталина можно понять: император-временщик, на его личное царствование в такой огромной стране всего хватит – минерального, человеческого, всякого прочего сырья, а потом? А потом – хоть потоп...

И потоп, вот он. Мы тонем. Помните картину "Княжна Тараканова"? Это мы в каменном зарешеченном мешке. Все вместе – крысы, мыши, люди, тараканы. Все приговорены. Сюда, к нам бы и прежних наших господ, никого не прощает ОН, грозный судия!

Вновь и вновь пронзает мое сердце боль: почему родное мое сословие так покорно сунуло голову в крепость новую? Как вол в ярмо.

И мужик-то к тридцатым годам был уже не Поликушка, холоп дворовый, не Герасим, немой бедолага. После "манифеста" в годы нэпа он, русский крестьянин, забогател, стал "мелкий буржуа". Хорь! Хозяин! О двух и о трех конях, из лаптей давно в сапоги переобулся. Уже и о машине мечтал, той, что "налей карасину и паши себе, шуруй от зари до зари".

Но пришли к нему во двор с пистолетом и декретом три бабенки стриженные да местный из беднейших бедный - и всё во дворе и в избе не твое. Все отобрано, пограблено. Из отчего дома - вон! Из родного села - в Нарым, на верную гибель на голом песчаном острове.

Окрещенного кулаком крестьянина гнали, и он шел. Тупо, немо, покорно. Шел, зная, что половина вымрет еще по дороге. Но ни стоны, ни жалобы, ни слова протеста!

Войск для свершения "великого перелома" на селе - вот еще в чем моя боль, мое-горькое покаяние от имени сословия родного! - кремлевские вожди не посылали. Деревня всё делала собственными силами: раскулачивала, грабила, приговаривала, высылала - нет, конечно, "умом Россию не понять..."!

Варфоломеевская ночь гражданской длилась четыре года, колхозная, в которой погибло многократ больше, - год с небольшим: был накоплен опыт все ожесточающейся классовой борьбы! Неужто, подивившись, грузинский мыслитель русскую душу знал лучше, чем мы сами?! До слез же элементарно все сделал: разделил деревню на две части, бедные, режьте богатых - бросил клич.

И началось...

Год с небольшим - и нет мужика-труженика.

Пограбить, пустить красного петуха голь деревенская всегда готова, но ты-то, Константин Митрофанович, родитель мой, почему так безропотно смирился с участью жертвы? Отдал на поруку имущество, дом, семью! Как, впрочем, и братья твои – Тимофей, Андрей, Никанор – мужики работающие, все под сажень ростом, но смиренные...

Стальные "занозы"? Обрезы? Не было этого в родных Клочках, изучал вопрос. Во всем Ребрихинском районе коллективизация прошла организовано и завершилась в назначенный срок сто процентно! Кулачество как класс было уничтожено. Под корень, подчистую...

...Раскулачивать нас пришли три учительницы из Ребрихи и местный бедняк-активист Игнашка Плюхин, полуцыган. Его мать-нищенку, отставшую от табора, общество приняло из милости, дало ей избу-развалюху, и с детства Игнашка кормился дырявой тальянкой, на которой играл на свадьбах и со слезой пел цыганские песни. Землей Игнашка не занимался, на дворе у него жили две кошки да холостяк-петух, которого игнашкино семейство пыталось изловить, отправить в лапшу, но скоро уставало.

Молоденькие учительницы в одинаковых бумажных блузках потребовали у матери ключи от сундука и, выбросив все на пол, тут же начали переодеваться. Надевали по две, по три юбки, пришли тоненькие, приделались, стали толстухами. Одна, запутавшись в материнской юбке, упала, по-матросски ругнулась матом.

Игнашка Плюхин сундуком не интересовался, он обошел вокруг отца, сидевшего на табуретке, сказал:

- Сымай сапоги.
- Зачем? - не понял отец.
- Для нуждов революции.

Отец выпрямился во весь рост, Игнашка отпря-

нул к дверям, расстегивая кобуру. Отец, дрожа кадыком, шарил себя по карманам, ища кисет. Потом снова опустился на табуретку, стал снимать сапоги. Один сапог, другой...

– Портянки тоже, – осмелел Игнашка.

Сбросив свои расплзшиеся плясунцы, Игнашка переобулся, прошел по избе, скрипя спиртовыми подошвами отцовских сапог.

Мне было шесть лет, я лежал на полатах, с ужасом глядя на то, что делается в избе. Отец хотел было закурить, но учительницы загалдели, заругались, блестя на него злыми глазами. Он не поднял головы, когда стали вытаскивать у матери из ушей сережки, сдергивать с пальца обручальное кольцо, потом полезли за пазуху – искали золото, а отец сидел босой посреди избы со смятым чужим страшным лицом.

Я ревел и бился на полатах, мне было шесть лет, что-то я кричал, заходясь в истерике. Игнашка зарычал на мать: "Уйми пащенка, шалава, а то поленом успокою".

А потом пришла другая "бригада" описывать скотину, телеги, сани, хомуты. Женщины таскали яйца из-под кур, пьянчуги забирались в погреб, выбросив шмат сала, кричали: "Гужуйся, мир голодных!" – а отец? Так и не обувшись, босиком стоял посреди двора, смотрел, как мимо него гнали со двора овец, коров, гусей. Кто-то из бедноты вывел выездного Сивку, Игнашка заорал на отца: "А узда игде наборная? Вожжи, дуга расписная с Барнаула привозил?" Отец распояской шел, куда его посылали, приносил, что требовали, шагая босыми ногами по навозу, – почему, папа?

Отец мой сеял за сто пятьдесят десятин, мог прокормить со своей пашни средний городской квартал – не за это ли отдан был во власть Игнашки, плясуна и матерщинника, которого за лень даже в подпаски не брали? Неисповедимы пути

твои, Господи, – вечно голодный Игнашка Плюхин сделался вдруг ВСЕМ для большого богатого села и для тебя, папа! И для меня, и моей матери, твоей жены, – почему, папа? Игнашка Плюхин водил в овраг за Космолой расстреливать без суда и следствия твоих сверстников, соседей, почему, почему ты допустил все это, папа?!

Ты ведь мог по стене размазать Игнашку, смахнуть его, как пылинку с рукава, но когда уводили со двора Сивку, ты смотрел себе под ноги. И когда стриженные девки изголялись над моей матерью, твоей женой, ты смотрел себе под ноги, не защитил ее. А если бы Игнашка исполнил свою угрозу и разможил мне поленом голову?

Ах, Константин Митрофанович, родитель мой! Как вспоминался тебе потом этот день? Догадывался ли ты, что всю последующую мою жизнь он будет моим позором, мукой, стыдом? Лучше бы ты кинулся на наган Игнашки, ты ведь солдат, а потом убил бы нас с матерью, но ты не сделал этого. Ты ничего не сделал.

Кто-то, наверное, совершил этот подвиг отчаянья, но не ты. В тот день, когда зорили Ключки, полоумный пономарь Филя ударил в набат, и, когда чекисты полезли на колокольню, он стал кидать в них лошадиными котяхами. Его застрелили прямо на колокольне, а потом сбросили на паперть.

Труп блаженного чекисты не разрешили зарывать, объяснили: пономарь расстрелян за призыв к восстанию, он контра, и пусть валяется, пока не протухнет.

Бабы любили убогого, но не ревели по Филимону, боялись. Народ сидел по домам, безмолвствовал. Запугать запуганного труда не много, все наши властители начинали с этого – с петли, плети, опричнины, казематов, чрезвычайек.

Ревела в тот день лишь скотина, которую согнали в общий гурт.

*

...Я никогда о селе не писал, писать под прессом цензуры о родном – мука великая, а солгать, довольствуясь полуправдой, – все равно, что предать.

Наглухо закрыв дверь памяти крестьянского своего прошлого, я писал о другом, и вот эта лишь слеза запоздалая о родном сословии. Но и она едва ли пролилась бы, не оказись повода, на первый взгляд, столь же случайного, сколь и несущественного.

Дело в том, что однажды среди почты своей обнаружил я конверт, обыкновенный дешевый конвертишко с московским штемпелем, но без обратного адреса. Понятно, пущено из столицы, но кем? И мне ли адресовано? Вскрыв конверт, я вытащил несколько страничек типографского текста, начинающегося с непривычно вежливого обращения: "Дорогому читателю".

Это я, стало быть, "дорогой читатель", очень интересно для пишущего оказаться в иной ипостаси, но кому, столь вежливому адресату столицы, я понадобился?

Нет, оказалось, не из столицы то был голос ко мне, издавека, а подпись адресата, исполненная так же типографски, звучала так: "Исполнительное Бюро Совета Народно-Трудового Союза российских солидаристов".

Я долго вглядывался в знакомо-незнакомые слова. Российские солидаристы – что-то знакомое, хотя и не очень... НТС?! Тот самый? Это который заклятый, проклятый, махровый, с волчьим оскалом, со змеиным жалом?! В нашей прессе об НТС, кроме хулы и презрения, до сих пор ни слова

не прочитаешь. Оборотни! Предали! Продали! – напористая наша пресса образ врага вколачивала в наши головы, не жалея ругательного динамита, накопленного еще в революционном подполье. Отребье, приживалы, холоуи, состоят на службе, все полковники-генералы, бывшие, конечно, белые, разумеется. Сверх всего прочего – уголовники, по ком тоскует Лубянка да Таганка, Бутырка и Кресты!

По обычаю, еще Петром Великим заведенному, надлежало мне отнести крамольные бумажки из вражеского стана куда следует: так, мол, и так, не судите строго, я тут ни при чем, голову повиную меч не сечет...

Не отнес, принялся читать. Читаю, профессионально радуюсь: хороший русский язык, толковые советы на тему о том, как нам, запутавшимся в наших идеалах, поправить порушенное в борьбе за эти идеалы хозяйство, как не заголодаться окончательно, не заблудиться на нехоженных путях нашей робкой перестройки.

"Семь реформ народного хозяйства" – так назывался документ. Чистая экономика, займы, инвестиции, приватизация, деидеологизация – все научно, добротное, свежо, спасибо, хлопцы! Читаешь – слеза прошибает.

Подумал растроганно: вот живут где-то в Германии, где-то во Франкфурте, наши россияне, давно живут, там, может, и родились, но не забывают родину предков и нас, грешных, горе мыкающих в дни смуты новой, советом не оставляют. И все еще называют Русь "нашей страной", хотя, может быть, видели отчий край лишь на географической карте!

И ох, как жаль вас, хлопцы, и себя жаль тоже – какие же мы невезучие, бесталанные уродились у матери нашей, Родины!..

Не доводилось мне встречаться с западными

соотечественниками, это первая заочная встреча, от души захотелось поблагодарить всех, к посланию причастных, особенно же авторов реформ. Сел я за стол, чтобы написать благодарственный отклик, но возникли у меня встречные проекты, разные мысли потекли по поводу и без повода, и написались вот эти страницы.

Добрые, повторяю, умные советы, спасибо, земляки, только в какой стране предлагаете претворить их? И с каким народом? С тем, на котором, как прозвище, ярлык "советский"? Такого, кстати, народа нет, но есть отношение к труду - советское. Это такое отношение, когда человек не работает, а только зарабатывает, и так как зарабатывает мало, плохо, то и работает плохо. В сущности труд советского человека - это не прекращающаяся семьдесят лет забастовка. Есть сидячая, лежащая забастовка, а это загорай-забастовка, забастовка показуха-рассыпуха, "я что дурак, чтобы на работе работать?"

И с такими работниками вы хотите, земляки, еще раз попробовать построить на Руси рай?

Не выйдет. Снова получится показуха, потому что у нас нет живого самообновляющегося, саморегулирующегося, растущего государства. Есть замешенные на ленинско-сталинских дрожжах элитарные структуры самосохранения со стократным запасом прочности. Неповоротливые, тупые, они отторгнут немедленно любые, самые гениальные новины.

А так, что ж, сами по себе реформы прелесть как хороши! Все семь, одна другой взвешенней. Но, увы, не для нас, для народа другой судьбы.

Ах, эти реформы, манифесты, декреты, указы! У нас на Руси всегда на них доставало светлых умов. Без ложной скромности признаюсь, и у меня полна голова реформ. Для первой, самой главной, я еще не придумал твердого названия, скажем

так: ассенизационная. Несмотря на то, что слово иностранное, французское, реформа очень простая: надо сначала место прибрать, гниль, ветошь старую в кучу сгорнуть, сжечь, дурнину разную вырубить. Сделать то, что делает мужик, прежде чем новое поле строить, дом рубить. Это как гроза с ливнем после долгой и тяжелой сухоты, духовного паралича. Очистительный плач о мечте погубленной, о любви несостоявшейся.

Не омыв сострадательной слезой прах недоживших, замученных поколений, строить новую счастливую жизнь нельзя, и да будет услышано это мое покаянное слово. И пусть оно будет также от имени страдальца родителя моего, Константина Митрофановича. А будет ли покаяние от героя "великого перелома" Игнашки Плюхина? От потомков его? Я их приглашаю.

Не исключено, впрочем, жив и сам Игнашка, обретаясь в больших заслугах и почтенной старости. Сколько их, жрецов классовой борьбы, бродит-ходит еще по Москве, зловещая сталинская гвардия! Сатана щедро одаривает верных слуг своих долголетием.

Вскинется гневно – таковая картинка рисуется – партократ Игнашка, прочитав мое приглашение. Выжило, скажет, отродье кулацкое. Эх, зря не пришил тогда, в тридцатом, не погладил поленом по темечку. Покаяние? А чёрта лысого не хотели? Обойдетесь...

Но Игнашки – из грязи, а настоящие князья? Голубая кровь, белая кость – давние наши господа? Как у них с покаянием? Большевики владели нами семьдесят лет, белая кость – столетиями, а кто из них лучше, кто хуже – не знаю, не скажу. Оба, наверное, хуже. Хотя бы потому, что крепостное право придумали все же не большевики, а дворянство. И дворянству в лице потомков его, современников наших, в первородном грехе пока-

яться бы. За гнусное право продавать единоверцев своих, как лошадей и собак, как хомуты и телеги. Продавать с землей и без, с детьми и без детей. Не верите? Читайте Гоголя Николая Васильевича, поэма "Мертвые души".

А если прочитаете другого классика, то узнаете, что барин Константин Левин во время покоса откушал мужицкой еды, называемой ТЮРЯ, и умилился. Откушал потому, что послать в поместье за обедом с дичью и лафитом показалось неудобным. Барину Левину, склонному к опрощению, показалось, что еда крестьянская была ПРОСТАЯ — квас с хлебом, — а потому высоконравственная!

Землевладельцу Константину Левину лишь однажды пришлось поворочать косой, тяжелая, удивился, работа! Ну, прямо лошадиная! Но интеллектуалу-опрощенцу в голову не пришло, а каково питаться ТЮРЕЙ всю жизнь?

Надо заметить, ТЮРЯ с вольным хлебом у мужика бывала далеко не целый год. Хлеба семье мужицкой, случалось, хватало лишь до Рождества, то есть до Нового года. Потому что урожай мужицкий — большую часть его — по закону несправедному забирал барин-интеллектуал Константин Левин. Почти задарма. Точно так же, как потом забирал новый господин — барин-колхоз, барин-государство.

Барщина после года великого перелома крепко посуровела. Если оброчный мужик урожай свой делил с барином исполу, то есть себе сноп, барину сноп, то в колхозе доставалась ему лишь десятая, а то и сотая часть — девяносто девять копен колхозу, одна тебе, пахарь. И ни один барин, ни старый, благородный, ни новый, неблагородный, но с партбилетом, ничуть не стыдились такой дележки.

Заметим, старые бары хоть и говели, исповедовались в грехах, языки знали, были отменно тол-

стокожи. Целые губернии голодали – и такое случилось на Руси – вымирали целые уезды, но ни один из господ, чьи крестьяне бедствовали, не пустил себе пулю в лоб. Из чувства ответственности, сострадания христианского. Каждому свое! Причем тут это, господа?..

Читал я, перечитывал странички из Франкфурта, они меня трогали. Послание издавека, нечаянно попавшее мне, крестьянскому сыну, потомку крепостных мужиков тамбовских, и, грешен, очень хотелось, бунтовало во мне классовое, жаждал услышать признание вины исторической от потомков-господ благородных, едва не втащивших позор крепостного права в век двадцатый. Увы, ничто не прозвучало, мрак эгоизма сильнее укоров совести, и участь изгоев, из милости пригретых европейскими народами, – заслуженная кара дворянству за растянувшееся на столетия рабства мужицкое.

Окажись прежние господа мудрее, дальновиднее, освободи они мужика раньше, Россия не зачервивела бы завозными "измами", как не зачервивел Запад, в легкой форме переболев этой страшной напастью. Но свершилось, и железная метла бунта российского, сдетонировавшего на каиновы идеи, вымела все за десять веков нажитое: веру, национальные традиции, культуру и сами "чистые" условия.

Впрочем, российское дворянство, паразитическими привилегиями развращенное, потому обреченное исторически, исчезло бы само собой. Обречено, исчезнет – начала исчезать и теперешняя элита партократия, паразитировать бесконечно долго нельзя, но родное мое крестьянство, ты-то за что испило чашу смертную? В расплату за какие льготы-привилегии, которых, если и было у тебя, то две: "досмерти работать", "до полусмерти пить"?

Шанс выжить у крестьянства, однако, был. И не только выжить: в искони крестьянской стране занять законное место главного класса, каковое в цивилизованных государствах по праву принадлежит сословию кормильца-хлебопашца. Шанс этот русское крестьянство не упустило бы: к началу первой мировой войны расторопный мужик наш скупил значительную часть помещичьих земель, богател, учился, детей своих посылал учиться на адвокатов и землемеров, появилась своя политическая партия, тоже великая страдальца. Несмотря на долгую войну, где вшей кормил главным образом он же, мужик русский, несмотря на ленинские продразверстки, коммуну, экспроприации, все же исхитрился врать в ленинский нэп, вросши, завалить страну едой, начал, свободу почуяв, создавать свои торгово-промышленные свободные кооперации. Торгуя с Западом зерном, маслом, медом, начал покупать западную машину, западную науку, но набрать силу, окончательно стряхнуть с себя рабские железы было ему не суждено. Грянуло страшное испытание – тотальный геноцид коллективизации.

Я не стыжусь роли плакальщика о судьбе родного сословия – слеза моя от души. Но и роли судьи его не убоюсь, хотя бы по праву происхождения. Мой приговор: не убийство то было – тридцатый год – самоубиение. Грех тяжкий, постыдный, никому Милосердным не прощаемый.

Человек с усами был гений зла, гениальнее в своей ипостаси всех чингисханов, вместе взятых. Он знал истину столь же простую, сколь и жестокую – оружие всех поработителей – никто не убьет, не обесчестит, не унизит покоренный народ беспощаднее, чем народ, натравленный сам на себя!

Семена розни, классовой зависти, увы, пали на благодатную почву, и все ядовитые злаки, которыми кормится "классовая борьба", расцвели на

советский Руси буйным цветом. А сеятель с кликой все сеял и сеял – великий психолог был новый хозяин Кремля, пришелец из горного поселения Гори, благословенной родины Шота Руставели!

Железный сценарий исполнялся неукоснительно: миллионы чистых, миллионы нечистых, миллионы виноватых, миллионы палачей, миллионы жертв, моря крови, горы трупов, миллионов угнаны в Нарым, оставшиеся загнаны в колхозы-резервации, чтобы батрачить на новых господ, и все это сделал он сам, своими руками, расторопный русский мужик.

Ленин приказал рушить, грабить дома Христа, которые крестьянин сам, на свои же копейки строил, но не возопил русский мужик-богоносец, не стал на защиту, расторопно кинулся жечь, рушить, осквернять родные святыни. Я видел, как ломали нашу деревянную церковь в Ключках, как бросали в огромный костер иконы, связки свечей, церковную утварь, одеяния батюшки, изрубленные куски царских врат, огонь пожирал все это жадно, и мама потом говорила: бесы так и плясали, так и плясали в огне – веселились.

Актив веселился вокруг костра всю ночь, пел революционные песни и срамные антирелигиозные частушки. Старушка-псаломщица попыталась спасти чудотворную Казанской, у нее икону вырвали, бросили в костер, взяв за руки, за ноги, хотели бросить в костер и старушку – шутили.

Нет, не могли столько зла и ненависти насеять за тринадцать лет своего царения большевики. В душе мужицкой зло и ненависть копились, долго копились, не могли не копиться, коли века и века мужик ходил в холопах, смердах, быдлах, в Ваньках-Таньках. Секли его кнутом, били батогами, рвали ноздри, воспитывали зуботычиной, розгой, бранью – вколачивали в печенки-селезенки раба. И давно замечено: самый лучший человеческий

материал, из которого делается палач, насильник, всякий мерзавец, — раб, воспитанный на "березовой каше".

*

...Директор совхоза, где я живу, останавливается, бывает, возле моей калитки поцарапанную, одноглазую, как после драки, "Ниву" и не садится, а устало валится на крыльцо. Сидит, молчит, жалко улыбаясь. Устал молодой директор: в четыре, я видел поднялся, покати́л куда-то на своей утром беленькой, чистой, а вечером грязной и тоже вдрызг вымотавшейся "Ниве". И так каждый день: в будни и праздники, в дождь и в ведро. Ко мне он заезжает выговориться, пожаловаться, но вдруг посреди разговора заспешит в машину: электричество на уличном столбе погасло, энергию вырубili, дойки остановятся...

Прямо на крыльцо супруга моя и выносит нам чай.

— Пшеницы хорошие нынче стоят, — пытаюсь я ободрить директора Пашу. — Забогатеете с большого урожая.

— Ага, забогатеет, — усмехается Павел Пантелеевич. — Ногами к шее.

— Почему? — удивляюсь я. — Долги с вас списали? Списали. Закупочные цены повысили? Повысили. В полтора раза.

— Ага, в полтора. А на пиломатериалы во сколько раз подскочили цены? А на кирпич? На шифер? А за трубы рвут вообще... То ли они из чистого золота льют эти трубы?

Павел Пантелеевич — молодой еще человек, ему и сорока нет, в директорах третий год. Я был на собрании, когда Павла выбирали. (Эта демократия в наших местах тогда была еще, вводили внове.) Кроме Паши, претендовали еще трое, которых при-

везли из района: один предпенсионер с голым бритым черепом, он за три года до своей пенсии обещал вселить в квартиры городского типа механизаторов и доярок, а молодые наобещали вплоть до халатов белых дояркам и стеклянных молокопроводов. Народ, однако, уперся: хватит, наслушались, пусть пробует Паша. Он наш, ему бежать некуда. А то пару лет посидит залетная птичка, поклюет и полетела на новый насест. Повыше.

Ничего в директоре Паше директорского нет: ни крутой брови, ни зычного голоса, и ростом не вышел. Пиджачки носит мальчишеских размеров.

- А вы тоже рвите, - отваживаюсь я на совет. - И вообще, как это понять: вам повысили цену на пшеницу. А кто, собственно, ее вырастил? Пшеницу? Москва? Если не Москва, а вы, то и цену назначать вам! Вдвое за трубы? Прекрасно! И вы кулаком о стол: за пшеницу - вдвое. А за мясо - втрое. Наш товар - ваши деньги.

- Кто это вы? - спрашивает меня директор Паша.

- Как - кто? Вы, директора, председатели колхозов. Хозяева хозяйств.

Директор Паша отворачивается, угрюмо умолкает. Обиделся. Принял мои слова за дурацкую шутку. Он обидчив, как все деревенские.

- Знаете, почему я согласился на директора? Дурак был, полный debil. Мечтатель. Много не сделаю, думал, хоть родное село из грязи вытяну... У меня две дочери растут, замуж выйдут, внуки пойдут. Это что же, думаю, внуки, как и я, всю жизнь будут сапогами грязь месить? Жилье хорошее настрою, теплицу построю, чтобы ранняя ягода, огурец на столе. Чтобы все, как у людей, и чтобы ехал ко мне новый народ, молодая сила. За три года я построил три дома, шесть квартир, вот и все. Куда ни кинься, ничего нет. У

меня рулона рубероида нет, старушке-пенсионерке крышу подновить. Мы его, рубероид, на заседании рабочкома распределяем как премию. Никакой я не хозяин, побирушка, и мои работяги – побирушки – восемь рублей комбайнеру за норму – такие госрасценки. Целый день грязь, пыль, грохот, и он, дебил, работает. А работает потому, что дебил. Правда, на восемь рублей он и работает, и технику бьет, и зерно теряет – дармовая работа, она вся в убыток.

Директор Паша дебилами называет не только своих механизаторов, но и себя: какой я хозяин, батрак, дебил!

– А если, – ставлю я лобовой вопрос, – какой-то поворот? Чтобы работающие на земле перестали быть дебилами?

Паша задумывается. За три года директорства он подусох, потускнел, в черной еще густой шевелюре брызнула первая седина.

– Есть сильные хозяйства, – говорит Паша, – где директора погорластее меня. Но ушел мотор-директор, совхоз покатился вниз. Почему? А потому что система на плюс не работает. Система работает на полный износ - всего. На износ земли, техники, людей. Дай план – это и есть наша система. А тебе, работнику, что останется. Экономика, работающая на минус, – убывающая экономика.

Устал Паша. Когда он ходил в агрономах, мы ездили с ним на рябчиков, он пел у костра деревенские частушки, у Паши хороший голос. Сейчас не до рябчиков директору Паше, не до отдыха. Директор Паша тоже работает на износ, убывающая экономика.

Когда вышел указ об аренде и фермерстве, я всякий раз стал спрашивать директора Пашу:

– Ну что, землю твои рабочие просят?

– Землю? Нет, землю не просят. Водку, чтобы завозили от пуза, просят. Вчера силосная бри-

гада забастовала – курево кончилось. Взял флягу меда – и в райцентр. Привез.

– Обменял, что ли?

– Нет, смазал. Сейчас без смазки ни в какую контору не суйся. Аккумуляторы надо – вези бычка. Кирпич – гречки мешок.

– Так взятка же! – вскидываюсь я. – Дочек осиротишь, прокурор по тебе заскучает.

– Ничего страшного! – усмехается директор Паша. – Нынешний чиновник, только дай, хоть стадо крупнорогатых оформит. А прокурор, он ведь тоже человек.

Верно, Паша, прокурор – тоже человек. И Артемий Филиппович, попечитель богоугодных заведений, – человек. И замзав агропрома товарищ Д., и его секретарша товарищ Ф. – люди. И Аммос Федорович, судья города, куда приезжал по делам ревизии Александр Александрович Хлестаков, – все мы люди, все человеки...

– Но почему, Пантелеевич, – пристаю я к директору Паше, – почему все же не берут мужики землю?

– А зачем жена, если можно с девкой? – отвечает директор Паша. – Земля – это судьба. На всю жизнь, до гробовой доски. Ты к ней привязан, а она – к тебе. Ей плохо, и тебе плохо. Кому сейчас охота мертвым узлом привязывать себя к чему-то, к кому-то? С девкой-то лучше. Да и некому у нас в Сибири брать ее, землю. Народа нет. В нашей округе на землях совхоза стояло двадцать шесть деревень. Осталось две. Три сотни трудоспособных на пять тысяч гектаров. Машине лишь и по силам поднять эту махину. Сейчас крестьянин – трактор "К-700". Съела система людей, выплюнула машину, а машина, она и есть машина. Ни сердца, ни души.

– А если все же попробовать, поговорить с мужиком? – не унимаюсь я. – Вы, хозяйственники,

все немножко феодалы, помещики. Ты сам предлагал кому-нибудь надел?

- А как же? Предлагал. И не одному - приглашал многих в контору на беседу. И не раз. Ивана Сорокалетова, например.

- И что же Иван Кондратьевич?

- Обиделся. За что, говорит, вы, Павел Пантеевич, невзлюбили меня?

*

Мы с Иваном Сорокалетовым приятели, хотя и далеко не одногодки. Он заходит ко мне посидеть на крыльце, особенно когда они с Дусей выгонят удачную, и мы, бывает, засидимся за полночь, обсуждая текущий политический момент. Шел я после того памятного разговора с директором мимо Иванова дома с удочками, Иван зазвал меня. Они с Дусей сидели на кухне, на столе малосольные огурцы, молодая картошка. У Ивана было: в селпо завезли трехлитровые банки повидла, разбавь теплой водой, шурани стакан дрожжей, пяток дней и готова спотыкалочка. Бордовенькая такая, шустрая, с клопиным запашком.

- А я, Кондратьевич, слышал хорошую про тебя новость, - с загадкой, с заводом начинаю я. - Сильно за вас с Дусей порадовался. Поздравляю!

- Это с чем же? - Иван настороженно переглядывается с женой. - Поздравляете?

- Как с чем? - валяю я дурака. - Землю, слышал, берете, ссуду на фермерское хозяйство выпишали. Сколько, если не секрет?

- Какую еще ссуду? - вскидывается Иван. - Какую землю?

- Землю совхозную, ссуду государственную. Ну, молодцы! Указ новый, небось, от корки до корки изучили?

- Ах, указ! - смеется догадливая Дуся. - Про-

читала я газету, говорю: беги, Ванечка, скорей, захватывай земли поболее. Буржуями станем, чернобурую лису мне купишь.

Она встает из-за стола, выходит, вихляя крутыми бедрами. Разговор для нее несерьезный, глупый.

— Понятно, — резюмирую я. — Дуся реагирует на Указ отрицательно. А ты, Иван Кондратьевич? Что ты думаешь? Хозяином стать собираешься?

— Хозяином бы можно. А вот эком неохота.

Он берет блюдечко, наливает в него воду, ставит в повешенную на оконную раму вместительную клетку. В клетке перепел. Это весьма развязный господин, сверху вниз он оглядывает наше скудное застолье и вдруг перебивает наш диалог своим оглушительным:

— Подь-полоть! Подь-полоть! — чем доставляет хозяину немалое удовольствие.

У Ивана восемь классов. Он покупает книжки преимущественно толстые и в журналы заглядывает — про войну.

Во дворе у Ивана три огромных кобеля, потому что у него вендетта с братьями Топоровыми. Еще с детства, со школьных лет. Топоровых в нашей деревне четверо братьев, то они "прищучат" Ивана темной ночью, то он кого из братьев. Во рту у Ивана зияет просторная щербатина, у одного из братьев Топоровых лопнула перепонка — Иванова работа.

Что приятель мой — человек заводной, я знаю. Однажды на спор со мной распилил пилой "Дружба" десять берез и тут же их расколол. Гонорар — две бутылки водки — выпил, не отходя от свежей поленицы, и, очень громко запев про танкистов, зашагал домой, к Дусе.

— Газеты мы с Дусей читаем, — говорит Иван. — И насчет земли слышали — приватизация! Придумали умные люди, академики.

- Что-то прости, Ваня, ты не в ту степь! Указ о земле не ради академиков, а чтобы тебе, селянину, жилось получше.

- Мне? А на кой хрен я им сдался! Тем академикам! Московский указ, он всегда, чтобы по новой обдурить нас, темноту деревенскую. Что я думаю про это дело? А то и думаю: путь кому охота, тот лезет в новый хомут. А я погожу. Дураков - нэма.

- Нельзя же так, Ваня, Верховному Совету, народным депутатам не верить, - волнуясь я. - Времена новые и депутаты-академики тоже новые, простые, как мы с тобой. Видел же по телевизору.

- Мужики-то они, может, хорошие, да не им пахать, а мне. Не с них будут драть, а с меня. Ладно, взял я землю, в семь раз больше работаю, в семь раз больше рощу зерна, мяса. А по осени? А то же самое: в семь раз больше с меня по осени сдерут. Мне-то какой навар от всей этой канители?

- Не будет этого! - кипячусь я. - Чтобы в семь раз! Новые законы издадут, тебя прежде всего защитить.

- Их, законов, что штакетин в ограде, а сколько перелазов? Навалят налог, на налог самооблог, да встречный, да поперечный - мы это проходили. А теперь рынок - за все плати, за каждую шайбу, за тесину-шиферину, - ты же буржуй. А раз буржуй, - отдай, сдай, вывези, а добром не отдашь - загремишь... Как мой дед, а ваш папаня.

- Вы уж на землю Ивана не сватайте! - снова появившись на кухне, говорит Дуся. - Не пойдем с совхоза и землю брать не дураки. У нас четверо, это что же, по миру с имя?

- Вот видите? - кивает Иван в сторону Дуси, мелькающей уже во дворе. - Баба, а просекает. Никакими калачами ее обратно с совхоза не вы-

манить. А ведь наганом когда-то всех до кучи гнали. Не начнут ли наганом обратно вроде как из избы на мороз? А мужик пригрелся на общем: где заработал, где украл...

- Сколько можно жить на ворованном? - возмущаюсь я. - Это же стыдно, Ваня, унизительно.

- Мы люди негордые, - смеется Иван. - Стыд не дым, а сытое брюхо умнее голодного.

- Подь-полоть! Подь-полоть! - перебивает хозяина перепел, раскидывая по кухне конопляную шелуху! - Подь-полоть!

- Любит шельмец гостей! - растроганно говорит Иван. - Это он в разговор встревает, такой озорник, умница! Ты, Константиныч, давно меня знаешь, человек я, не скажу, что вовсе не пьющий, - выпивающий, но редко. А почему я на отличку от алкашей Топоровых редко выпивающий? Потому что у меня две хобби. У кого их ни одной, а у меня целых две. Спросишь, какие две? Первая - перепелиная охота, а вторая - свобода. Ты говоришь: землю бери. Ну, взял я ее, землю, и ушел в нее по уши, как крот слепой. Живи беспросветно, умывайся потом соленым, а я люблю свободу. А потому - про землю я так думаю: она меня не трогает и я ее, родимую, не трону. В совхозе я свободный человек, можно сказать, полный вольняшка, а на земле буду ли я свободный человек? Суббота сегодня, я, рабочий человек, отдыхаю, завтра тоже мой законный выходной, все по Конституции, пункт такой-то. Да и в обед я завсегда часок-другой выгадаю посидеть во ржах молодых с манком. А что я выгадаю, если буду фермер? Есть какой-нибудь пункт про фермера в Конституции? Никакого пункта нету, хоть заищись, так что прощай моя свобода, мои счастливые года!

- Так ведь лучше жить будешь! - выдвигаю я в отчаянии экономический аргумент. - Богаче.

- А чем я плохо живу? - пожимает плечами Иван. - Я живу хорошо. Нормально живу.

Иван, и правда, живет нормально, у него четверо сыновей и два хобби.



...Витьке - двадцать лет, он пасет деревенское частное стадо - овцы, козы, телята, дойные коровы - все вместе. У Витьки хобби другое - рыбалка. Но не пацанячья - жерлица, удочка, а серьезная: острога. И лишь одна-единственная рыба волнует Витьку: налим. "Что такого особого - налим?" - спрашиваю. - "Усы у него. Посветишь фонариком, а из-под камня - ус". - "Ну и что, что ус?" - "Рыба, а усы".

Витьку в армию не взяли, он говорит, у него нет специальности, но в деревне ходит другая версия. Смысл в том, что у Витькиного отца тоже хобби, и это хобби - водка. Витькин отец пять раз уже лечился в ЛТП, недавно вернулся с последнего "пятого курса", и теперь в деревне говорят: у Витькиного отца самое высшее образование. "Теперь ты сделался, - говорит его закадычный друг Андрюха, - профессор по этому делу, хотя и глухая деревня".

Несмотря ни на что, после каждой побывки дома у Витьки в положенный срок появляется новый братик или сестренка, а у нашего президента - новый гражданин.

Самый длинный срок между "курсами" - год, однако документы Витькина мать готовит загодя. Дождавшись, когда "профессор" изукрасит ее синяками погуще, она садится в автобус, едет в соседнюю деревню к участковому.

Братьев у Витьки четверо, двое старших - трактористы, и я говорю ему:

- Витя, а что бы тебе с братьями не взять в

совхозе дойный гурт? В аренду? Ты классный пастух-скотник, братья – механизаторы.

– А зачем? – вскидывает на меня Витька жидко-синие глаза.

– Ты бы на тракторе научился рядом с братьями. Тебе жить да жить.

– А зачем?

– Тебе двадцать, жених, больше стал бы зарабатывать. Тебе же одеться надо.

– То ли я раздетый.

Нет, Витька не раздет. Зиму и лето он ходит в телогрейке, одежда универсальная, всепогодная – два рукава, две полы, 17 р. На братьях Витьки тот же набор: телогрейка, керзачи, шапки-ушанки, как и на всей деревне. Директор Паша говорит: молодые доярки, сняв после свадьбы подвенечное, одеваются в черный доярочный халат, так в нем и на пенсию уходят. В магазин – в нем, в кино – в нем же.

Витька уже попивает и аббревиатуру ЛТП расшифровывает как летно-тренировочный полк – позаимствовал у отца – "профессора".

– Витя, – говорю я. – Допустим, поехал ты в Японию, и у тебя сколько хочешь денег. Что бы ты купил?

Витька долго молчит, соображает он туго. Чтобы отвязаться, задает обычно встречный вопрос: "А зачем?" "Витя, ты сегодня умывался?" – "А зачем?" Но я знаю, как разговорить Витьку: надо коснуться его хобби – ночной рыбалки с острогой. Рассказываю, в Японии можно купить острогу заводского изготовления из хромированной стали с двойными жалами на каждом зубце.

– А батарейки, – у Витьки разгораются глаза, – продают?

– И батарейки продают. Батареек там навалом.

– И фонарики есть?

- И фонарики. Специальные, для ночной рыбалки.
- И по два в одни руки дают?
- Хоть по три.
- Пару фонариков купил бы. И еще бродни. У меня все ноги испростужены.



...Пророк Моисей после рабства египетского сорок лет водил по пустыне народ свой, прежде чем привести его в Землю Обетованную. Суров был промысел Пророка: испытавшие рабство должны остаться в пустыне. Все до единого!

Земли обетованной достойны лишь поколения новые, юные, рабства не знавшие.

...Нет для нас земли обетованной, кроме родины нашей, которую мы хоть и сохранили, но не сумели уберечь от нашествия бесов тьмы, воинов Ангела зла.

Нет у нас и Пророка, мы одичалое стадо, бредущее невесть куда.

Что же есть у нас? Что осталось?

Могилы отчие, хоть и поруганные. Прошлое великое и постыдное, злое и прекрасное. Есть поколения новые – не так уж и мало.

С чего же начать?

Я начал с покаяния. Покаемся, братие, ибо "путь к возрождению лежит через покаяние, через осознание своих грехов, через очищение духа народного от духов бесовских"*.

* Николай Бердяев. "Духи русской революции".

Максим СТИШОВ

Окончательные итоги

Дневник старого писателя

"...Москва окружает нас, как лес. Мы пересекли его. Все остальное не имеет значения".

*Ю. Трифонов.
"Время и место"*

... февраля 1988 года.

Портил глаза над старыми тетрадками и подумал: а не начать ли мне снова вести дневник? Идея неплохая да и опыт имеется – все-таки все эти сорок лет кое-как фиксировал, хоть и с большими перерывами. Последний слишком даже затянулся – уже года полтора, как не заводил новой тетрадки. Но никаких заверений писать каждый день! Просто вести, как и раньше, дневник по мере сил и возможностей. Вот и нашел себе занятие. Поди уж лучше, чем обчитываться до бессонницы толстыми и худыми журналами или торчать, выпучив глаза, у голубого ящика. Решено! Бумага есть пока, рука ручку держит и посему – да здравствует дневник! Слушали и постановили: после небольшого авторского (все деньги в семью!) предисловия приступить к основной части.

Все дело в том, что шесть лет назад я закон-

чил роман из российской жизни и по обычаю тех славных времен благополучно упрятал его в стол, ибо сам себе, без помощи "искусствоведов в штатском", выставил за него наивысшую оценку по шкале застоя – "достойно неопубликования". Все эти годы я терпеливо ждал своего часа. Роман пылился частью у меня, частью у друзей, мужественно согласившихся взять по экземпляру на сохранение, ибо гроссмановский опыт шестьдесят первого года кое-чему научил нас, словоохотливых прогрессистов. Я не торопился, может быть, даже излишне медлил, перестраховывался. Время возбуждало меня, подстегивало, но я, стреляный воробей российской словесности, упорно продолжал ждать сигнала, не поддаваясь ни на какие провокации, даже со стороны любящей супруги. И вот, сегодня утром, спустившись как всегда за газетой, я обнаружил в ящике журнал "Октябрь" с первой частью романа Гроссмана "Жизнь и судьба". Это и был тот самый сигнал, которого я ждал. Далее всё происходило по годами отработанному сценарию: мысленно выставив роману высшую оценку по шкале перестроечного времени – "достойно опубликования", – я снял телефонную трубку и – о, чудо! – с первого захода соединился с главным редактором журнала одного толстого журнала Мишей Б.

– Здравствуй, Миша, – сказал я, – я написал новый роман.

– Вас понял, – ответствовал Миша. – Но обещать ничего не могу. (Миша всего полгода, как стал главным, но уже научился разговаривать с авторами.) И вот ... февраля 1988 года роман отделился от меня и зажил своей жизнью. Перерезание пуповины состоялось в 13 часов 37 минут по московскому времени, если верить моим "вете-

ранским”^{*} часам. Отныне начинается самая тяжкая писательская работа – ожидание погоды у моря. Но будем все-таки надеяться, что этому дневнику повезет и он станет свидетелем триумфальных торжеств по поводу принятия романа. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.

Я писал этот роман запоем, с бессонницей и лихорадочным блеском глаз, писал так, как писал, быть может, только по молодости. И откуда силы-то только брались? Я отлично помню тот день ... сентября 1981 года, когда я вывел первую фразу, как никогда трезво отдавая себе отчет в том, что на этот раз мне не увильнуть, схватившись за спасительную соломинку вечного безденежья и общей безысходности. Так появился мой первый роман ”в стол”. Конечно, старый диалектик, я верил, что это ... *февраля* в конце концов наступит, но в том-то всё и дело, что в конце концов. А конец концов, как известно, частенько наступает после нашего с вами конца. Есть такой неписанный российский закон, вступивший в силу после 25 октября 1917 года. Но вот стена рухнула – мы дожили до этого, удивительное дело. Радоваться, однако, еще рано, ибо остов могуч и крепок и в любой момент может быть воздвигнута новая стена, да почище прежней. (Кое-кто уже утверждает, что всё к этому идет.) А мне радоваться рано вдвойне, поскольку я стар и смертен. Гораздо более смертен, чем шесть лет назад. И с каждым днем я становлюсь всё более и более смертен – счетчик мой стучит уже давно, а история моя еще только начинается. Дотянуть бы до счастливого финала. Галя, неси бокалы. Выпьем за хэппи энд!

^{*} Имеются в виду часы, которые вручались писателям-фронтовикам в честь сорокалетия победы.

... февраля

Ах, роман мой роман! На чем захламленном столе пылишься, чьи равнодушные, скользкие пальцы перелистывают твои страницы? Знал бы ты, как томится твой бедный папочка. Но всё-всё, хватит об этом. Ведь так можно и заикнуться, а делать этого не стоит, ибо последующий результат слишком хорошо известен. Что поделаешь – повышенная возбудимость. Моей маме всегда говорили, что у нее нервный ребенок. Ведь мне бывает достаточно одного толчка, хотя бы телефонного импульса, и голова начинает работать, как паровозная топка, в которую в четыре руки подбрасывают угля: чух-чух, чух-чух. Тут главное, вовремя остановиться, сказать "хватит", не доводить до бессонницы, до трясущихся рук, до невыносимой и неотвязной чехарды сошедших с ума слов, не желающих складываться в предложения и от того еще больше сводящих с ума. А потом мгновенная боль шприца, девушка в белом халате, бледное, немножко злое лицо Гали, и тишина спальни. Тишина и покой... Но чур меня, чур! Наговорил на себя черт его знает что. Да, такое иногда случается, но совсем необязательно об этом вспоминать – что врач говорил? Так что предлагаю сменить тему.

Давно известно: если писателю больше не о чем писать, он начинает писать о писателе. Вот и я туда же – захотелось вдруг написать о писателе. Сначала всё пытался увильнуть – ну пусть будет художник, скульптор, актер на худой конец. Старый актер, например. Ну чем плохо? А потом подумал – а какого черта? Чего я боюсь? Кого? Товарища Жданова? Или, может быть, товарища Кочетова? Так они уже давно в сырой земле. Ведь хочешь-то о писателе – так и давай, пусть они там себе рожи кривят: "литература литературы". В конце концов у них такая профессия – кривить рожи или писать горячей мочой. Им за это деньги

платят. А твое дело писать о чем хочется. В конце концов о строителях да металлургах, будь они неладны, писано достаточно, такого счастья и врагу не пожелаешь. Так что можно считать, что свое право писать о писателе я выстрадал в напряженной борьбе за торжество великого метода, имя которому соцреализм.

Итак, нечто о писателе. Может, роман, может, и повесть, пока еще толком не ясно. Ох, и мучаюсь я всегда с фамилиями, и тут еще пока не представляю, как окрестить этого моего писателя. Так что пока пусть будет писатель Х. Ныне ему 65 лет, он женат вторым или даже третьим браком, у него двое детей и он крепкий середняк — широко известен в узких кругах. Когда-то неплохо начинал, но не выбился, не хватило дышалки, ушел в ремесло, лишь в периоды коротких передышек выкраивая время для чего-нибудь путного. Теперь он сидит и тупо ждет новостей о своем еще недавно подпольном романе, который наконец-то пошел гулять по редакциям. Вот тут-то мы его и заловим.

Он сидит, скорее всего, в писдоме*, в какой-нибудь Малеевке, взяв два срока, гуляет, думает и что-нибудь пишет. Ну, например, дневник. Неправда ли, хорошо я устроился? А как же сбор материала, спросите вы? Как же художественный вымысел? Типические характеры в типических обстоятельствах? И знаете, что я вам отвечу? А идите-ка вы все... На этот раз ничего этого не будет. Конечно, не обойтись без каких-то придумок, само собой, вот, например, дом творчества, которого, как вы догадываетесь, нет и в помине. Но всех этих придумок будет очень и очень немного. Я так решил. Тяжко, конечно, резать по живому, но ведь и дневник писать тоже тяжело.

* Дом творчества писателей (жарг.).

Если уж решился на самокопание – так давай, копайся по-настоящему, а не лепи куличики из песочка. Ощущения целого еще нет – пока только кое-какие пунктиры, осколки этого целого, их и буду записывать. Потом уж как-нибудь сложу. Хотя и знаю, что нет ничего мучительнее такого писания (сначала-то легко – потом тяжело), но на то, чтобы сесть и заплясать от печки, элементарно нет сил. Пока я плохой писатель. А писать надо – ничего не поделаешь. Есть ведь все-таки вещи, которые не доверишь даже дневнику. Так уж мы устроены. Писать "я" всегда значительно тяжелее, нежели "он"! Вот я и облегчу себе задачу.

... февраля

Колесов, Колесов... Колесов. Павел Колесов. Павел Александрович Колесов. Пал Саных. Ну вот, кажется и есть фамилия. С ней я проснулся и уже полдня проворачиваю, кручу и так и эдак, вроде приноровился. Теперь по всем законам должно пойти легче...

... февраля

Живу, окруженный врагами. Враг № 1, главный пожиратель времени и остатков слуха – прямо по курсу. Примостился за календарем, бандюга, а с виду серенький такой, невзрачный. Сейчас, правда, молчит, убийца, по причине позднего часа. Зато уж Враг № 2 тут как тут. О, это ночной бандит! Он набрасывается на вас в двенадцать и до двух даже не мечтайте отбиться. "Голоса" – вот оружие этого проходимца. Третий мой главный враг почивает в столовой, остывая после напряженного трудового дня. Мало ему было, так он еще и ленинградской программой обзавелся, мерзавец. Да, видать, плохи мои дела – обложили со всех сторон. Но шутки-шутками: уж ночь на дворе, а ребенка всё нет. Ребенок, ах, где ты? Папочка

нервничает. И вроде уж не малышка, давно бы пора привыкнуть к этим поздним возвращениям, ан нет. Видно, пока не сдам на руки мужу – не успокоюсь. Родительскому сердцу не прикажешь. Да и Галя только делает вид, что спит. Стоит только хлопнуть двери, как она мигом оказывается в коридоре со своим коронным: "Ну ты что, вообще?" Чу, кажется, затыкал пёс. Никак ребенок?

И все-таки никудышный я отец. Двоих детей настругал, а воспитывать их так и не научился. Можете себе представить? Распахивается дверь и ребенок в буквальном смысле слова валится ко мне на руки. Лыка не вяжет. И Галя уже тут как тут со своим "вообще". А ребенку, как это они любят говорить, всё по-фигу. Знай себе кивает. Она б, может, и рада была что-нибудь сказать, да язык у бедняжки не слушается. Это у нас семейное. Я тоже, если переберу, – стараюсь молчать. Соображать-то соображаю, а вот с речью значительно сложнее. Галя заливается, с "вообще" на "вообще" перескакивает, пёс ей вторит, а я хихикаю подленько, вместо того чтоб за ремень да по белой попе. А ребенку хоть бы хны. Шасть в комнату, нырк в кровать, только ее и видели. Всё, готова. Забылась сном младенца. Теперь кричи не кричи. Кое-как утихомирил Галю и снова к дневнику, размышлять над тем, какой я плохой отец. И вдруг ловлю себя на том, что это уже не я размышляю, а мой писатель Колесов:

"...Вспомнил, как после женитьбы на Вале мать сказала: "неравный брак". Тогда он не придавал этому особого значения, отмахнулся: свекровь – невестка, известное дело.

А теперь, глядя на дочь, думал: вот она, расплата за неравный брак. Ведь она ни черта не знает, не читает ничего, так урывками, и как у матери – всё внахватку, а знаний-то нетутика,

как Леонид Ароныч, его школьный историк, говаривал. Схватится вдруг за Мандельштама, пару стихотворений прочтет – бросит. У Хэма и Фитцджеральда только то, где про красивую жизнь. "Фиеста" да "Великий Гэтсби". Толстой, Достоевский – и слышать не хочет. Как только в университете ее держат, одному Богу известно. Впрочем, знаем как, притворяться не будем. А на вступительных – позору было! Не знала, кто написал "Разгром". Не запомнила, нет, а элементарно не знала. А там, в комиссии, все его друзья, со всеми на "ты" уже сто лет, до сих пор стыдно. Говоришь с ней, она вроде кивает, слушает, а сама где-то далеко-далеко. Даже проверял несколько раз – спросишь потом что-нибудь из того, о чем говорили, а она словно впервые слышит...

Да нет, в сущности у него хорошая дочь. А это всё так, родительское брюзжание. В конце концов он и не предъявляет к женщине таких уж повышенных требований. Женщина должна быть женщиной, это главное и основное. А всё прочее – от лукавого. А что, все эти докторессы да критикессы – разве женщины? Мужики в юбках, бабы с яйцами! Нет, нет, неплохая все-таки у него дочь. Характер у нее кроткий, покладистый, нет материнской нетерпимости и агрессивности тоже нет – вся в него. Ну, будет жописом*, чем плохо? Новая генерация жописов, с университетским дипломом. Так сказать, жопис во втором поколении. Вот только бы писа найти ей подходящего... Правда, она пока и думать об этом не хочет. "Всё время жить в квартире с мужчиной? Нет, это невыносимо". Ну, да ничего. Перебесится. В общем вся эта фанаберия проходит и появляются внуки. А он уже вполне созрел для дедовства (не путать с дедовщиной)..."

* Жена писателя (жарг.).

... февраля

Вхожу в партком и хлопаю билет на стол.

– Нате! Не хочу больше состоять в вашей партии! – Поворачиваюсь и ухожу с высоко поднятой головой, громко хлопнув дверью. Вот вам типичный сон прогрессиста. Ах, какие замечательные сны нам снятся, какие смелые сны! И не важно, с понедельника на вторник ли, с четверга ли на пятницу – в том-то вся и прелесть этих снов, что они никогда не сбываются. Прогрессист всегда остается прогрессистом, какие бы замечательные сны ему ни снились. Вот излить злобу в тетрадку – это пожалуйста. С друзьями же прогрессистами большевиков пощипать на малеевских дорожках – милое дело. Ну, а чтоб партбилет на стол – тут уж извините, кишка тонка. Возьмем, к примеру, меня? Я-то чего, спрашивается, боюсь? Свободный человек! Сколько чернил извёл, захлебываясь от собственного величия. Выходит, не отбоялся я еще своего, да видно, так и не отбоюсь – сколько мне осталось? А коль так, изволь исправно поднимать ручку да вкладывать денежки в потрепанный конверт с надписью взносы.

Зато дети наши дают фору отцам. Вот ребенок взял – и вышел из комсомола. "Взносы еще им платить..." Галя в крик, помнит, бедная, сколько трудов положили, чтоб нашу обалдуйку-троечницу в этот комсомол протырить. Целая эпопея! Ведь предстояло поступление на идеологический факультет – без комсомольства нечего было и соваться. А я Галю успокаиваю: не мешай, говорю, свободному волеизъявлению ребенка. Пусть ребенок хоть раз в жизни волеизъявится самостоятельно, без нашей с тобой помощи. Ну, а если что – придется папочке снова постараться. Когда же, в конце концов, еще волеизъявляться, как не при живом папочке? Вот я, сиротинушка горькая, сижу и не рыпаюсь. За меня просить некому, если что.

”...Первую звали Стелла. Она знала три языка, пробовала переводить и вообще была интеллектуальной. Она часто спорила с ним (причем Колесову не всегда удавалось выходить из этих споров победителем), иногда поднимала на смех за какое-то очевидное незнание, а бывало, даже поругивала его рукописи. И со временем это начинало всё больше и больше раздражать. Он хотел культа, а культа не было. И вскоре он уже не бежал к ней со своими новыми вещами – боялся. Кто-то из друзей, женись во второй раз, изрек полушутя-полусерьезно: ”Нет, теперь я точно знаю – мне нужна дура. Чтобы в любой момент можно было со спокойной совестью сказать: молчи, дура, ты ничего не понимаешь. Уж где-где, но у себя дома писатель, особенно советский, должен ощущать себя гением”. А со Стеллой он, Колесов, гением себя не ощущал.

Иногда он чувствовал, что она подначивает его неискренне, назло, компенсируя таким образом собственную амбициозность и непомерные претензии. А он в ответ камня на камне не оставлял от ее рассказиков. Они и впрямь были плохи – типичное дамское рукоделие. Кроме всего прочего, Стелла была неряшлива, презирала хозяйство, и, если бы не хлебосольная еврейская теща, Колесов давно бы помер с голоду. В конце концов он понял, что и ему нужна тихая дура. Типичный жопис без претензий и закидонов, домработница, секретарша и наложница. Чтоб по магазинам, в Литфонд за путевкой, за заказом, да и к телефону – ”А кто его спрашивает? Извините, но он работает. Попробуйте позвонить вечером”. Вот, что требовалось в идеале. Ребенок у него уже был, так что на этот счет можно было не беспокоиться. Ну, а пообщаться... Как говорил всё тот же приятель, теоретик семейной жизни: если захочешь пообщаться – приходи ко мне. Покалякаем о

судьбах литературы. А жена — она, старик, совсем для другого... Вот, под такое настроение и подвернулась Валя.

Во многих отношениях Валя была идеальным вариантом. Во-первых, молода, на целых десять лет моложе Колесова. Во-вторых, весьма миловидна — Колесов с удовольствием, но и не без ревности, разумеется, примечал, как заглядываются на нее мужчины. Плюс ко всему этому Валя была достаточно легка характером (тогда), вспыльчива, но отходчива, уступчива, но самое главное, что рядом с ней Колесов ощущал себя патриархом. Тогда эта милая московская крестьянка даже не была нахвтанной. Это сейчас остепенилась, вполне может поддерживать неглубокую беседу, со сладострастным ощущением собственной причастности выкрикивать у телевизора фамилии персонажей какого-нибудь документального фильма про искусство, стараясь сделать это раньше других. А тогда — ничего, кроме жадного блеска чудных голубых глаз. Другое дело, что в постели, в которой они, кстати, очутились довольно скоро, Колесов частенько с благодарностью вспоминал о темпераментной Стелле, но в конце концов это уже не было для него столь важно, как в молодые годы, а Валя его чувствовала. И всё, что было ему так необходимо, схватывала на лету.

Очень скоро он полюбил давать ей на отзыв свои рукописи. Она была первым и неизменно восторженным читателем. "Зайчик, ты гений", — говорила она со своей лукавой улыбкой, и Колесов таял. Это сейчас могла перебить, раздраженно одернуть, а тогда глядела в рот и почти всегда во всем соглашалась. Правда, уже тогда была слегка ленива, совсем не умела готовить, но Колесов прощал это ради главного.

Теперь, конечно, всё уже давно было по-другому, двадцать лет все-таки есть двадцать лет, и

Колесов нет-нет, да и примерялся к тем своим собратьям по цеху, которые отважились пойти по второму, а то и по третьему кругу, бросили своих толстозадых, разопсевших жописов, обзавелись молодками, да еще и детишек на старости лет настругали. Иными словами – п е р е ж е н и л и с ь. Вот Ленька Пономарев – бросил свою жирную Нинку, взял молоденькую, беленькую Леночку и заделал с ней сына. И рад-радехонек, просто на седьмом небе от счастья, только о сыне и говорит. А что ему? Дети взрослые, старшая дочь на год моложе жены. Да и дела на поправку пошли – там повесть, тут роман. Молодой мужик, как десять лет сбросил. А он что? Старый пердун. Знай себе побряхтывает. А ведь всего каких-то пять лет у них с Пономаревым разницы. Впрочем, пять лет это все-таки срок, тем более, что на них как раз фронт пришелся, но не в этом дело. Главное – захотеть. А он, видать, не хочет. Ему и так хорошо. С Валею и Наташкой. А Наташка никуда не денется, рано или поздно одарит внуком. Так что и не надо ему никаких переженилок. Его песенка спета и нужно отдавать себе в этом отчет. Свой план по женам он уже выполнил. Ну, а мечтать в тиши кабинета никто не запрещает. Мечтай себе на здоровье”.

... февраля

Вот я всё ропщу – а что, спрашивается, Бога-то гневить? Ведь у меня есть главное – свобода. Я свободен! Живу дома, не стеснен в денежных средствах. Захотел – завтра в Ленинград, например, махнул. Не захотел – дома остался. Свобода она, конечно, относительная, в том смысле, что в Монте-Карло, скажем, я завтра при всем желании уехать не смогу. Но все-таки какая-никакая – а свобода. И по нашим российским меркам не шуточная – даже на службу ходить не надо. Словом,

живи не хочу. В стране, где тебя в любую секунду могут определить за проволоку или всунуть в солдатские сапоги – свобода вот в таком, бытовом смысле этого слова, уже вещь немаловажная. Вот и поймал себя сам – у всех у нас психология потенциального ээка. Сколько же лет ее нам прививали и сколько поколений взросло и впитало ее в себя. Что, что? Нет в магазине сыра? Иди, иди, милый, и еще скажи спасибо, что сам ходишь, а не под конвоем. И ведь говорим спасибо. Проснулся утром в своей постели – спасибо родной партии, квартиру отдельную к пятидесяти годам получил – так тут уж и вовсе лоб готов расшибить в поклонах. Или еще такая разновидность этой же психологии: "войны нет и слава Богу". "Мо-ой ми-илый, только б не было войны...", – так, кажется, в песне поется из кинофильма по роману соседусшки моего, великого русского писателя и гертруда новоявленного. И вправду: жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее! Хорошо стало жить! Войны нет (пока), за проволоку колючую не сгоняют и слава Богу! Опять же – спасибо родной партии. Мы, старики, видать так и помрем с этим, да и детишки наши тоже подпорчены, как ни хорохорятся. Одна надежда на внуков. Внуки, ау! Антон, Наташа! Где мои внуки?! В ответ тишина. Дедовство мое, похоже, даже еще не стоит в плане на будущую пятилетку. Сейчас к этому делу относятся осторожно – с Антоном я даже и не общался по сему поводу, а Наташка еще в детстве заявила, что никогда не выйдет замуж и не будет иметь детей. С тех пор ее отношение к этому вопросу мало изменилось. Эмансипация! Видать, так и помру вечным папочкой.

"...А он никогда особо не надрывался. Ну, фронт не в счет. А потом, в институте? Писал мало, всё

больше шлялся по кабакам да менял девиц. Другое-то сидели своими крепкими задами, гнали строку, а он за пять институтских лет всего две маленькие книжонки состряпал. Причем первая заканчивалась такими словами: "...дело Ленина-Сталина, дело коммунизма", а вторая, соответственно, "делу Ленина-Сталина, делу коммунизма". А потом, после института? Раньше одиннадцати редко когда вставал, только если в командировках. Даже в домах творчества всегда просыпал завтрак. Да еще эту привычку сибаритскую завел - ванная по утрам. Горячая, долгая. К часу, глядишь, только и начинаешь функционировать. И всё сидя, всё сидя. А потом еще удивляется, почему его пузан ни в один костюм не влезает, на заказ шить приходится. Вон, Мишка Козлов всего на год моложе, а каков? Встает в семь, каждое утро по часу бегает. И никакого тебе рюкзака спереди, никакой одышки. В девять уже за столом. И результаты налицо - в отличной форме, лудит роман за романом да еще и на сценарии времени хватает. Впрочем, судьбу не обманешь. Володька Хохряков тоже по утрам носился, да еще и в теннис играл. И что? Вернулся однажды с утренней пробежки, встал под душ и умер. Тромб... А Сережка Григорян, царствие ему небесное, вообще мастером спорта был. А вот он, Колесов, с детства этот спорт терпеть не мог. Нет, на трибунах с удовольствием - футбол, легкая атлетика, - но каждый урок физкультуры превращался для него в пытку. И ведь ничего - скрипит помаленьку. А где они, спортсмены? Володька на Востряковском, Сережка на Ваганьковском. Заняли места, так сказать, согласно вкладу в советскую литературу. Нет, нет, как ни банально звучит - от судьбы трусцой не убежишь. Тем более вычитал недавно, кажется, в журнале "Америка", что бег, оказывается, вреден. И, что самое интересное - прово-

цирует импотенцию. Впрочем, ему, Колесову, эта опасность уже не грозит. Так что самое время начинать бегать. Вот и Валя вчера обмолвилась, когда в очередной раз перемалывали на кухне его когдатощные похождения. "Теперь-то, пожалуйста, можешь хоть совсем не приходить, теперь уже не страшно..." – Он не обиделся, хотя, наверное, мог бы. А с другой стороны, на что обижаться? Старик у говорят, что он старик, чего ж тут обидного? Он и сам об этом прекрасно знает. Так что глупо. Тем более – на собственную супругу".

... февраля

...Самоходка выкатила на середину двора и встала, не глуша мотора. Да, это была именно моя самоходка, ИС, Иосиф Сталин, 75-дюймовка плюс брезентовый верх, подарок немецким автоматчикам. Я сел на нее после "тридцатьчетверки" и прошел всю Латвию и Восточную Пруссию. 21-14, как сейчас помню этот номер. И вот она, 21-14, я отчетливо это понимаю, хоть и не вижу номера – в моем дворе. Среда бела дня, жаркого, душного. Я выбегаю на балкон и вдруг в ужасе осознаю, что у меня нет ни гранаты, ни автомата, ни пистолета, ни черташеньки у меня нет, кроме дохлого старого пуделя, давно уже забившегося под диван. А они уже разворачиваются и вот-вот шарахнут, накроют к чертям собачьим, а я застыл как парализованный у поручня и уставился прямо в жерло – сейчас, сейчас вдарят! Мне б бежать, к псу под диван забиваться, а я стою и смотрю, как идиот... Черт, совсем не умею сны записывать. Я всегда говорил, что умение записывать, а, особенно, снимать сны есть высшее искусство, которым я, судя по всему, не владею. Потому и не пишу снов, разве что в дневниках...

Давненько со мной такого не было, давненько. После войны трепало часто, вскакивал по ночам,

пугал мать или случайных "соседок", хватался за сигареты... Но отпустило. Всё реже и реже, а потом и совсем испарились эти сны, другие пришли кошмары. Иногда только с переработки, на больную башку что-то возникало, но невнятное какое-то, бледное, не в цвете, и на утро я уже ничего не мог вспомнить, как ни старался. И сегодня, хоть убей, не скажу, был ли цвет, нет ли, но всё, что происходило, помню подробно. Повалаясь немного, пока не затарахтела под окном асфальтодробилка (сколько лет живем, а всё что-нибудь тарыхтит), встал, пошатался по квартире, выпил таблетку и продрых на кабинетном диване до часу. С тяжелой головой забрался в ванную, сотрясаясь от утреннего своего кашля, и вот сижу, мараю блокнот.

Враг № 1 заглох, гад, никому я не нужен, старый старикан, и роман мой все тоже видали в гробу и, как говорит Антон, в белых тапочках. На что я надеюсь? Стоило ли изводить столько бумаги? Мир не вздрогнет, это ясно, не пикнет даже. Впрочем, это и всегда было ясно, но сейчас — особенно. От романов мир уже давно не вздрагивает. Какие там к черту романы, когда от газет вздрагиваешь, в метро вздрагиваешь, не говоря уж о том, как вздрагиваешь ночью на улице. Для того, чтобы мир вздрогнул от произведения искусства, он должен быть сыт и спокоен. В мире должен быть мир, чтобы он мог вздрагивать от романов, картин и фильмов, с помощью которых читатель или зритель проживает чужие жизни, сидя в теплом зале или валяясь на диване. Но разве можно вздрогнуть от фильма о войне во время войны? Или от романа о голоде в период голода? Что нужно миру во время голода и войны? Марика Рёкк! И только. Ну, можно еще "Кубанских казаков". И мы уже идем к этому, вернее возвращаемся, и глупо не отдавать себе в

этом отчет. Что ж, всё правильно. Бесчеловечно корить затюканного жизнью человека за его тягу к сказке. И все-таки я продолжаю надеяться, что ж поделаешь – такой уж я неисправимый оптимист. Я ведь всегда на что-то надеялся. Слабенькая надеждка теплилась и по молодости, это уж само собой, и потом, после первого романа, и сейчас вот...

Но никогда, никогда я так не жаждал публикации, как сейчас. Только, наверное, в сорок восьмом году, когда написал первый в своей жизни репортаж с Всесоюзного конкурса почтальонов. Репортаж в конце концов пошел, и я даже надрался от полноты чувств в ресторане Курского вокзала, где куковал в очереди за билетами на Симферополь. Счастью моему не было предела. Надерусь ли по поводу выхода романа? Вопрос остается открытым...

А пока кто я, в сущности, есть? Обыкновенный второсортный литератор. Не писатель даже, а литератор, т. е. человек, живущий литературным трудом. Вчера заехал Игорь за журналом, выпили, я раскричался: "Вот ты сколько книг написал?!" – Пристал как банный лист. И чего, спрашивается? По какому такому праву? Ведь знаю же прекрасно, что заканчивает Игорь третий свой роман, как всегда в муках и как всегда про завод. И знаю точно, что будет это как всегда плохо – ни слова, ни пластики, фразы а ля Лев Николаевич, тяжеленные, подробностей ненужных куча. Хорошо, пусть так. Но ведь пишет человек, как может и как умеет. Прозу пишет. И не его вина, что не дал Бог таланта. У других и того меньше, а, поди ж ты, в классиках ходят. Нет, Игорь, по крайней мере, честнее меня. А я-то ведь променял свой талант. Что, скажете нет? На поздние свои вставания, на ванны по утрам, на Пизунду в сентябре, на осетрину в клубе. Ведь вы-

бор у меня был, был выбор, но я слишком рано сдался тогда, не хватило силёнок, не хватило. Сдох как стометровщик на длинной дистанции. Ведь надо было писать. Писать и писать, долбить эту стену, а я сдался без боя. Добровольно превратился в макулатурщика. Да еще и идейного. Дескать, я в ваши игры не играю. Ну так и что же теперь скулить? Я ведь сам этого хотел. Так мне было легче и я прекрасно об этом знаю. Каждый получает то, что заслуживает, я всегда это говорил. И нечего теперь самоутверждаться за счет других, нечего нос задирать. Тридцать книг у него, видите ли! А кто их читал, эти твои книги?! Кому они были нужны?! Запомни: тебя нет. Нет тебя, и всё тут. Вот и заткнись, вот и молчи в тряпочку! А еще лучше сходи в магазин за хлебом и за гуляшом для пса. А то придет Галя и будет ругаться.

”...Осталась только одна последняя возможность – напечатать ненапечатанное. Ни на что большее времени не хватит. Ни времени, ни сил. Пусть вспомнят о нем хотя бы напоследок, пусть ахнут эти зажавшиеся собраты: смотри-ка, жив курилка! Да еще и как выдал на старости лет. Ну, а если и тут не ахнут, то всё – алес капут. Считай, что похоронили окончательно. А когда его вообще похоронили? Ну-ка, ну-ка? Да уж, почи-тай, лет двадцать, как ни одной статейки, ни одного упоминания в обзорах этих дармоедов-критиков. Выпал из обоймы начисто. Даже когда документалистов ведущих перечисляют – и то никогда не назовут. Всё больше этих молодых, мелькающих. Да что теперь махать кулаками, ведь он сам виноват.

После романа все ждали от него прорыва. Какой-никакой, а был все-таки успех, рецензии, обсуждения. А что сделал он вместо того, чтобы

идти вперед, наращивать мускулы? Ведь до настоящего прорыва оставалось совсем немного. Достаточно было только написать новую вещь – и всё бы произошло само собой. Обойма есть обойма. А он взял да и сошел с дистанции. Правда, тогда еще сам этого не осознавая. Ведь как было: только женился тогда, появилась Наташка. А на новый роман нужно было минимум года два, это при его-то быстрописании.

Книгу "проели" мгновенно, ничего кроме долгов на горизонте не вырисовывалось, вот и решил: настропалить быстренько что-нибудь про стройку коммунизма листов на десять, поправить дела и тогда уже за роман. Иначе не получалось. Ну, не на службу же, в самом деле? Схватил аванс, смотался на месяц в командировку, взял на два срока Переделкино и сел долбить.

Вскоре обнаружилось, что материала не хватает. Халтурить не хотелось – снова схватил командировку, опять смотался на две недели, добрал и вернулся долбить. Отмучился, снес в издательство, посидел немного с редактором – и порядок. Деньги на бочку. Получилось не особо много, но решил железно – за роман. Как-нибудь уж дотянут. Назад в Переделкино – в их комнатухе втроем особо-то не распишешься – и врубаться. И тут как назло подвернулся кооператив. Две комнаты в новом блочном доме на Юго-Западе, 16 и 12, смежные, кухня 7. Не ахти, конечно, но поди лучше, чем втроем на шестнадцати метрах. Валя просто повисла (имел неосторожность обмолвиться) да, честно говоря, он и сам был непрочь. Ну откажутся сейчас, и что? Когда еще подвернется такой случай? В союзе раньше чем через шесть лет не обещали. И что, так всю жизнь и сидеть в Переделкино? В конце концов не мальчик уже, пора бы и иметь собственный угол. Подумал-подумал – да и согласился. А что значит согласился? Это

значит прощай роман, здравствуйте новые дали. Первый взнос и вся любовь. Впрягайся по новой. И ведь утешал себя: всё, всё, это уже точно в последний раз, не для себя же в конце концов он старается. Через год, ну, максимум, через полтора будет квартира. И тогда уже точно за роман, кровь из носу.

А время-то какое было? Последние денечки, шестьдесят шестой год. Чуть приоткрытая дверка давно уже стремилась слиться с косяком, захлопнуться неотвратно, и оставалась лишь узенькая щелочка, в которую еще можно было попытаться хоть как-то втиснуться. Он это чувствовал, понимал, что надо торопиться, но пришлось снова хватать аванс и мчаться в дальние края. На этот раз в Сибирь, на строительство завода-гиганта.

С этим заводом он крепко влип. То была стройка коммунизма, издательство неукоснительно требовало "позитива", но всё, что он видел там, естественно, никак не укладывалось в рамки этого понятия. Тогда он еще не умел халтурить откровенно. Внутренне, может быть, и чувствовал, что халтурит, но внешне всё должно было быть успокоительно гладко. Не правдой, так хотя бы стилем-с. В результате он привез две книги - одну для н и х, другую для себя. Ту, что для них, отдолбил в Малеевке месяца за три и сдал "на ура". Ту, что для себя, писать, разумеется, не стал. Очерки не пишутся для вечности, а эти блокнотики еще пригодятся. Мало ли что.

Книга быстро вышла и расплзлась по библиотекам. (Не так давно он наткнулся на нее в библиотеке родного писдома, чуть выцветшую с пыльными, но абсолютно девственными, нечитанными страницами и с равнодушной ухмылкой поставил обратно. Давно уже прошли те времена, когда он ревностно бросался разглядывать формуляры собственных книг в библиотеках.) В общей сложности

он угробил на нее год – с поездками да долбежом в Малеевке.

А тут и квартира подошла. Начались приятные хлопоты. Въехали, отгуляли новоселье. Эдакая блочная сараюга с грязными швами и насквозь продуваемыми клетухами. За окошком – такие же серые монстры. Новый район, короче говоря. Одна радость – лес недалеко. Ладно, стали жить. Обставились кое-как. (Книга ненадолго поправила дела, даже удалось протиснуть небольшой кусочек в журнал.) Да и было бы что обставлять. Стол, шкаф, кровать, несколько стульев – глядишь, уже и свободных углов не осталось. Правда, это он теперь, со своего четырехкомнатного высока так рассуждал, а тогда радости не было конца. Ведь хоть и маленькое, а своё. С кухней, ванной, сортиром, в котором можно сидеть сколько угодно, не вздрагивая каждый раз от шагов по коридору. И стол он купил себе новый, сам высмотрел, двухтумбовый, деревянный, полированный. Мечта, а не стол! Купил и кресло рабочее, вертящееся, на стальной ножке – только работай. Еще и деньжата кое-какие остались – самое время за роман. Тем более, что многое передумалось, пересмотрелось: роман разросся, стал глубже, объемнее, даже интонация другая появилась. Словом, не роман – чудо. И вот тогда-то, сидя за новым чешским столом в собственной отдельной квартире, он вдруг отчетливо понял, что всё. Дверка захлопнулась.

Роман еще не был написан, но было абсолютно ясно, что его никто и никогда не напечатает. Именно так: никто и никогда – казалось, что дверь захлопнулась навсегда, в такой вдруг вязкий битум, в такую хмурую и беспросветную зимнюю спячку всё погрузилось. Стоит ли тратить два года на заведомо обреченную вещь? Ведь даже и занять-то будет неподочно? А дальше как? Положить в стол до лучших времен? Что-то очень

слабо в это верится. Уж больно серо, больно беспрочно вокруг. Что, передавать на Запад? Одни уже передали. Да и потом, русский писатель должен печататься дома, все эти игры не для него...

Этот роман он так и не написал. А тогда, воспользовавшись передышкой, сочинил небольшую и абсолютно безобидную повестушку на материале своих поездок и даже напечатал ее в одном не очень престижном, но все-таки столичном журнале. "Давайте, давайте, - сказали ему тогда, - такие вещи нам нужны". И даже предложили договор на большой роман о стройке, который он деликатно отверг. Валя была довольна - деньги в семью - расстроилась только, что отказался от договора. "Ну и написал бы. Вон все пишут и ничего...". Но в принципе Валя была довольна. И мать была довольна и даже отец, с которым частенько тогда общались, сказал: "Молодец, сынок. Вот так и пиши". Ах, как же все-таки замечательно, когда все тобой довольны, как хочется нравиться еще и еще, и как мучительно тяжело не поддаваться этому подленькому желанию. Выдержал ли он сие испытание?..."

... февраля

За кухонным окошком возникает картина, достойная кисти художника: Ляля Столярова выкатывает из гаража на своей "Волге". Затюканное, очкастое создание Катя Столярова покорно ожидает на тротуаре - сейчас ее отконвоируют в институт. И так каждое утро. Ляля и машину-то специально для этого освоила - негоже ребенку мотаться в общественном транспорте. Да и автомобиль - раз уж купили, надо ездить. У Егора каждое утро лимузин под окном, ему без надобности, а Ляле в самый раз: Катку в институт, и по магазинам. Смышленная оказалась машинисточка - Егор подобрал ее в каком-то издатель-

ском машбюро. Когда-то давно, когда он еще ходил в прогрессистах, не имел лимузина и считал Аксенова лучшим советским писателем, мы сидели в Малеевке за одним столом и Егор до занудливости подробно посвящал меня в историю своей "переженитьбы". Ляля, насколько я помню, и тогда была крепкозада, а ныне раздобрела на секретарских харчах до неприличия, как только на сиденье помещается. Смотрит Галя на эту картину из окна и язвит. А у меня вдруг с языка сорвалось:

- А если б у нас "Волга" была, - спрашиваю, - ты бы Наташку возила?

- Ну, прям, - отвечает мне моя Галина.

Ничего я на это не сказал, а про себя подумал: а ведь возила бы, милая, еще как бы возила. И вот так же смотрел бы на тебя из кухонного окошка какой-нибудь менее удачливый, несекретарский жопис и глотал слюнки, изображая презрительную улыбку на лице. Все вы одинаковы... Но я всё равно люблю тебя, Галя. Так уж получилось в этой жизни. А "Волгу" мы еще купим. Вот подожди, пойдет роман... И "Волгу" купим и дачу. Наташка, правда, успеет к тому времени закончить институт, возить ее будет некуда, разве что только на службу, зато я уже буду совсем старенький и вместо Наташки ты будешь возить меня в нашу загородную резиденцию. Подходит такой вариант?

"...У Вали многое зависело от настроения. Например, в дурном расположении духа она могла с ходу, лишь взглянув на экран, объявить какую-нибудь рок-группу, каких развелось нынче тьма, "придурошными" (любимое ее словечко) или наоборот, чаще всего в пику Колесову, вдруг начинала восторгаться каким-нибудь действительно посредственным ансамблем или горлопаном. Ни в том, ни в другом случае переубедить ее, доказать обрат-

ное было невозможно. Чаще всего Валя с упрямой неистовостью отвергала всё неожиданное и непривычное, и чем внимательнее вглядывался в экран Колесов, чем пристальнее прислушивался, тем неистовее становилась Валя, гордая независимостью собственных суждений. Колесов с великодушной снисходительностью прощал ей эту ее нетерпимость, с благоразумием опытного супруга не требуя от жены того, чего она не могла дать. Чистая рубашка есть, суп готов, ужин в холодильнике – и слава Богу. От программы-максимум он уже отказался давно...

... февраля

Враг № 3 заманил на "Музыкальный ринг". В эфире "Попмеханика" Сергея Курёхина, записанная еще год назад. Однако, как мы помним, тогда же было выступление Большого Егора в "Сов. культуре". Большой Егор очень возмущался вольностью современных нравов, а несчастную "механику" окрестил чуть ли не "сумбуром вместо музыки". Силы постановления это сугубо частное выступление, естественно, не имело, но система, тем не менее, сработала безотказно. И вот по прошествии года Курёхин наконец допущен до советского народа.

– Прямо психбольные какие-то, – с присущей ей афористичностью комментирует моя Галя. Я хихикаю.

– А что, – говорю, – милая, отдала бы ты нашу Наташку вот за такого парня? – и на саксофониста-волосатика киваю.

– Даже на порог бы не пустила, – раздается в ответ. – Куска хлеба бы не дала! (Это она, конечно, в запале. Но чем черт не шутит?)

– Нет, – говорю, – милая, все-таки ты промахнулась.

– А что такое? – не понимает.

- Тебе нужно было выйти замуж за Егора Кузьмича Лигачева, - поясняю. Ну что же, Валя, во всяком случае, искренна. А я что? Вслушиваюсь, всматриваюсь, принимаю, делая вид, что все это мне интересно, а ведь это не так. Интерес мой чисто умозрительный, так, любопытство к новым веяниям, и потому эмоциональной основы под собой не имеет. Я не люблю атональную музыку и вообще равнодушен к авангардизму. Что поделаешь - примитивный реалист-традиционалист, на том стою и другим уже вряд ли буду - слишком мало осталось времени. Таким образом, я отличаюсь от Гали только тем, что она свое непонимание выражает открыто, а я жеманно записываю в тетрадку.

"...Стелле все время было холодно. И всегда у нее были холодными руки и ноги. Она много курила, имела плохие зубы и куталась в одеяло даже во время занятий любовью, что несказанно Колесова раздражало. К тому же, уже в самом процессе, она могла вдруг неожиданно почесаться или закашлять, и иногда Колесов еле сдерживался, чтобы не пустить в ход кулаки. Однако Стелла была изрядно начитанна, умна и в совершенстве владела тремя языками, в то время как все колесовские познания в языках сводились к фронтовому "хэнде хох". Зато Валя оказалась на удивление морозоустойчивой и запросто могла спать без ночной рубашки, если Колесов ее об этом просил. Его почему-то вообще раздражали ночные рубашки. У Вали были небольшие аккуратненькие зубки, она не курила (тогда), не в пример нестроге Стелле обожала грубые ласки, а в любви была настолько самозабвенна, что не допускала даже вполне естественных и безобидных шуток (здесь у меня явное противоречие с тем, что я написал на с. 55 - не забыть потом поправить),

требуя от Колесова неукоснительного соблюдения таинства акта. Но языков Валя не знала, читать не любила и в отличие от Стеллы вряд ли могла сделать доклад о времени и пространстве у Гомера. Однако и у Вали имелся свой конёк — идеальная грамотность. Она никогда не делала ошибок и была одинаково точна как в орфографии, так и в пунктуации. Колесов с удовольствием давал ей вычитывать свои рукописи и со снисходительным великодушием позволял распекал себя за ошибки.

Сейчас, по прошествии лет, когда страсти давно улеглись, Колесов прекрасно понимал, что живет с Валею или даже любит ее именно за то, что она такая, какая она есть. Вся, целиком, со всеми своими плюсами и минусами. И даже не потому, что это она такая замечательная и неповторимая, а потому, что она т а к а я дает ему, Колесову, возможность ощущать себя замечательным и неповторимым. А ведь это так важно, когда жизнь каждый миг норовит припечатать тебя мордой об стол. А Валя была и его домом, и его крепостью. И пусть она никогда не понимала его до конца, да и не могла понять, зато он всегда мог прийти к ней поплакаться и, как случайному купейному попутчику, исповедаться во всем или почти во всем, не таясь. И это, пожалуй, было самым ценным...”

... марта

“А”, “Б”, “В”, “Г” — и так до конца алфавита. Вскочил с утра пораньше и кручу, как заводной, головой, буквы выделяваю. Литфондовский наш эскулап присоветовал от двойного подбородка. Уф, умаялся. Нет, не люблю я все-таки резких телодвижений. А ведь надо бы: вчера на диспансеризации взвесился — еще пару килограммов прибавил. Бросил курить и за какой-то год превратился в

Гаргантюа, аж самому противно. Но поскольку делать зарядку мне всё же лень, а это значит, что к следующей диспансеризации (если доживу, конечно) добавится еще пара килограммчиков, лучше отвлекусь от неприятных мыслей посредством анализа окружающей действительности. Это куда легче и приятней, чем делать зарядку.

Итак, снова наше родное, российское "если в кране нет воды...". Снова заголосили, заталдычили на все лады. Один великий русский письменник так и заявил в клубе на полном серьезе: "надо разбиваться на пятерки и спасать Отечество". А мы-то, глупые, сидим – головы ломаем, как же спасти Отечество? А оно вон, оказывается, как всё просто. На первый-пятый рассчитайся и вперед; "эй, носатые, заперайте этажи!". Ах, как же всё элементарненько, а, главное, проверено и действует безотказно. Ну, конечно же, жида! Они, они антихристы! Знамо дело, сговорились, снюхались с прочей нечистью, токо б Рассею матушку в зловонные сети свои затянуть, токо б погубить ее, родимую, да самим на трупе поплясать да попрыгать, повеселиться всем своим коварным, прости Господи, кагалом! Вот ведь оно как! И нет, чтоб в себя заглянуть, на собственную рожу кривую попенять да пригорюниться всерьез о горькой нашей судьбинушке, меж канавой подзаборной да этапом пролегающей. Или и в самом деле пархатые нас попутали?

Выхожу с псом. У родного винного как всегда шеренга. И ведь до смешного – не встретишь ты еврея в этой на полпереулка кишке, не вычислишь, как ни старайся. Всё ведь наш брат русак топчется. Где евреи, спрашивается? Отвечаю: дело делают. И объяснение тут простое – вся штука в генетически заложенном ощущении вечного цейтнота. Успеть, успеть, ухватиться, протиснуться, закончить, пока не прогнали за черту, пока не

забили, не вспороли живот, не запихнули в газовую камеру. А мы – хозяева! Мы живем сегодня! Просто, вольготно, легко, как живут на своей земле. Мы живем так, как будто впереди у нас вечность, десятки беспечных лет, за которые мы успеем еще и догнать, и перегнать, и взлететь в заоблачные выси. Нет этого червя сомнения, нет этого буравчика вечного страха и неуверенности, живущего в этом народе веками. Всё у нас в порядке, всё нормалёк. Авось, как-нибудь...

Да ведь я и сам такой, сам грешен, братцы, чего уж тут. Как подумаешь, сколько времени потрачено даром! На ерунду, на чепуху, на суету-сует. Сколько благих намерений и честолюбных мечтаний кануло в этой суете, лучше и не вспоминать! Сколько романов растворилось в ресторанном дыму да кухонном трёпе! Я ведь никогда особо не надрывался. Вот и сижу у разбитого корыта. А может, в этом тоже евреи виноваты? Ну-ка, ну-ка, дай Бог памяти? А ведь новомировский Закс меня не жаловал, ой не жаловал. Да и еще были случаи. Нет, все-таки стоит подумать. Может, хоть легче станет.

... марта

Вот я, неблагодарный, всё Софью Власьевну крою. Но скажите на милость, где бы еще, в какой другой стране мира я смог бы столь безбедно и спокойно существовать, кормя себя литературным трудом. Вчера вычитал в "Известиях" – всего тридцать процентов французских литераторов имеют финансовую возможность не состоять на государственной службе. У нас, я думаю, раза в два больше, то есть процентов шестьдесят от всего числа членов, а то и все семьдесят. Ну, в самом деле, что бы я делал, например, во Франции со своими утренними ваннами? Внутренних рецензий там наверняка нет, в существовании бюро пропа-

ганды французской литературы тоже сильно сомневаюсь, не говоря уж о книгах про героев труда. Впрочем, есть, наверное, какая-нибудь серия в ихнем "Профиздате", что-нибудь типа "Портретов ударников капиталистического труда", так ведь туда небось и не пробьешься, — кто откажется написать про заводы Рено или про Пьера Кардена. Так что пришлось бы пристроиться на время каким-нибудь клерком, а по вечерам кропать нетленки. Потом искать издателя, а после уж ждать читателя. Пришел читатель — хорошо, можно писать новый роман. Нет читателя — до свидания, нового романа можно не писать. Попробуй, найди теперь издателя. А это еще не факт, что французский (к примеру) читатель бросился бы читать мои романы. Да, да, вот те самые, ненаписанные, о которых я всё горюю. Так что Франция нам не подходит. То ли дело у нас — отыскал какого-нибудь знатного сталевара, накропал заявку, схватил аванс и вперед. Знатный сталевар тебе что-нибудь промычал, ты как-нибудь это его мычание отобразил, например, в форме "документальной повести", получил свои денежки, и за новую заявку, теперь уже про механизатора или строителя, продолжая пополнять макулатурный фонд страны. А тебе-то что? Ты бы ведь даже согласился, чтоб эта книга вообще не выходила или осталась, так сказать, для внутреннего пользования. Во всей этой истории тебя интересует только бухгалтерия, а чем меньше свидетелей твоего позора, тем лучше. Вон они, примостились на полочке, корешок к корешку, кровопийцы мои и кормильцы. А ведь псевдонима не брал, Добрыниным подписывался. Это было успокаивающе важно: раз Добрыниным подписываюсь, значит вроде как не полная халтура. И ведь верил! Даже пытался какое-то удовольствие находить. Бегал по библиотекам, смотрел формуляры...

”...Позвонил Сеня Хенкин, старый приятель и соавтор Колесова по халтурам. Всё, прикрыли лавочку – хозрасчет. Никому не нужны больше очерки о героях труда, даже литзапись не выцыганишь... Колесов отнесся к сообщению спокойно – этот сюжет уже мало волновал его, прошли, к счастью, те времена. И хоть Сеня частенько звонил и предлагал что-нибудь новенькое, Колесов неизменно отказывался.

Последние год-два он вообще старался общаться с Сеней пореже. Сначала из-за Вали, которая давно уже его не влюбила, придумав себе, что Сеня паразитирует на его, колесовском, ”таланте”, использует безотказного Колесова в своих хитрых еврейских целях. На самом же деле всё было совсем наоборот: не Сеня, а именно сам Колесов предложил этот вариант соавторства и именно он, Колесов, пользовался шустрым Сеней, перекладывая на него всю черную работу, а себе оставляя лишь окончательную правку и подготовку текста. Сеня собирал материал, а Колесов доводил его до ума. Теперь же своим присутствием Сеня лишний раз напоминал о тех временах и той жизни, с которой, как казалось Колесову, он решительно порвал. Ныне, когда он наконец выбрался из этого болота, окреп и готовился к переходу на новый виток, суетливый и говорливый Сеня был не совсем ко двору. Ибо сказано в книге пророка Екклесиаста ”всякой вещи своё время”. Правда, последняя их с Сеней книжка вышла совсем недавно, каких-то полгода назад, – но уже под одной фамилией. Свою Колесов снял, не желая более делить позор на двоих. В этот последний раз книга о герое труда обойдется без его имени. Хватит! В конце концов он давно уже заслуживает лучшей доли...

Ведь по сути он полжизни писал ”непроходняк” за счет проходняка. И пропорция вырисовывалась

совсем неутешительная: приблизительно 1 к 10. На один лист полноценного текста в стол десять макулатурных. Дороговато же давался ему этот "непроходняк". Раньше он тешил себя иллюзиями – мол, хоть как-то, а маячу на горизонте, нет-нет, да и выйдет что-нибудь стоящее. Теперь-то ему было абсолютно ясно, что ничего путного после того, первого романа он так и не напечатал. Второй роман, который написал наскоро, воспользовавшись неожиданно выдавшейся передышкой, прошел абсолютно незамеченным. Хоть и переиздавался часто и даже вышел в одной соцстране, роман этот был, конечно, абсолютнейшим чтивом. Да он и не скрывал этого от себя. Такова, собственно, и была сверхзадача – пишу чтиво, но хорошее. Что ж, с этой задачей он справился вполне. А теперь он даже не включил бы этот роман в "Избранное". Впрочем, и "Избранного"-то пока никакого не намечалось, за это еще предстояло бороться. Именно бороться, потому что хватит уже – все молодые засранцы-графоманы давно по двухтомнику имеют, а он всё сидит с мягкими обложками... Потом был третий роман, который написал довольно быстро, а после два года безуспешно толкал в журналы. Еле-еле впихнул. От этой эпопеи у него осталась целая папка рецензий, самых разных, от доброжелательных до разгромных, была среди них и рецензия Коли Фатеева, в то время еще советского писателя, а ныне главного редактора довольно известного эмигрантского издания. Рецензия Фатеева раздражила его тогда пуще всех прочих, хотя среди них были и куда более резкие. Всё дело было в том, что лукавый шельмец Коля раскусил его в этой рецензии пополам, попал в яблочко, сделав всеобщим достоянием то, о чем Колесов подсознательно догадывался, но старался не думать. На нескольких страничках Коля, со свойственной ему прямоотой,

написал, что роман обещал быть интересным, если бы автор каждый раз не ускользал в сторону, чувствуя, что ступает на запретную территорию. Вот так, коротко, ясно и до омерзения точно. Уж очень хотелось напечататься, напомнить о себе, возникнуть снова. Конечно, роман должен был быть совсем другим, и он прекрасно знал это. Так же, как и то, что в этом случае он бы благополучно занял свое место в столе рядом с тем, что уже изначально писалось как д р у г о е. Ну, не получалось у него соединить несоединимое. Некоторые как-то изворачивались, находили лунки в этом крошечном льду: вроде всё правда и придаться не к чему, а с другой стороны — "проходняк".

Лидером этого "луночного" направления был Валька Кононов, институтский приятель Колесова. Официального признания Валька, естественно, не имел, шел тяжело, не раз был обруган за "бытовизм" и "мелкотемье", но среди интеллигенции и вообще приличных людей был чрезвычайно популярен, даже знаменит и в то же время не очень опасен своими вечными темами. А посему наверху рассудили: пусть будет. Но в ограниченном количестве. И Валька был. Небольшими тиражами, с купюрами, но все-таки существовал и читаем по сию пору, когда его уже семь лет, как нет на свете, — сердечный приступ на августовской Пицунде.

Валькины вещи Колесов недолюбливал. Они раздражали его своей, как ему казалось, пропорциональностью, виртуозным скруглением острых углов и чисто внешней правдивостью. Колесов мог отыскать тысячи аргументов в подтверждение своего неприятия Валькиной прозы, но главным аргументом, пожалуй, был все-таки один: у него, Колесова, так не получалось, — чтоб волки сыты, и овцы целы. А ведь он пробовал, и не раз — ро-

ман и пара повестей тому подтверждение, — но так изящно, как у Кононова, не выходило, как ни бился. Всё дело было в умении скользить вдоль границы, балансировать на тонком канате. Валька был великим канатоходцем. Ни разу не качнувшись, ему удавалось преодолеть всю дистанцию. А он, Колесов, не умел держать равновесие — валился с каната то вправо, то влево, и в результате получался довольно непрезентабельный литературный винегрет с потугами на авангардизм, в котором на щепотку перца приходилось две ложки сахара, ну, а больше всего было подсолнечного масла. Вот именно таким винегретом и получился этот третий роман, после которого Колесов раз и навсегда убедился в том, что искусство балансирования на тонком тросе не для него. Однако ж — журнал, два переиздания, перевод на язык братской республики. Кресло, в котором он сидит, — этот роман, стол, за которым он пишет, — тоже этот роман, и мягкий диван в кабинете, и шкаф, и кухня немецкая... Да, да, это так и нечего от этого отворачиваться. Впрочем, в "Избранное" он бы этот роман включил. Кое-что там все-таки удалось. Правда, только кое-что, но в его положении и это уже немало... И все-таки вопрос стоит прямо, не открестись: кто он есть в литературе? Именно сейчас, когда ставки уже давно сделаны и разыгрывается самый последний, заветный лотерейный билет. Кто он есть? Да его просто нет. Да, да, его нет. Не было и нет. Ну, может быть, за исключением одного, того первого, романа, от которого сейчас он, конечно же, ушел уже очень далеко. Ну, а всё остальное... Это был не он. Не настоящий Колесов, другой, поддельный. Жалкая четвертинка, нет, одна десятая часть его, десять процентов потенциала, жалкие десять процентов. Так уж получилось. Видит Бог, не он один этому виной, не он один... На последнем дне

рождения кто-то обмолвился: Колесов представляет собой уникальный тип советского писателя – в 60 с лишним лет всё впереди. И все засмеялись. И он, Колесов, захохотал, изрядно подогретый водочкой... А так ли уж это смешно?"

... марта

Многосотлетней царской династии от Рюриковичей до Романовых не удалось сотворить с российским народом того, что удалось большевикам за каких-то семьдесят лет. "Тысячелетнее русское рабство", о котором пишет Гроссман, ничто по сравнению с этим семидесятилетием. Другое дело, что оно (это новое), конечно, невозможно было бы без питательной среды многовекового царского кулака и крепостного права. Но эти детки, Грозный с Петром, эти закомплексованные христиане, и не представляли себе мощи державного атеизма. В результате противоестественного путча (что есть революция, как не движение назад: рэ-волюция) мы пришли к самому страшному типу монархии – атеистическому. Попытки впрыснуть в народную кровь новую религию обернулись крахом. Принцип царского богопомазанничества был нарушен раз и навсегда. Единственная ниточка, издревле глубинно связующая власть с народом, была разорвана. За всю свою не столь уж гуманную историю Россия не знала более антинародного правительства, нежели коммунистическое. А что же делаем мы сейчас? Как используем этот последний шанс? Перестраиваем? А что перестраиваем? Ведь для того, чтобы что-то перестроить, нужно хотя бы приблизительно представлять себе, как это выглядит. А мы по-прежнему сами с собой играем в жмурки, дырки-то в повязках проделали, а вот снимать не торопимся. У большевиков было целых семьдесят лет, чтобы доказать свою полную неспособность руководить страной. Ни в одном

государстве ни одна партия не находилась у власти столь долго. Самое интересное, что они еще бьют себя в грудь и имеют наглость заявлять: партия начала перестройку! Это приблизительно то же самое, как если бы утопающий, схватившийся в конце концов за бревно и таким образом не утонувший, ставил бы это себе в заслугу перед страной и отечеством. Однако утопающий – то спасся, а мы всё еще бултыхаемся....

... марта

– Я могу определить, что такое Япония в трех словах, – говорит японской рок-группе наш корреспондент, – каратэ, "шарп", гейша. А можете ли вы в трех словах сказать, что такое СССР?

– Икра... перестройка... Горбачев, – после некоторого замешательства отвечают японцы. Сами того не ведая, эти залётные иностранцы выдали вполне стройную цепочку, в которой ни одно звено не противоречит другому. Вот если бы им, скажем, пришло в голову: "икра, перестройка, Добрынин", – было бы мило. "Перестройка-Добрынин" – еще куда ни шло. А вот Добрынин-икра – уже с очень большой натяжкой. И тут сам собой выплывает вопрос: а что мы дали миру? Я в данном случае не просто Россию имею в виду – Советскую Россию (хотя определение это, как мы прекрасно понимаем, более чем условное). Так что же дала миру Россия последних семидесяти с лишним лет?

Давайте проверим по словарю: большевик, ЧК, советы, спутник да вот еще и перестройка с гласностью. Пожалуй, и всё. Ну, а если по большому счету, только спутник и есть в нашем активе. Но если вспомнить, какой ценой... А Гагарин? В шестьдесят первом году, когда он полетел, во многих деревнях Калужской (сто километров от Москвы!) области еще не было электричества, сидели с

керосинками. Я как раз тогда проехался по нескольким деревням с командировкой "Сельской жизни" и отлично это помню. Ну, а что же, кроме спутника? Согласитесь, что Усатый, Мао, Ким Ир Сен, Кастро, Пол Пот, венгерский апрель 56-го и чешский август 68-го, Польша-81, Афганистан – всё это весьма сомнительные достижения. Так что вот, дорогие мои, и ухватиться-то не за что. Что же до войны, то, спася Европу, что верно, то верно (выхода другого не было, ибо прежде всего себя спасать надо было), мы опутали колючей проволокой несвободы еще не один десяток миллионов человек. (Это я только про Европу, а если Китай присовокупить, то миллиарды получаются.) Ведь даже всё то, чего действительно не отнять, что записываем себе в актив, всеми силами держась за свою сверхдержавность, чем хвалимся на каждом углу – такой ценой, такой кровью, что и вспомнить жутко. Это, конечно, наше, российское. И было всегда – и при Красном Солнышке, и при Грозном, и при Петре, но в последние семьдесят лет мы всё-таки превзошли самих себя. О Гражданской сужу по хорошим книгам, а вот деревню Кукино сорок второго года, под которой мы положили роту, помню преотлично. Информбюро сообщило о взятии, и мы брали. Брали, брали, пёрли в лоб на пулеметы, но брали. И так два дня. А к исходу второго подошел с разведротой мой школьный приятель (учились в параллельных классах) Алик Арзуманян, которого год спустя отдали под трибунал за избиение старшего по званию: пошел ночью, скрытно и взял без единого раненого. Помню и КПП дивизии, на котором еще в бытность свою связистом просидел несколько суток, не слыша от славного нашего комдива ничего, кроме "вперед, вашу мать!". Так мы воевали. И строили так. И снова потом так же воевали в чужих горах наши ребятки. Так и живем, и конца края

этому не видать. Господи, когда же мы наконец научимся самому элементарному – любить себя? Или мы и вправду Богом проклятая страна?

”...Колесов знал, что у его Вали был жених, который по чистой случайности не поехал с ней отдыхать и которого она с ходу отшибла, как только познакомилась с писателем, то бишь с ним, Колесовым.

Любила ли она его? Любит ли? Почему вышла замуж? Может быть, всё до пошлости просто: отец погиб на фронте, мать продавщица, старший брат в тюрьме, сестра – школьница. Коммуналка... А тут писатель. При деньгах вроде да и с виду вполне, хоть и староват маленько. Щедрый, великодушный, не какой-нибудь сквалыга. А почему бы и нет? Уж поди лучше, чем тихо толстеть рядом с каким-нибудь инженеришкой. Вполне возможно, что именно так оно и было, но всё-таки Колесову не хотелось в это верить. А как же тогда их ночные страсти и признания первых дней, дорассветные гуляния по городу (а ведь уже не мальчик был), ощущение невозможности существования друг без друга. Или это было только его ощущение? А всё остальное игра? Фальшь и многолетнее притворство? Иногда Колесову казалось, что он совсем не знает свою жену. Вот ведь – двадцать лет прожили, а поди ж ты, угадай, что за этой улыбкой? Снисходительность, равнодушие, презрение, любовь наконец? Или и то и другое вместе? И ведь ни разу не удалось продраться, вытащить, наконец, на откровение, понять, что же все-таки там, внутри? Бездна или пустота? А вдруг он по обычной интеллигентской привычке всё усложняет? Впрочем, так ли уж это важно? Любила, не любила, любит... Игра не игра. Да даже если и игра – тем более приятно. Стало быть он, Колесов, женился на гениальной актрисе – попро-

буйте-ка двадцать лет безупречно играть одну и ту же роль. Такое под силу лишь великим актерам.

В конце концов они хорошо жили. Не хуже, а то и лучше многих, и дочь худо-бедно вырастили. И живут и будут жить вместе, сколько там ему осталось. И в самом деле: когда вы приходите в театр, какое вам дело до того, как играет актер: на переживании или на технике? Вы начинаете свистеть и кидаться гнилыми помидорами только тогда, когда он откровенно халтурит. Если же он вас убеждает, то не всё ли вам равно, каким образом он добивается этого результата. Это уж, как говорится, его личные трудности. Так вот Валя Колесова устраивала. А посему всё остальное не имело никакого значения...”

... марта

В литературу можно врываться, можно входить, а можно вползать. Я в литературу вползал – через сборнички, через книжонки бездарных очерков. И в союз потом вступил по этим книжонкам никому не известным, заштатным литератором. Другие торопились, вкалывали, прилипали задами к стульям, а я не дергался – жил как жилось. Потом вдруг спохватился, срубал роман, а по сторонам огляделся и понял – всё, не успел. Банк-то сорван, и давненько. О войне уж и читать-то никто не хочет. Премии розданы, критические баталии отшумели. И тут я со своим романом. Беда всей жизни: я всегда очень долго раскачивался. А в результате ступал на разминированное поле с обозниками вместо того, чтобы быть в авангарде. А ведь шансы у меня были, невеликие, правда, но были, и кто же, кроме меня, виноват в том, что я ими не воспользовался, известным писателем так и не стал, имени не заработал. Видимо, это должно происходить сразу. В

литературу надо врываться. С ходу. С гиканьем, присвистом, на белом коне. Раз – и в дамки. Ведь для этого достаточно всего лишь одного мощного броска – и всё. Остальное уже происходит само собой. Это закон рывка. Будь спокоен, о тебе уже просто так не забудут, ты есть. А те, кто вползает, уже изначально обречены на безвестность и вечный второй план. Потом уже из кожи вон можешь лезть, но окружающие всё равно будут делать вид, что тебя не существует. Говорю же – закон. Все мы мыслим обоймами и терпеть не можем их менять. Чем уже, чем привычнее круг – тем лучше. А толпе вообще много не надо – достаточно бросить клич: такой-то – хороший писатель! И готово. – А вы читали такого-то? Ах, какой замечательный роман такого-то! А спроси, чем замечательный – не скажут. – Ну как, – ответят, – это... хороший роман, интересный... Мы же терпеть не можем мыслить самостоятельно. Хлебом нас не корми, а дай сделать из себя попку. Так же и с классикой. Мы читаем ее без всякого личностного отношения. Сказано же – Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой – гении. И точка. Иной читает того же Льва Николаевича, нет-нет да и мелькнет вдруг мыслишка: "Боже, что за ерунда". И тут же спохватится. "Да нет, это, наверное, я чего-то не понимаю. Гений ведь". А почему гений? В чем гениальность? А вдруг и не гений совсем? Вдруг не гений? Был ведь у нас один такой: гений, отец, солнце и корифей всех наук. А потом вдруг выяснилось, что слухи были сильно преувеличены. Так, может, и Лев Николаевич просто старый зануда? Нет, нет, вы только не подумайте, сам-то я к старику с большим почтением, это я так, в запале. Ладно. Все-таки приблизительно раз в двадцать лет обоймы меняются, это естественный процесс, и лично я переживаю его во второй раз.

Первый свой шанс, двадцать пять лет назад я, как уже было замечено, профукал. Ну, а сейчас все-таки кое на что надеюсь. Конечно, снова немного припоздал, я без этого не могу, а обойма она ведь тоже не резиновая и большинство мест, конечно, уже занято более шустрыми моими товарищами по второму экрану, но кажется куда-то в самый конец строчки еще успеваю. Должен успеть. Начнем всё сначала, с отметки "зеро". В конце концов не так уж я и стар. Теперь я просто обязан прорваться. Иначе зачем тогда всё?

"...После третьего романа Колесов твердо решил - всё, эти игры не для него. И ушел в подполье уже насовсем. И как же сразу стало свободней, покойно как! Конечно, нужно было гнать макулатуру, выдавать на гора, обеспечивать прожиточный минимум, но зато как сладко работалось, когда выдавались короткие передышки! Он переступал границу с ходу, с первой фразы, с первой строки, и запретная территория стонала и содрогалась от его мощных танковых прорывов. Он шел вперед. Забирался настолько глубоко, насколько хватало таланта; рыл с удовольствием, с возбуждением, бессонницей. Правда, потом снова приходилось отдалбливать на своем трофейном "ундervуде" прожиточный минимум, снова уходить в суету и отправляться в изматывающие поездки - но от сознания того, что рано или поздно всё это кончится и делается лишь для того, чтобы иметь возможность писать с в о ё, становилось легче..."

... марта

А ведь предлагали. Предлагали же туда, на Запад. И не раз. Теперь, когда спрашивают, с гордостью отвечаю: я - русский писатель и читать меня должны там, где живу. Но мы ведь договари-

вались с вами, Геннадий Сергеевич, – только честно. Это же дневник. Ну, а если честно – конечно, всё это ерунда. Теперь, задним умом, думаю, что Запад бы многое дал – и скандалец, и популярность. А это еще никому и никогда не мешало. Ерунда! Писатель должен печататься там, где его печатают. И точка. Кажется, Фет говорил: "если бы самый поганый петербургский сапожник издавал собственную газетёнку под названием "Х...", то я всё равно бы печатал там свои стихи". За точность не ручаюсь, но смысл приблизительно такой. Так вот, оказывается, каких вы передовых взглядов, Геннадий Сергеевич? Тогда, собственно говоря, в чем же дело? Кто вам мешал, спрашивается? Всё было очень просто, ребята: я боялся. Боялся, что перекроют кислород. А я ведь всегда умел правильно оценивать свои возможности, а потому точно знал – этого я не выдержу. Задохнусь. Потому и не лез. Те, кто мог, – честь им и хвала, да и воздается сейчас по заслугам. А я всегда очень любил себя. Любил свои утренние ванны, любил свой стол, любил клубный ресторан, Коктебель в августе очень любил, любил любить свою Галю на нашей широкой тахте и очень уж не хотелось мне от этого добровольно отказываться, очень уж не хотелось. И не судите меня строго, граждане судьи. Ведь я искренне раскаиваюсь, честно признаюсь и склоняю голову: не мог. Не для меня это было. Говорю же – бокс предпочитаю по телику. А это ведь был бы даже не бокс – избивание со связанными руками и ногами, да еще с темной повязкой на глазах. Катаешься по полу, стонешь и гадаешь, куда теперь врежут – по уху или под рёбра. На семью, на мать-старушку не пеняю, говорю честно: себя любил. В игры не играл, в первых учениках не ходил – у меня и свидетели есть. Так что не давайте мне много, граждане судьи.

... марта

А мне ведь было легче, чем многим. Один писатель даёт пощечину другому.

– Вы продались!

– А вы? – спокойно спрашивает тот, кому дали по роже.

– А я нет! – с гордостью отвечает правдолюб.

– А вас когда-нибудь покупали?

Не про меня ли байка? Ведь я никогда высоко не летал, а потому меня и не особо покупали. Ну только если по мелочи. В семьдесят шестом году в Большой газете шла серия моих очерков. Очерки шли довольно регулярно, их не очень коверкали, и я был вполне доволен, тем более, что с халтурами тогда была напряжёнка, я долго болел, и эти сто-рублёвки были очень кстати. И вот звонок. Говорит зав. отделом товарищ Б.

– Геннадий Сергеевич? У нас к вам предложение. Как вы знаете, грядёт славный юбилей Леонида Ильича, не хотели бы вы для нашего юбилейного выпуска... Кстати, очерк ваш уже набран, стоит в следующем номере. Как видите, мы неукоснительно выполняем свои обязательства перед вами, уважаемый Геннадий Сергеевич...

Ну, что мне оставалось делать? В моем положении с жиру беситься не приходилось. Посоветовался с Галей, решили – не я первый, не я последний. Вот, собственно, и всё. Больше-то и покаяться не в чем.

На моей совести гораздо больше *несовершенных* поступков, нежели совершенных. В шестьдесят шестом году, когда ко мне чуть ли не ночью прибежал Векслер с письмом в защиту Синявского и Даниэля, которое я, разумеется, не подписал (в страхах своих уже покаялся, граждане судьи), я решил было с горя завести целую тетрадку под названием "Несовершенные поступки". Недавно она совершенно случайно попала мне на глаза, аб-

солютно девственная, с испорченной названием первой страницей и пожелтевшими листами. Этот блокнот так и остался памятником моим благим намерениям – уж очень тяжело было регистрировать собственное скотство. А ведь отсчет, пожалуй, стоило бы вести не с шестьдесят шестого, а с пятьдесят, с Бориса Леонидовича. Тогда я сидел в Переделкино и на собрание просто не поехал, сказавшись больным. В шестьдесят шестом не подписал письмо. В шестьдесят восьмом не вышел на Красную площадь... Ни одного ведь письма не подписал, ни одного. Сначала, конечно, предлагали, а потом уж и приходиться перестали. А ведь хотел тогда, в шестьдесят шестом, собирался уже, но как всегда язычок мой подвел – Галя повисла, не оторвать. "Ты сошел с ума, вот только сделай, ноги моей в этом доме не будет... Не хочу жить с идиотом...". А я Галю любил. Ну вот, опять хочу спрятаться. Причем здесь Галя, ёлки зелёные? Если бы действительно хотел, – сделал бы, тут и говорить нечего. А Гале я на самом деле был очень благодарен – ведь самое легкое в подобной ситуации уговорить себя, что делаешь это (вернее, не делаешь!) ради кого-то другого. Жены и ребенка, например. А ведь у всех были и жены и дети. И у Володи, и у Толи, и у Васи, и у другого Володи, и у третьего Володи. И у Виктор Платоныча... У всех были и дети, и жены, и даже мамы-старушки. Так что всё честно. Володи сейчас в журналах, Володи встречаются с читателями, а я всё еще нигде. Так оно и должно быть. В этой очереди они первые. А мы, молчавшие в тряпочку, – во втором эшелоне. Всё справедливо. Об учениках не говорю – эти всегда без очереди, с лауреатскими книжками и ветеранскими удостоверениями. Ну, да и Бог с ними. Они-то думают, что они есть, а на самом деле их нет еще больше, чем меня. Причем у меня-то еще есть шансы, а у них уже никаких.

”...Колесов вспоминает, как в шестьдесят восьмом двенадцатилетний сын спросил его:

- А ты, папа, на Красной площади был?
- Нет, сынок.
- Значит, ты трус?
- На войне меня не считали трусом.
- Так то на войне...”

... марта

Стало быть, серия называется ”Классики и современники”. Я давно ее собираю. Беру в лавке две книги: ”Дон Кихот” Сервантеса и ”Даль” Анатолия Голубца. Ну, с Сервантесом, положим, всё ясно. А вот кто такой Голубец? Классик или современник? А может, и то и другое? Для самого Голубца, думаю, такая постановка вопроса оскорбительна: ну, конечно же, классик! Тут и двух мнений быть не может. Причем таковым, судя по всему, он считает себя давно, в подтверждение чего вот уже несколько лет печатает в различных журналах свои графоманские размышлизмы а ля граф Толстой, переполненные паническим страхом смерти. Поговаривают даже, что время от времени он садится на заднее сидение своего лимузина, едет на свою трехэтажную дачу, зашторивает все окна и ложится в кровать. А жена согревает ему пятки грелкой и успокаивает: ”Ты еще у меня молодой, Толечка, будешь жить тысячу лет...” А последнее время такое случается с ним всё чаще и чаще: Толя и на литинститутовских-то семинарах весь серел, когда мы начинали щипать его рассказы, ну, а сейчас просто впадает в ”дачную” депрессию по поводу каждой разгромной статьи, которых появляется всё больше и больше.

Классик же наш к критике не привык – раньше-то был неприкасаем. Депрессия продолжается обычно дня три-четыре, после чего он возвращается в столицу и обрушивает на жалких критиканов са-

мые страшные кары. Их книги выбрасываются из планов, статьи вылетают из номеров, а подвластные Голубцу журналы перестают их печатать. Ясное дело, что, как всякий уважающий себя крестьянский отец, делает он всё это не сам – вот тут-то и отрабатывают свои квартиры, должности и тиражи его шавки, его преданные мальчишки и девочки, которыми он давно уже наводнил союз и чьи сытые зады денно и ночью просиживают штаны в цедеэльских буфетах.

Эх, Анатолий Дмитрич, Анатолий Дмитрич... Теперь-то тебе без секретаря не дозвонишься, и серп с молотом у тебя на лацкане, и массажистка, и дача в Павшине, но я-то знаю, что ты – Голубец.

Думаешь, я не помню, как будущий великий и выдающийся обивал все пороги со своей дрянной военной повестушкой, пока не сжалился какой-то журнальчик. Тогда ты был тощ, ходил в гимнастерке без погон, курил, если мне не изменяет память, папиросы "Любительские", а на нашем курсе считался вполне средним студентом. Писать лучше с тех пор ты не стал (хотя не скрою, есть у тебя удачные военные кусочки), однако оказался на удивление плодовит. Но кто ж мог догадаться тогда, что именно тебя будут тянуть на живого советского классика, которым ты благополучно и стал после смерти нобелиата. Но я, Толька, на тебя не обижаюсь и уж тем более не завидую. Лично мне ты ничего плохого не сделал, а я уже говорил – шансов у вас нет. Вы давно уже сдохли, сами того не ведая. Так что, скорее, мне тебя жалко. Ну, как может быть не жалко лейтенанта, которого вдруг посадили в генеральское кресло и которому волей-неволей пришлось уверовать в свое генеральство? Ты сам фронтовик, должен понимать.

"...Колесов думает, что графически схему оте-

чественной писбратии можно было бы изобразить в виде мишени о четырех кругах. В центральном, самом маленьком кружке, располагаются те, кто определяет литературный процесс. Не дутые, не официально назначенные "выдающиеся", а те немногие, подлинные, которых очень и очень мало, единицы. Во втором круге, чуть большем, — классом ниже, но талантливые, известные и имеющие своего читателя. Таких тоже немного, человек тридцать на всю страну, а то и того меньше. В третьем круге, значительно большем, помещаются кормящиеся литературным трудом крепкие профессионалы. Есть среди них и удачливые бездарности и недораскрывшиеся таланты, есть люди мало- и многокнижные. Но известными их не назовешь, хотя про многих из них и пишут в предисловиях "в книге известного советского писателя". А он что, писатель? Как фамилия? А-а, нет, не читал... Это так называемые чернорабочие литературы, без которых нельзя. В этом круге таятся нераскрытые резервы и за последние год-два кое-кому удалось даже перескочить во второй, благодаря своим неожиданно напечатанным "столовым" вещам.

И, наконец, самый большой — четвертый круг. Основная писмасса. Это, как правило, различными путями пролезшие в союз творческие импотенты, когда-то что-то написавшие и издавшие, а ныне существующие не столько на гонорары (поскольку давно уже ничего не пишут), сколько на подавание Фонда и лекции, устраиваемые богадельней под названием Бюро Пропаганды. Среди этих людей большое количество алкоголиков, шизофреников, кляузников, шарлатанов, однако встречаются и порядочные, но обделенные элементарными способностями люди, сидящие не в своих санях. С некоторыми из них Колесов приятельствовал. Однако большинство этого гигантского, многотысячного круга, расползшегося по всей стране — обыкновен-

ный балласт: хамский, обиженный, затаивший злобу и разжижающий литературную кровь. Да, серые писатели, бездарности были всегда, достаточно пролистать любой дореволюционный журнал или литературную энциклопедию, но, пожалуй, никогда не было их так много, как теперь, и уж наверняка и ни в одну эпоху не плодили их сознательно и с тайной целью, как это делается в нынешние времена.

Сей балласт годится для многого – например, для организации большинства голосов на отчетно-выборном собрании или для создания послушной редколлегии в каком-нибудь журнале. Из этого бесправного, полуспившегося, а часто и просто психически неполноценного балласта вербуются силы быстрого реагирования: разного рода борзописцы, обслуживающий "выдающихся" персонал. Раньше, во времена спокойные, эти люди занимались сочинением подбострастных литературных портретов, никому не нужных очерков творчества и газетных панегириков. Ныне же, при столь серьезном сотрясении литературной почвы, в их задачу входит немедленно огрызаться в защиту босса на страницах подвластных ему газет и журналов, а также ответные атаки на тех же страницах, что, как известно, является лучшим способом обороны.

Что же до самих боссов, то их Колесов выделял в отдельную группу, некий позорный список, к литературе уже совсем никакого отношения не имеющий. В этот довольно обширный список входило всё литначальство, большое количество всевозможных секретарей, гертрудов и даже дважды гертрудов – словом, все те "хранители очага", чьей профессиональной обязанностью было душить, громить, увещевать, перекрывать кислород, а также занижать планку с тем, чтобы облегчить себе существование на общем безликом фоне.

Себя же Колесов честно относил к третьему кругу чернорабочих, не так, чтобы очень преуспевающих, но однако имеющих шансы к перемещению во второй круг. Колесов и не сомневался, что это произойдет с ним тотчас же по выходу романа...”

... марта

Совсем обленилась моя крестьянка – уже второй день ем пельмени из пачки.

– Милая, – говорю, – если ты не справляешься с хозяйством, давай возьмем домработницу. Или уходи с работы. Ты же хочешь, чтобы я наконец выбился в классики. А классик не может питаться пельменями из пачки.

– Еще чего, – отвечает мне моя Галя, что одинаково относится и к домработнице, и к уходу со службы. – Вот когда станешь классиком, тогда и поговорим. Или тебе деньги некуда девать?

Тут я и заткнулся. Вот вам типичный разговор подкаблучника с супругой. Кстати, насчет денег. А интересно, когда они у меня появились? Это не так трудно установить. Сколько лет не брал в долг? Ну да, точно, четыре последних года долгов не делал, а даже давал. Последним моим долгом была фондовская ссуда, которую я не так давно благополучно погасил после выхода книги. Итак, вывод: деньги появились после шестидесяти. А если пойдет роман – будут большие деньги. Но это уже – после 65-ти. Спрашивается, ну и на черта они мне теперь, эти большие деньги? На спокойную старость или на покупку места на Новодевичьем? Да ведь всё равно не продадут. Вот так всегда: когда они действительно нужны были, лет в тридцать, сорок, даже пятьдесят, когда я знал, что с ними делать, – их не было. Долг, халтура, аванс, передышка, долг, халтура, аванс, передышка – так и жили. Садились с Галей вдвоем

и составляли длинный список – кто может дать? Галя-то всегда была в курсе, у кого что, какой тираж и так далее, – она в основном и советовала. А я уже сел на телефон.

– Старик, до двадцать пятого сколько можешь? Получаю сорок процентов, а сейчас путевку не на что выкупить.

– Извини, старик, сам на мели... Или – полторы сотни дам. Но железно до двадцать пятого.

– О чем разговор, старик! – Так и собирали с миру по нитке.

А потом и я отвечал по телефону то же самое: когда давал, а когда и нет. Так и жили. И вот я вздохнул. С переизданиями как-то наладилось, в конце года сборник выходит на тридцать листов. Там, глядишь, и "Избранное" пробью, да и на роман надежд не теряю. Но вот, предположим, пошел роман, и я стал миллионером. Спрашивается: ну, и на кой ляд они мне теперь, эти миллионы? Машины у меня никогда не было и теперь уже бессмысленно ее заводить. Разве что только с шофером. Ну что еще может позволить себе советский человек? Квартира есть. Галя вот хочет дачу. А я и дачу не хочу. Ну, на хрена она мне? Отстроить и помереть на свежем воздухе? Для детей, для внуков? Ну только, если. Нет, не нужны мне сейчас большие деньги. Раньше надо было, раньше. Ну, хотя бы до пятидесяти пяти, когда еще не весь кураж ушел. А сейчас? Ну, заведу я себе белый "Мерседес", закачусь в "Националь" с девочками. Потом возьмем шампанского, поедem на фатеру и спрашивается, что я буду там с ними делать? "Ну, хотя бы подержаться", да? А ведь еще лет пять, ну ладно, семь назад я бы придумал, что делать с девочками... Э-хе-хе. А кто я есть теперь? Потенциальный "человек из Сан-Франциско"? Да и то в самом лучшем случае. Нет, ей-Богу, если бы сейчас подошли и сказали: – Уважаемый Геннадий

Сергеевич, у нас есть возможность выпустить ваш роман через три месяца, но без выплаты авторского гонорара. Что вы на это скажете? — Честное слово, я бы согласился. Даже на полгода бы согласился. Правда, ребята! Только напечатайте!

”...Еще каких-то два-три года назад ни о какой домработнице не могло быть и речи. Даже о приходящей. А сейчас, несмотря на активные колесовские заходы, Валя категорически отказывалась. И Колесов прекрасно понимал, в чем причина. Он, Колесов, должен знать, уверен быть, что если она, Валя, не приготовит ему обед, он будет сидеть голодным, и что если она, его жена Валя, не стирает, не погладит, не вымоет пол, — этого не сделает больше никто. Колесов обязан был ощущать эту свою зависимость, которая, вкупе со службой, обеспечивала Вале ощущение собственной значимости и создавала некую видимость равноправия семейных отношений, хотя, конечно же, по большому счету ни о каком равноправии не могло быть и речи. Колесов терпимо относился к этой Валиной слабости, хотя, положив руку на сердце, никогда не был в восторге от ее хозяйственно-кулинарных способностей. Отчетливее, чем всегда, он ощущал это после походов в гости, где имел возможность понаблюдать чужой быт и отведать с чужого стола. Готовила Валя добротню, но примитивно, неталантливо как-то, особыми разносолами его не баловала, а пирогов, скажем, не пекла вовсе. Да еще и благодарности требовала: ”если бы я, зайчик, еще и пироги пекла, ты бы знаешь какой у меня был?” Напряженно было у Вали и со вкусом. Это и в одежде проявлялось да и в квартире, разумеется. Откровенных ляпов типа розового пояса на зеленом платье Валя, правда, не допускала, от этого ее уберегала врожденная консервативность, но одеваться по большому

счёту не умела. Да и вообще – не было в ней чутья какого-то женского, ощущения домашнего уюта, а главное, желания его создать.

Тут Колесову никогда не везло: по сравнению со Стеллой Валя была просто гениальной хозяйкой. Стелла и картошку-то толком чистить не умела, а ела всю жизнь на газетке, да еще и Колесова приучала. Какой уж там уют! Вот Аня Сережина: половички какие-то положит, подушечки, пледики, торшерчики в уголке приткнет – и уходить от них не хочется. Сидишь – блаженствуешь, не говоря уже о пельменях собственных, не из пачки. И ведь не домохозяйка, ёлки зелёные, и даже не инженерша какая-нибудь – доктор химических наук, завлаб. Правда, вот собой не вышла, но тут уж что-нибудь одно.... А Колесов никогда не был поклонником пословицы "с лица воду не пить...". А потому давно свыкся с Валиной хозяйственной серостью, хотя нет-нет, да и подкатывало иной раз раздражение: все-таки крестьянка, черт возьми, хоть и хорошенькая..."

... марта

– Ты читал, да? Читал? Всё это брехня, полнейшая брехня! Никогда он про него не писал! Не было этого! Ну, упоминал в выступлениях, но это уж знаешь... Вон Б. вообще все его романы перевел, и ведь не пикнет никто, как будто один Сева и виноват!

Не успела захлопнуться за мной дверь подъезда, как я тут же был буквально приперт к стенке Наташей Яковлевой. Вот это настоящий жопис! Способна ли моя Галя на такое? А дело-то всё в чём: Сева Яковлев, славный наш секретарь, в свое время питал слабость к произведениям товарища Рашидова. А теперь ему взяли да и припомнили эту его слабость. Но секретари наши не лыком шиты, их просто так на пушку не возьмешь.

- Да, Рашидов, конечно, подонок, - отвечает наш Сева, - но это отнюдь не мешало ему быть хорошим писателем (примеров из классики, правда, не последовало). Его имя останется в истории узбекской литературы. - Нет, братцы, с такими секретарями мы не пропадём. Они ж в воде не тонут и в огне не горят! Помню, когда только въехали, всё на радостях ходили друг к другу в гости: чайку попить, шахматишки подвигать. В кабинете у Севы "дипломаты" горкой, штук пятнадцать, подарки благодарных писателей, А мне как раз дипломат был нужен.

- Продай, - говорю, - Сева, дипломат. Тебе ж всё равно их девать некуда.

- Ну, как же я тебе продам, Гена, - отвечает, - это же подарки...

Я чуть не прослезился - интеллигентный человек! Ладно, подвигали шахматишки (он, кстати, неплохой игрок), пошли чай пить. Открывает Сева трюмо, а там красным-красно от коробок конфетных, аж в глазах рябит. Выискал, какие потверже, на стол поставил. "Отведай, Геночка, ассорти". Потом пообжились, в гости ходить перестали. Встречались во дворе да в подъезде. Я из магазина с тележкой да псом - Всеволод Владимирович как раз из "Волги" своей выбирается. Зима, а загорелый. Не иначе, как из Узбекистана. И точно - гляжу, шофер из багажника ящики с фруктами выгружает.

- Ну, как съездили Всеволод Владимирович? - спрашиваю.

- Очень тяжелая была поездка, очень.

- Что ж вы так перенапрягаетесь-то, Всеволод Владимирович. Знаете, в нашем возрасте... Так ведь и надорваться можно.

- Между прочим, для того, чтоб ты вот так вот спокойно прогуливался со своей собачкой, мы там вкалываем и теряем последние нервы. И ирония

твоя по меньшей мере не уместна... – изрек наш секретарь и вместе с шофером и фруктами исчез в подъезде с гордо поднятой головой фронтового капитана, поделом обматерившего зажавшегося интенданта-тыловики. Нет, ребята, вы что хотите думайте, а я вам говорю – с такими секретарями мы можем спать спокойно.

... марта

”...Стройка еще только входила в силу и не было еще наполненного водой канала, но заранее по строго намеченному плану происходило перемещение станиц и хуторов на берега будущих морей...”

Господи, неужели это я написал? И ведь никуда не денешься. Вот я всё прячусь, мол, не я это был, другой человек. Другой-то другой, а всё же я. Первая моя книга. И ведь что самое печальное – душой не кривил, писал искренне. Господи, сколько же времени потеряно даром! Ведь только к тридцати пяти и научился думать. Только думать научился. А человеком, гомосапиенсом стал и того позже, хоть уже и ходил в инженерах человеческих душ. Бедный, бедный Геннадий Сергеевич. Вот смотришь на какого-нибудь юного гаврика и завидуешь – для него уже в пятнадцать как дважды два то, до чего ты только к сорока и допетрил. Все-таки это несправедливо. А куда денешься? Благодарю Бога, что хоть помрешь умненьким.

Чу, заголосил пёс. Значит, пришла на обед моя Галя. Отрываю зад от кресла, выползаю в коридор. Она, родимая, уже переобувается. А ножки-то старые, морщинистые, с мощными боковыми костями, уродующими любую обувь, со вспухшими жгутами вен – ноги пятидесятилетней женщины. А ведь были когда-то легкие, стройные, смуглые ножки, на них-то я и купился двадцать лет тому назад в

пляжном мареве, на них да на Ремарка, которого держала в руках. А я как раз тогда рубал военный роман и благоговел перед Ремарком, как коммунист старой закваски перед "Капиталом". Но Ремарк был всего лишь поводом – "Здравствуйте, девушка, что вы читаете, ах, "На Западном фронте..." – что-то в этом роде, главным же были эти стройные ножки и миловидное, в меру злобненькое личико. Эдакая легкая стервозность была написана на этом личике, а я, грешным делом, всегда любил стерв, была у меня такая полумазохистская слабость. А потом завертелось, то, сё, пятое, двадцать пятое, кафе, ресторан, кино, прогулки, и уже не имело никакого значения, что Ремарк принадлежал подруге, подруга пошла купаться, а она взяла просто полистать, а я как раз проходил мимо, а вообще она насчет чтения не очень, да и насчет кино, если честно, тоже не очень, хоть и учится в институте инженеров транспорта, потому что папа погиб на фронте, а мама продавщица и их две сестры и еще брат... Но какое значение имела вся эта ерунда, когда так славно поскрипывала продавленная коктебельская койка и ночная крымская прохлада забиралась к нам через узенькое окошко с белёсой тюлевой занавеской...

– Филя гулял?

– Гулял.

– Ну, молодец. – И пошла – задницу назад, плечи вперед, глаза долу, заскочившая на обед советская служащая Галина Порфирьевна Добрынина, в девичестве Хотиненко...

Но я всё равно люблю тебя, Галя.

"...Последнее время Колесов стал замечать за Валецкие странные вещи. Недавно заходил Володя с женой (Валя как раз отправлялась в баню), захотели попить кофе – банки на месте не оказалось. Потом Колесов отыскал ее в спальню, в

ночной тумбочке. То же самое произошло и с вареньем из фейхоа за тем исключением, что оно было спрятано в плите вместе со сковородками. Но говорить Вале он ничего не стал – списал это на счет крестьянских генов и – увы-увы – подступающей старости.

...Все-таки это была чистейшая случайность. Ведь если б не Хэм, он наверняка бы прошел мимо, хотя, вероятно, и отметив для себя эту милашку среди прочих полуголых курортниц. Но – не более. Мало ли милашек приезжает отдохнуть к морю? Со всеми не перезнакомишься...”

... апреля

Не успеваешь читать некрологи. Вот и Сеня Шапиро, с которым только в понедельник обедали в клубе. Пришел в издательство, подписал вёрстку романа и – бац, головой на стол. Это называется скоропостижно. А ведь моложе меня был. Нет, я бы так не согласился, на вёрстку. Вот головой на книжку, даже на последний номер журнала – это ладно, это еще куда ни шло. Обидно, конечно, но не так. А вообще смерть хорошая, спокойная. Самый удобоваримый вариант после смерти во сне. Но такая благодать, как известно, дается только праведникам. А для нас, простых грешников, и скоропостижная сойдет. Хоп – и готово. Другое дело, что тяжело для родственников. Они-то как раз предпочитают самый отвратительный вариант, мучительный, то, что в некрологах называется “после долгой и продолжительной болезни” (что за тавтологический бред, кстати, – тут уж одно из двух: либо долгая, либо продолжительная). Пока ты медленно отходишь, родственники успевают подготовиться, смириться, спокойно решить, кому достанется освободившаяся комната. Ну, а если эта “долгая” слишком уж “продолжительная”, то уже с нетерпением начинают ожидать развязки и прини-

мают ее с тайной радостью и облегчением. Именно так было с мамой... Словом, родственнички эти тоже хороши и жалеть их не стоит – смерть, я считаю, должна прежде всего исходить из желаний будущего покойника, а не родственников. А потому я, старый эгоцентрист, выбираю скоропостижную (на ночную согласен тоже – в конце концов не такой уж я грешник).

Копаясь в старых дневниках, Колесов обнаруживает, что за последние двадцать пять лет "я" – наиболее часто употребляемое местоимение.

"...Вот это самопупизм! Специально смотрел – ну, может быть, в одной только тетрадке пару раз про Валю да про Наташку и то для того лишь, чтобы в нужный момент снова выйти на себя, любимого. А может быть, дневники и должны быть такими, дело ведь сугубо личное? Тем более писательские дневники... Да нет, всё равно противно. Ведь была мать. Была первая жена, сын, вторая жена, дочь. Где они? Не один же он жил всё это время! Что же он о них и не думал совсем, выходит? О Никсоне думал, о чехах думал, о Мао тоже думал, а о Наташке своей ни гу-гу? И об Антоне? А теперь удивляется, что они такие. Да он же и не разговаривал с ними почти. С Наташкой так точно. Только гонял ее из кабинета. А потом она и заходить перестала. А он теперь головой качает – "расплата за неравный брак"... А разве сейчас он изменился? Всё очень просто – достаточно только взглянуть на вчерашнюю страницу. Ну, так и есть. Очередная ода "я". Ведь целый час говорили вчера с Наташкой насчет квартиры, а где это? Ни строчки, ни намека. В гробу он видал свою дочь да в белых тапочках. И квартиру разменивать отказался с ходу. А почему бы, собственно, не разменять? Наташке – одну, им с Валею – три. Что, не хватит разве? Но нет, всем так удобно. Вале до работы пешком, а ему просто лень, привык

уже, хоть и не в восторге от этого задымленного района. Да и так много переезжал в своей жизни – уже и сил нет. Что он сказал ей? Вот выйдешь замуж, тогда поглядим. А если тебе надо водить мальчиков – пожалуйста. Скажи только заранее – и мы уйдем... Води на здоровье. Вот ведь какой отец-демократ! Мальчиков водить разрешает... Ну, в самом деле, почему бы не разменяться? Поживет ребенок отдельно, понюхает жизни, узнает, как без папочки с мамочкой; выберет себе кого-нибудь, не торопясь... А то возьмет да и выскочит за первого встречного. Он же знает, как это бывает. Трахаться негде – помыкаются-помыкаются по дачам да по знакомым и поженятся сдуру. Чтоб, значит, официально. А через год выясняется, что видеть друг друга не могут. Но тут уже восьмой месяц, никуда не денешься. Он либо остается еще ненадолго, если порядочный человек, либо уходит сразу, если не очень порядочный. Вот тогда-то и понимают свежее испеченные бабушка с дедушкой, что скупой платит дважды. Ан поздно... Нет, нет, надо будет переговорить с Валецким. Так или иначе, ей этим заниматься – не ему...”

... апреля

– Привет, Гена.

– Здравствуй, Толя.

Удивительно, но я узнал его сразу. Всё тот же хрипло-весёлый голос, как будто и четырнадцати лет не прошло.

– Как ты поживаешь?

– Да, ничего, спасибо. Ты давно приехал?

– Позавчера.

– Надолго?

– Пока на месяц, а там видно будет. Надо по-видаться. Ты что завтра делаешь?

– Да ничего, вроде. Дома сижу.

– Ты по-прежнему встаешь поздно?

- По-прежнему.

- Значит, я позвоню часиков в двенадцать и подъеду. Идёт?

- Идёт.

- Ну, до завтра.

До литинститута, где мы и познакомились в Божьей памяти сорок седьмом году, Толя Аброшников отучился год в ГИТИСе на актёрском, писал стихи и рисовал. На фронт он не попал, поскольку имел две почки с одной стороны, что, впрочем, совсем не мешало ему заниматься боксом и, судя по всему, довольно успешно - пару раз я сам был свидетелем его довольно жестоких расправ с подогретыми пивком задирами в нашем любимом баре на Тверском, стоявшем на том самом месте, где ныне помещается общественный туалет - говорят, что бар был ликвидирован по личному указанию товарища Суслова, который регулярно проезжал мимо в свою резиденцию на Бронной и столь же регулярно возмущался неэстетичным и нетипичным видом, открывавшимся за окошком его бронированного "крокодила".

Думаю, будь Толя поусидчивей, из него получился бы неплохой прозаик - мне очень нравились его часто незаконченные рассказы. Но он предпочитал стихи, как более мобильный и отнимающий значительно меньше времени способ самовыражения. Стихи же у него получались неплохие, но не более того, хотя большинство из них было не только бесполезно, но даже опасно нести в редакцию - в отличие от меня, грешного, Толя начал довольно рано всё и про всех понимать. Вообще он органически не мог заниматься чем-нибудь одним. В институте он писал стихи, прозу, продолжал рисовать и дубасить грушу, мечтая при этом о собственном театре. Я совсем не был уверен в его режиссерском таланте, но это не имело никакого значения - главное, что сам Толя безгранично

верил в себя, при этом без особого труда убеждая окружающих в своем исключительном праве на любой вид деятельности – будь то театральная режиссура или плотницкие работы. Не имея ни слуха, ни голоса и с грехом пополам зная три аккорда, он, например, мог заставить огромную компанию слушать свои песни (было у него одно время такое увлечение) в течение целого вечера, неизменно влюбляя в себя половину присутствующих женщин. При этом ни у кого, даже у самых близких друзей не возникало и смутного желания прекратить в конце концов это безобразие, ибо как же можно было назвать подобное много-часовое бляение под растроенную семиструнку.

Но все-таки самым главным и бесспорным талантом Толи были женщины. В те скудные на мужчин послевоенные времена мало кто из нас испытывал недостаток женского внимания, поскольку мы были не только молодыми и неженатыми мужчинами, но еще и студентами творческого вуза, что уже само по себе обеспечивало нам определенный вес в дамском обществе. Но конкурировать в этом деле с Толей было просто бессмысленно. Это низенький, юркий и, прямо скажем, совсем некрасивый молодой человек умел влюблять в себя сходу, с полуслова, с пол-оборота, легко и изящно, не оставляя окружающим, часто значительно более привлекательным мужчинам, ни малейшего шанса.

Я долго не мог понять, в чем же секрет этой сногшибательной Толиной популярности, пока наконец меня не осенило: всё дело было в его постоянной, ежесекундной готовности к любви. Именно той, истинной, безоглядной "настоящей" любви, о которой просто не может не мечтать каждая женщина. "Я готов отдать вам свою любовь и уж будьте уверены – любить я умею, – говорили Толины глаза, говорило каждое его движение,

каждое его слово, и дамы всех возрастов и профессий, иногда даже неожиданно для себя, оказывались его пленницами. Кроме того, думаю, что Толя обладал и определенной сексуальной притягательностью, и более искушенные претендентки не могли не ощущать в нем еще и самца, который способен на многое. И если всё и всегда происходило именно так, как в ту единственную ночь, когда мы на пару демонстрировали свое мужское умение двум симпатичным обительницам одного женского общежития, то, уверен, что Толя более чем оправдывал возлагаемые на него надежды.

Вообще, в своих отношениях с женщинами Толя был настоящим синей бородой – редко какое его увлечение продолжалось более месяца, а то и двух недель. Он бросал так же легко и безоглядно, как и кидался в очередной роман, и неминуемо следующие за этим трагедии и женские слезы мало волновали его. При мне он однажды решительно, спокойно и без малейшего повода порвал и вышвырнул в мусорное ведро фотографию одной киевлянки, к которой чуть ли не каждую неделю мотался в Киев, а уж по телефону разговаривал не менее двух раз в день. Вот так – с глаз долой, из сердца вон. Тем же вечером он обзавелся новой пассией, а отвергнутая киевлянка в положенный срок родила девочку, которую он, по-моему, так ни разу и не видел. Впрочем, я могу и ошибаться – ведь в последние двадцать лет мы общались довольно редко, от случая к случаю.

Как это часто бывает, в конце концов его похождения завершились женитьбой на женщине с ребенком.

После пятидесят шестого года Толя словно с цепи сорвался: во-первых, ему удалось-таки создать свою студию при одном московском институте, в которой он, правда, пробыл недолго, по своему обыкновению вдрызг разругавшись с пар-

тийным начальством – он шел на конфликт так же легко, как и сходил с людьми. В студию эту пришел новый руководитель, и она благополучно просуществовала чуть ли не до шестьдесят восьмого года, будучи довольно популярной в Москве.

Разочаровавшись в театре, Толя бросился в кинематограф и – надо было обладать его энергией – в конце концов пробил себе постановку на Одесской студии, причем по собственному сценарию. Картину он, к моему большому удивлению, снял, и те, кто видел, говорили, что довольно интересную, но в прокат она так и не вышла, очутившись на пресловутой "полке".

Однако переживал Толя недолго. В кино он тоже разочаровался (об этом сообщил мне лично во время одной из наших случайных встреч: "слишком много времени уходит не на творчество"), какое-то время писал только стихи, даже выпустил книжечку лирики, вступил в союз, а в конце концов завербовался чуть ли не судебным доктором на какой-то корабль и за пару лет обошел полсвета. Говорили, что в каких-то компаниях он хвастался тем, как ловко прятал от таможи дубленки и магнитофоны, но лично я ничего подобного от него не слышал.

Отболев морем, он увлекся критикой, писал много, хлестко и за какой-то коротенький промежуток нажил себе довольно много врагов, что, несомненно, не могло не сказаться на дальнейшей его судьбе. Очередная попытка организовать студию, на этот раз уже пластическую, окончилась неудачей. Он влюбился в цирк, торчал там чуть ли не целыми днями (даже один раз меня вытащил с собой) и, кажется, написал пару буффонских сценок для своих приятелей-клоунов, с которыми, впрочем, довольно скоро разбежался.

Мы общались всё реже и реже, иногда не виделись годами, да, видимо, и не очень нуждались

друг в друге – не скрою, что Толя меня довольно часто раздражал, и я не всегда был в состоянии выдерживать его фантастический напор. После цирка он написал повесть, которую даже взял один журнал, но так и не напечатал – рассыпали набор – шестьдесят шестой год, закрывались последние дверки.

И тогда Толя стал "подписантом" – причем не рядовым, а самым что ни на есть активным – говорили, что многие письма сочинял именно он. Кислород, учитывая большое количество недоброжелателей и откровенных врагов, перекрыли мгновенно. А в конце концов, поскольку "одумываться" он не собирался и ни на какие проработки не ходил, исключили и из союза. Жил в основном на то, что осталось от плаваний (жену Лену принципиально не пускал на работу) да на внутренние рецензии, естественно не под своей фамилией. Это делалось так: кто-то брал в союзе или в журнале рукописи как бы "под себя", а Толя их рецензировал. Потом этот кто-то получал деньги и отдавал их Толе. Получалось, конечно, немного, но все-таки лучше, чем ничего. Несколько раз брал для него рукописи и я...

Потом, когда стало уже совсем плохо, Толя устроился дворником. Всё это время он что-то писал, изучал английский язык и тягал гири. В семьдесят шестом году они с женой получили разрешение на выезд в Израиль, к ее родственникам. Потом, как я слышал, уже один, разведясь с Леной (там, кстати, это обычная история), он перебрался в Западный Берлин. О тамошней его жизни у меня уже значительно меньше информации, знаю только, что ему удалось кое-что напечатать в эмигрантских журналах. И вот этот звонок...

Я положил трубку и подумал: Боже, какая бездна! Вот же, вижу: наша клетушка на юго-за-

паде, мы сидим с Толей на кухне и пьем водку, завтра у него самолет... Еще нет ничего – ни романа, ни этих хором... Наташка в четвертом классе, жива мама да и много еще, кто жив, уже тошно, уже немоготу, но всё еще только начинается... Боже, Боже, какая пропасть! И что только ни кануло в ней, сколько благих порывов и неоправданных ожиданий... Полдня не мог отойти от этого звонка, столько всего нахлынуло на меня, не отбиться.

А на следующий день он не позвонил. Не позвонил и через два дня и через три. А на четвертый прорезался Саша Никифоров и сказал, что Толю на улице Горького сбила машина. Насмерть. Он то ли по рассеянности, то ли по берлинской своей привычке стал переходить по верху и угодил под "Жигули"... Цинковый гроб, а также личные вещи – часы, бумажник и обручальное кольцо отправляются по месту жительства покойного, в Западный Берлин. Вот и повидались...

А я все еще жив. Иду в Клуб смотреть "Пепел и алмаз". Сижу в темном зале и думаю о Мачике Хелмницком*, Збышике Цибульском, Толе Аброшникове и их неразделенной любви к Родине. Мачик испустил дух на помойке, убитый поляком, Збышек погиб под электричкой, которой управлял поляк. Толя Аброшников вернулся на Родину, чтобы через два дня умереть под колёсами своего соотечественника...

А я всё еще жив. Но значит ли это, что Родина любит меня? Ау, Родина, отзовись! Но ты, как всегда, нема. Вечно за тебя отвечает кто-нибудь другой...

* Герой фильма Анджея Вайды "Пепел и алмаз".

... апреля

"Дорогой Гена! Ты написал хороший роман. Но, к сожалению, редколлегия не находит возможным его публикацию в нашем журнале в ближайшее время. В портфеле уже слишком много рукописей, будем так говорить, тематически схожих с твоей. Если бы немножко пораньше... Будь здоров и не обижайся, дело житейское. Ждем твоих новых вещей. Главный редактор..."

Ну что ж, как говорится, и на том спасибо. Получил вежливый отказ на высшем уровне. А ведь могли ограничиться и каким-нибудь зав. отделом. "Если бы немножко пораньше..." Может, ты, Миша, и прав. Однако я спокоен, даже и писать об этом много не хочется. По моим подсчетам вещь берет четвертый журнал. Это в среднем. Первый роман пошел с третьего захода, второй – с четвертого, а третий – вообще с шестого. Так что всё честно. Мы люди привычные. Даже интересно, черт возьми, кто же в конце концов его напечатает. А ведь напечатают, напечатают, никуда не денутся. Не может такого быть, чтобы не напечатали. Итак, операция роман продолжается. Кто там у нас в стратегическом резерве?

... апреля

Вот и подошла к концу эта тетрадка, так и не став свидетельницей моего триумфа. Ну да, ничего, время, вроде, еще есть, тетрадки тоже. Вон новенькая примостилась в уголке, бордовенькая такая, аккуратненькая, фирмы "Тенто" – "Техноинторг", если полностью. Пора уже готовить ее для работы. Ну, а сейчас осталось еще немножко места, как раз, чтобы втиснуть финал к Колесову. Вот он:

"Секретариат правления и партком Московской писательской организации СП РСФСР с глубоким

прискорбием извещают о кончине члена Союза Писателей СССР, члена КПСС с 1944 года прозаика Колесова Павла Александровича и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного”.

Маленькими-маленькими такими буковками, в правом нижнем углу...

1988-89

Москва-Дубулты-Руза-Москва



ОСЕННИЙ ПЕЙЗАЖ

Когда, рассыпавшись в полете,
немееет лиственный вязь,
пейзаж сквозит, лишаясь плоти,
письмом и знаком становясь.
Зеленый мир подсох и вымок,
и в запустенье всё внятней
косая скоропись травинок
и каллиграфия ветвей.

Опавших листьев перебранка,
земли скудеющей покров –
мы скажем: скатерть-самобранка
накрыта в поле для ветров,
где чтение тайное, продрогнув,
на фоне ветра и дождей,
хранит калитка – иероглиф
из темных досок и жердей.

А я совсем одна на свете,
и слышу только голос свой,
и мне навстречу дует ветер –
осенний ветер полевой.
Вей, запустенье, пой, затишье,
не вы ль свободней всех свобод –
и как японское трехстишие,
глубок и скуден небосвод.

1988

НАДПИСЬ НА ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЙ ОТКРЫТКЕ

Пустая чаша старого фонтана.
Замшелый, потемневший мрамор нем.
И только дождь рассеянный над ним
роняет капли – скупое и спонтанно,
и статуя, побита, но горда,
простерла лиру в небосвод бесцветный,
где меж ветвей скрестились провода.
Тебя ли зрю, Кастальская вода
в садах российской Музы трехсотлетней?
Век восемнадцатый грустил и пел,
век девятнадцатый страдал и мыслил,
двадцатый всё по-новому расчислил,
но под конец утратил стиль и пыл,
и той воды давно никто не пил...
Но чья-то тень ложится на статую,
и рыжий человек с лицом усталым,
склонившись над фонтаном опустелым,
горстями пьет не воду – пустоту.
И пустоты живительная влага
питает дух. И сохранит бумага
его прозренья и холодный блеск.
Воздвигнут вновь – от немоты полшага –
поэзии сутулый обелиск.
Мы этот миг, блистательный, но краткий,
изобразим на глянцевой открытке,
задумаемся – надо свой привет
сопроводить каким-нибудь двустушищем –
и "Бродскому Иосифу, – подпишем, –
с почтеньем и с любовью – в дальний свет.
Подарок от родных небес ненастных –
букетик рифм, простых и диссонансных".

1987–1988

НОВЫЕ ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО

Зевает рассвет, неумыт и небрит,
за окнами кухонь и спален.
Безумная выдумка, месяц-гибрид
вполне оказался реален.

В глуши межсезонья, под вечным дождем
и небом устойчиво серым
давно мы и вольности летней не ждем,
и в снежную свежесть не верим.

И кажется – как ни морозь и ни грей,
пейзаж не изменится в окнах.
Весь год под нулевку постриг брадобрей,
и год состоит из одних мартобрей,
на улице очередь мокнет.

А где-то тепло предвещает восход,
красуется снег, голубея;
от синего моря до горных высот
леса зеленеют, и шишка цветет
под носом алжирского бея.

Так минули годы – бесцельная прыть,
когда лишь слова "запретить" и "закрыть"
остались исполнены смысла.
К природе? Но слякоть была, как назло,
такая, что даже асфальт развезло
и даже бетонка раскисла.

Какой нам откроет грядущее вид –
цветами прогресса ли нас оживит,
снега ли террора замесит?
Подходит к концу, не свиреп и не добр,

бесснежный, безлиственный, блеклый мартобрь –
российский особенный месяц.

1989

СЕРОЕ СОЛНЦЕ

*У ворот Ерусалима
солнце черное взошло.*

О небо, небо, ты мне будешь сниться!

*Жил Александр Герцович,
еврейский музыкант.*

(О. Э. Мандельштам)

Осип Эмильевич! Снег по дороге несется...
ах, извините, не ходят дороги сюда.
Осип Эмильевич, солнце, вы видите – солнце!..
Что это? Серое. Тусклая, злая слюда.

Лежит под солнцем серым,
под снегопада перьями
на сотни верст без меры
Российская империя.

И если крикнуть: "Мандельштам!",
ответит эхо: "Помер".
На теле штамп, на деле штамп:
эка такой-то номер.

Над зоною поземка
седым огнем горит

и медленно, незвонко,
чуть слышно говорит:

”Здесь вихри связаны узлом,
здесь не цветут черешни,
и череп наголо обрит,
и лед сменяет зной.

И только профиля излом
с горбинкою нездешней
еще маячит и горит
последней белизной...”

Небу не присниться,
звезды облетели.
Где твои ресницы,
длинные, как тени?

Нева, Таврида, Греция,
московский тот подвал,
где Александр Герцович
на скрипочке играл?

Но если крикнуть: ”Люди!”,
ответит эхо что-то.
Им не до чьих-то судеб,
у них свои заботы.

Что им певцы да гении,
что им чужое горе...
Но крепнет ветра пение,
и в нем звучит другое:

”Метель над лагерем стоит,
и зону снег заносит,
но ты молчишь, и я молчу,
а ветер валит с ног.

И только маленький старик,
худой и длинноносый,
подносит скрипочку к плечу,
упрям и одинок...”

Мы далеко не первые,
кто помнит и клянет,
Российская империя,
твой лицемерный гнет;

но гор не сдвинет слово,
а дела – нет,
и он не взглянет снова
на белый свет.

Но вьюга, доски лагеря
встряхнув, встает
и вихрями, как флагами,
взмахнув, поет:

”Уж если жид – так Вечный Жид,
бессмертное неверие,
смычок в руке завертится –
и мчится, будто в бой.

Весь мир перед тобой дрожит,
Российская империя,
но Александр Герцович
смеется над тобой...”

...Иначе кончить не могу:
ни ада нет, ни рая.
А есть одно: в седом снегу
лежит он, умирая.

А снег всё несется –
кружись, снег, кружись...
Прощай, моё солнце...
Прощай, моя жизнь...

Я улетаю с вьюгою
в заоблачный полет...
А вьюга всё баюкает,
а ветер всё поет:

”В последний раз, в последний раз
метель сплелась с метелью,
ни водкою, ни шубою
не оттянуть закат.

И впадины семитских глаз
горят огнем смертельным,
но всё играет Шуберта
безвестный музыкант...”

Сквозь ресницы гнойные
меркнет свет земли.
Пьяные конвойные
песню завели.

”Крутится,
вертится
шар
голубой...”

Александр Герцович,
возьми меня с собой!

...Лети, метель, по белу свету,
и отходную пой поэту.
Он замолчал – ликуй, Империя,
его лицо белее льна...

И из растрепанного облака,
как серебряное яблоко,
выкатилось солнце серое –
равнодушная луна.

1973



Леший камень

* * *

Если от шоссе, что сворачивает почти под прямым углом на Борисову Гриву, где на повороте машина с грибниками сгорела, свернуть напрямик, через поле, на месте леса раскорчеванное, и идти вдоль сложенных в ряд и поросших кустами гранитных валунов, а потом еще вправо взять – и на опушку, там Леший камень лежит. Большой, почти четырехугольный, с плоской верхушкой – мхом поросла, будто застелили. Там леший и спит. Если под камнем сухую ветку отыскать, на ложе мшистое забраться, об колени ее переломить, желание загадать, половинки в разные стороны как можно дальше забросить, то через год исполнится. Только лешего поблагодарить не забыть, а то накажет. А если от камня направо взять, то на Лосиное болото выйдешь. Три валуна враскорячку, а из них сосна растет, прямая, как на финской монете.

А крона – на четыре стрелки мохнатые расходится – север, юг, запад, восток. А если от сосны к болоту повернуться, Ведьмино дерево увидишь – серое, высохшее, кругом – топь непролазная. Только под деревом сухо, и куст белых нарциссов цветет. Ведьмы то дерево болотом окружили, чтобы не беспокоил никто.

А далее, по всему болоту – кочки, большие да

мягкие, втроем разместиться можно – это русалочьи скамейки. Русалки-болотницы на них валяются, если погода позволяет.

Вот, интерьер в наличии, а сказки нет – не успел. Топи там тоже, конечно, нет – так, слякоть одна, да и та к лету высыхает. А всё остальное я для двоюродного братишки придумал, чтоб интереснее. А он подросток немного, купил мотоцикл и стал панком.

* * *

”От тяжелой пищи кровь у англичан густеет. От этого они становятся меланхоликами, несносными для самих себя и окружающих и очень часто – самоубийцами. В Лондоне от тоски и бессилия больше, чем где бы то ни было, хочется застрелиться”.

Это написал Карамзин в начале прошлого века. Правильно написал.

Пригородные электрички, что сбегаются к бесчисленным лондонским вокзалам, сразу же дают правильное представление об английском обществе. Электричество – не по проводам, как во всем остальном мире, а по черной вечно мокрой электрорельсе, что лежит посреди дороги. Оступился англичанин в свою вечнопьяную ”пятницу-вечером”, с платформы свалился и вспыхнул, как мокрый факел. Про собак и кошек уж и вспоминать нечего. Пути все забором огорожены, даже какой-то ”полицейский поезд”, говорят, ходит – детишек от игры на рельсах отговаривать. Да только англичанам не объяснишь, что с проводами сподручнее – у них свои, английские расчеты.

Двери в поездах нужно самим закрывать, а не то будет хлопотать до следующей станции. Когда вагоны набиваются бледнолицей англосаксонской публикой до отказа, она, взяв зонтики подмышку, начинает искать свободное место, куда можно

уставиться до конечной остановки, так как друг на дружку смотреть неприлично, окон на всех не хватает, а газету в такой толчее не развернешь. Зато когда на Виктории или Чаринг-Кросс двери снова захлопают, просто слышишь многолегочный вздох облегчения – теперь взгляд можно расслабить до самого метро!

Пиво теплое, но я привык. Особенно, если "Гиннес" или йоркширское – так очень даже ничего. Из гладких пинтовых стаканов с толстой выпуклой вершухой. В "Адмирале Нельсоне", возле Чаринг-Кросса, вниз по ступенькам, плюшевая обивка. Можно в "Гренадире", где водится призрак времен Ватерлоо – того солдата, который в карты жульничал, а ему за это шею сломали. Хозяин говорит – каждый сентябрь по ночам стаканы бьет. Врет, наверно.

Можно на Стрэнде, в "Кларенсе", где пол опилками усыпан, а вечером и шут шекспировский на лютне играет. А на Флит-стрит, в маленьком закутке, направо вверх – "Старый чеширский сыр", кабак мохнатого века. Там, в зальчике, где "ланчи" подают – чучело попугая. Лет сто с лишком назад, когда женщинам впервые разрешили в "пабы" заходить, одна такая зашла, а попугай удивился, семьсот раз издал звук хлопка пробки от шампанского и сдох. Чучело набили, на полку поставили.

Да мало ли где в Лондоне "можно" – этих пабов семь тысяч. Ведь что такое "паб"? "Паблик хаус" – дом публичный, нет, не в том смысле, а чтобы общаться – не домой же гостей водить, он ведь – "крепость"!

Три часа пробьет – и жди следующего "дринка" до половины шестого, так как алкоголь в это время не положен. С Первой мировой придумали, чтоб рабочие военных заводов, в обед напившись, не начали взрыватели в снаряды не тем концом

завинчивать. Предусмотрительно. А вечером – одиннадцать, и бармен в колокольчик – динь-динь, пора и честь знать, больше заказов не принимаем. Смышленный народ в пол-одиннадцатого пинты три закажет и тянет себе потихоньку до полуночи – за все уплочено, не тревожь! А бармен нервничает. Как все на острове. Всегда. По любому поводу.

* * *

Сидит девица за столиком – джин с тоником, глаза с испугом, юбка в обтяжку, ноги кривые, туфли на босу ногу – даже зимой! Губы сжала, руки дрожат – не то я ее сейчас под стол повалю, не то займы попрошу.

“Вам нравится Англия?” – “Мне? Нет”. – (дипломатично). Она на грани истерики. “Надеюсь, Ваша поездка доставит Вам удовольствие!” – “Сомневаюсь”. Тут она начинает ногами перебирать, в салфетку сморкаться, на часы смотреть. “А в России – холодно?” – “Бывает”. – “Надеюсь, поездка в Англию доставит Вам удовольствие!” – “Вы уже говорили” (или – “ты”? У них ведь – без разницы).

“Мы должны встретиться снова!” – это значит – “Оставьте меня в покое, я вам ничего не сделала, что отвечать, я не знаю, темы для разговора исчерпаны, я вас боюсь, вы мне противны, я стесняюсь, и вот, все...”. А может – ничего не значит. Главное – лучше с ней больше не встречаться.

* * *

“Вы – русский?” – девушка за стеклом вертит в руках мой синенький паспорт с двумя полосками.

- Да.
- У вас советское гражданство?
- Нет.
- Вы живете в Германии?
- Да.
- Тогда вы - немец?
- Нет.

Она подумала секунду и написала в маленькой зеленой книжечке: "Национальность - неясная".

* * *

На деловое свидание средний англичанин опаздывает на 45 минут. Или является вовремя, но не туда, где ты его ждешь. Может назначить встречу раза три-четыре, не являться, а потом через знакомых дать знать, что не заинтересован в контакте вообще, но считал невежливым так просто отказаться.

* * *

Лондон, кроме его центральной части, похож не то на огромный фабричный двор или склад, не то и просто на тюрьму. Дома двухэтажные, одинаковые, из когда-то красного кирпича, который отсырел до предела и впитал в себя все, что летало в воздухе последние десятилетия. Молоко развозят по утрам и оставляют между стеклянных дверей в проеме. Позади каждого домика - садик величиной с матрас: обсажен деревьями, кустами, каменная горка с цветами, а в центре - гладко выбитый газон.

Из-за своей двухэтажности Лондон расползся на своих чудовищных квадратных милях, как огромный кирпичный блин. С одного конца до другого добираться за час-два, если не заблуд-

дишься. А где этот Лондон начинается и где кончается – не знаю, не углядел.

* * *

Мы ехали в метро, говорили по-русски, вполголоса. Перед станцией "Эмбанкмент" какой-то англичанин, уже собравшийся выходить, вдруг повернулся и сказал, почти без акцента:

– Я учился в Ленинграде. Вы знаете, почему-то все люди, которых я там встречал, были очень добрые. Вам, наверное, трудно здесь.

Он вышел. Мы промолчали.

* * *

Здание Центрального дворца правосудия построено в готическом стиле в конце XIX века – тогда было модно "под готику". Его лучше всего обогнуть справа: сзади – самый маленький паб в Лондоне – "Семь звезд", через порог – в стойку носом уперся. Здесь судьи "оттягиваются". Адвокаты тоже.

Чуть подальше, через узкие ворота – "Линкольнз инн" – адвокатские конторы. Это одно название – конторы больше на замок похожи – остроконечные башенки по углам, в стенах белым кирпичом орнамент выложен, вокруг – зелено-стрижено, цветы. Как будто кто-то нарочно эту садовую игрушку среди каменных стен забыл.

Потом нужно выйти на Ченсери-лэйн, дойти до Холборна, свернуть по нему направо и от Холборн-серкус (пыльный перекресток) – налево и еще раз налево. Вот он – тупичок "Или плэйс". Тихий, в конце – стенка. У входа – будка, на ней – герб с епископской митрой, сторож в белой фуражке оперся спиной на решетку – скучает.

Что тут особенного? Да ничего, просто этот тупичок в центре столицы – не Лондон. Часть графства Кембриджшир. Формально.

Хотя в Англии почти всё формально. Пишут, что лондонской полиции для того, чтобы пройти в "Или плэйс", нужно спросить разрешения у сторожа – ведь эта территория – вне их юрисдикции. Они, наверное, не спрашивают, но что может случиться в "Или плэйс"? Если только кто-то не устроит пьяного скандала в "Старой митре" – это здешний паб. Его организовал для измученных жаждой строителей церкви святой Этеральды – вот она, в промежутке между домами. А саму "Старую митру" я нашел только со второй попытки, да и то один завсегдатай показал. Дело в том, что кабак – в проходном дворе, протискиваться лучше боком (опять проклятый красный кирпич!), а так можно десять раз мимо пройти и не заметить.

Не знаю почему, но нет для меня во всем Лондоне лучше места. Закрыв ворота на замок, ключ потерял для полной экстерриториальности и послал всех...

* * *

"Нашим английским писателям живется гораздо труднее, чем советским. У вас там – диктатура, цензура, возможность мученичества, эмиграции с тоской по родине. Есть где разгуляться. А у нас – пиши о чем хочешь, да только кто читать будет? Вот и изобретают себе "угнетателей" на ровном месте".

* * *

"Мы, немцы, – слишком опасны. Я лично – против воссоединения Германии. Боюсь. А вдруг на ненависти к иностранным рабочим, тупом самодо-

вольстве и экономической мощи вырастет новый 33-й год? И почему немцам так не везет?"

- Вы слишком серьезны.

Он думал минут пятнадцать.

- Никогда в голову мне не приходило такое простое и ясное определение!

Его лицо было серьезным до предела.

* * *

В дверь позвонили.

- Ты меня узнаешь?

Да, я его узнал. Только белесая бороденка чуть меняла его мальчишеское лицо, глаза те же - сумасшедше-пришибленные, с прищуром. Он зашел, попросил чаю.

- Я хочу возвращаться. Не могу больше здесь. Ты не найдешь мне работу?

- Нет, не могу. Но ведь ты, кажется, уже работал где-то?

- Да. Но они все - сволочи, не могу с ними.

Через несколько месяцев он вернулся - его имя промелькнуло в советской газете. Рядом говорилось, что он уже просится назад - в Германию.

Он был в Афгане. Отлучился из части, пошел в кишлак, там его и взяли:

- Бородатые. На винтовках - цветочки да бантики. Вернутся с "дела" - и на мне злобу свою вымещают...

Бежал. Добрался до сарая, спрятался. Зима, ноги поморозил, выполз на дорогу в надежде наткнуться на советскую колонну. Наткнулся на другую афганскую группу.

Пакистан. "Красный крест" вывез в Швейцарию - поместили в Цугербергскую тюрьму вместе с другими интернированными. Бежал - какая в Швейцарской тюрьме охрана? Добрался до Германии,

поднялся шум в прессе, нашли адвоката, получил убежище.

И вот – тоска по Родине с переходом в тоску по Западу. И обратно?

* * *

Хозяин принес три рюмки водки.

– Спасибо!

– Не мне. Вон тот тип поставил.

Мы оглянулись, хотели поблагодарить и поинтересоваться причиной такого расположения. Но старик с растрепанными усами лишь махнул рукой и быстро, боком, вышел из кабака.

Как-то, в другой раз, удалось его разговаривать. Советский солдат, попал в плен, остался в Германии. Боялся выдачи, скрывался. Скрываться больше не надо, но он до сих пор чего-то боится, даже имени своего не назвал. Мне говорили, что таких еще немало осталось.

* * *

Глаза у нее были зеленые.

– Почему ты решила помогать нам?

– Мне – двадцать четыре. В молодости нужно сделать что-нибудь "для души".

– А если бы ты встретила с левыми? Поехала б в Латинскую Америку?

– Да, может быть. Просто наткнулась на вашу контору.

Она резко, по-парижски, пожала плечами.

– А почему ты спрашиваешь? Разве это сейчас так важно?

Нет, тогда это было не важно. Все прояснилось позднее, по сюжету песенки Жака Бреля, где герои

меняют свои убеждения вместе с возрастом. Слева – в центр – направо. Но и то – не слишком глубоко.

Но нужно было привыкнуть.

Жадно ловит каждое слово. Спорит, соглашается, снова спорит. Убедил.

Записанный на клочке бумаги адрес можно выкинуть через два месяца. Конечно, вспомнится, кто ты такой, но зачем? Европа невелика, но не настолько, чтобы обязательно встречаться с прошлогодним собеседником, здесь и без этого тесно.

Говорят, что поверхностная вежливость лучше откровенного хамства. Наверняка. А если откровенным бывает только хамство? Или это только так кажется?

Ерунда, все бесталанные эмигранты так и пишут: тяжелая жизнь в коммунальной квартире и работа дворником, о которых он вспоминает в маленьком парижском кабачке, где пьет свой кальвадос (обязательно – на последние франки) и долго удивляется: почему его страдания не разделяет консьержка-португалка, а постельная подруга спорит о том, где дешевле покупать бананы, и ругает капитализм за маленькую стипендию. А кого ей ругать – социализм?

* * *

Напротив Парламента был подвальчик – "Таверна Св. Стефана", где можно было услышать, как бармен напоминает засидевшемуся за пинтой депутату, что тому скоро выступать.

"Истинно голубой" в Англии означает совсем не то, что в Москве – это просто истинный консерватор, преданный королеве и всему, что с ней

связано. Но и "голубых" в нашем понимании там недостаточно.

"Я понимаю, что вы, несмотря на свой антикоммунизм, стремитесь к сохранению единства страны. Может быть, и правда, что сепаратизм преобладает лишь на Западной Украине. Но как говорил Черчилль: "У Англии нет ни постоянных врагов, ни постоянных союзников, у нее есть только постоянные интересы". Поддержка сепаратистов в вашей стране и курс на "раскол империи" - выгодны для нас, независимо от того, какое правительство в ней будет у власти. Даже если сепаратисты будут проводить террористические акты".

- Что ж, тогда нам останется вооружать ирландских террористов.

Собеседник поморщился.

* * *

Старик закурил. Руки уже дрожали, но выглядел крепко, только заговаривался иногда.

- Помню девятнадцатый год. Киев взяли, послали нас подвалы ЧК раскапывать. Трупы были по двое связаны, чтоб одной пулей... Кажется - "Садовая, 5"... Но в эволюцию Советов я все равно верю - погоны офицерам вернули, а сейчас, говорят, и мелкую торговлю разрешили. А вот Польше автономию давать было нельзя - до сих пор эти валенсы бунтуют...



Вадим КРЕЙД

**О поэте
Александре Кондратьеве,
его судьбе и стихах**

В начале века имя Александра Кондратьева было хорошо известно в самых разных читательских кругах России. Со славой Бальмонта или популярностью Куприна – известнейших из известных – Кондратьев, конечно, соперничать не мог, но всё же... Это "всё же" включает целый список заслуг перед русской словесностью: увлекательный, написанный прекрасным языком роман "Сатиресса", сборники рассказов, исследование об Алексее Толстом, драма "Елена", знаменитый перевод "Песен Билитис", привлекая к себе широкое внимание и запрещенный цензурой, помимо того два сборника стихотворений. Всего до революции вышло восемь книг Кондратьева, причем "Сатиресса" – двумя изданиями (1907 и 1914).

За подписью Кондратьева стихи, рассказы, статьи постоянно появлялись в журналах. Сохранился составленный самим писателем список периодических изданий, в которых печатались его произведения. Список довольно обширный и включает журналы, ставшие своего рода "институтами" русской культуры, вехами на ее пути – "Весы", "Аполлон", "Русская мысль". В этом списке мы находим названия журналов и газет с большой

по тем временам читательской аудиторией: "Сатирикон", "Голос Москвы", "Петербургская жизнь", "Огонек", "Лукоморье". Добавим к этому перечню еще и альманахи, в которых участвовал Кондратьев — например, хорошо известные знатокам литературы "Гриф" и "Белые ночи".

Интерес к Кондратьеву подогревался и критикой — нелюбезной и исключительно активной в начале века. Вряд ли хотя бы одно достойное произведение, опубликованное в пору серебряного века, а точнее "серебряного десятилетия" нашей литературы осталось незамеченным этой критикой.

Когда в 1905 г. вышел первый сборник стихов Кондратьева, Брюсов сквозь многие незрелые строки молодого дебютанта разглядел в нем прирожденного поэта и провозгласил в "Весах", что "для господина Кондратьева как поэта е с т ь будущее". Борис Садовский, столь же яркий и столь же забытый писатель, как и сам Кондратьев, зоил тогдашних времен, "цепной пес" "Весов", как его называли недруги, в суровом отклике на "Сатирессу" вынужден был признать, что этот роман "с начала до конца прочитывается с интересом", что он представляет собой "богатое поле для одаренного творческой фантазией художника", что он способен "увлечь читателя". Критика не всегда была комплиментарной, но общий ее приговор сводился к тому, что Кондратьев — литератор со своим лицом, писатель многознающий, обладающий вкусом и мерой, увлекательный повествователь и своеобразный поэт. Точнее же всех сказал о нем А. Блок: "Кондратьев — удивительный человек. Его рассказ о чертике и Христе — глубоко символичен. Он совершенно целен и здоров, силен индивидуальной волей, всегда в пределах гармонии, не навязывается на тайну, но таинственен и глубок. Он — страна, после него душа очищается — хорошо и ясно".

Это было сказано в 1906 г., когда Кондратьев все еще ходил в начинающих.

Книги, выступления в журналах и альманахах, критика... Но была еще одна подробность в жизни Кондратьева, которая делает его личностью исключительно интересной для историка литературы. Я имею в виду его участие в литературных кружках и его многообразные литературные связи. Петербуржец по рождению, он учился в гимназии, где директорствовал и преподавал греческую литературу Иннокетий Анненский. Это школьное знакомство привело впоследствии к дружбе, кончившейся лишь со смертью учителя. Очевидно, в Царском Селе у Анненского Кондратьев познакомился с Гумилевым и со всей так называемой "молодой редакцией" "Аполлона", включая Михаила Кузмина. Еще ранее Кондратьев познакомился с Мережковским и З. Гиппиус. Участие в литературном студенческом кружке свело его с Блоком и Городецким, а затем сотрудничество в "Весах" и "Русской мысли" привело к близкому знакомству с Брюсовым.

Одним словом, талант Кондратьева созрел на перекрестке лучших влияний, какие только могла оказать современная ему литература. Одновременно у Кондратьева по отношению к современным влияниям вырабатывался иммунитет. Со школьных лет вкусы и интересы его глубочайшим образом были связаны с древними цивилизациями, с юностью человеческого сознания. Эти интересы цементировались еще и мистическими увлечениями, ибо расцветом мистицизма Кондратьев считал именно древние века, хотя возрождение этих увлечений в эпоху "серебряного десятилетия" было среди интеллигенции явлением распространенным. Когда думаешь о многообразных литературных связях Кондратьева, возникает соблазн углубиться в этот предмет, поскольку через него нащупывается

пульс эпохи, тот "новый трепет", который, по словам Георгия Иванова, и создал русский модернизм начала века.

Кондратьев покинул Петроград в январе 1918 года, незадолго до разгула красного террора. Этой датой практически и заканчивается известность Кондратьева в России. Произведения его не переиздавали, статей о нем не писали, редкие упоминания его имени в мемуарах дела поправить не могли, и новому читателю он оставался неизвестным.

Покинув Петроград, Кондратьев сначала поселился в Ялте. О месяцах, проведенных в Крыму, свидетельствуют несколько сохранившихся от той поры стихотворений, о которых у нас нет сведений, печатались ли они прежде. Эти стихи приводятся здесь по авторской рукописи:

Посмотри: зазеленели горы,
Солнце блещет с синей высоты,
Разоделись в яркие уборы
В честь весны деревья и цветы.

Белым снегом облетают сливы.
Блещет свежий тополевый лист.
Детский смех доносится счастливый
И не молкнет птиц веселый свист.

От жасмина струи аромата
Пробуждают спавшие мечты,
Но тоской неясною объята
Средь цветов не радуешься ты...

Ялта. 1918 г. Весна

И другое стихотворение, также написанное в Крыму:

НА УСТУПАХ МАССАНДРЫ

Сквозь кружево сосен виднеется море,
Сливаясь с эмалью небес голубой.
Деревья в златисто-зеленом уборе,
Шумят их вершины, шепчась меж собой,
И вторит им издали мерный прибой.

Я на гору лезу, стуча по камням,
Цепляясь за корни, о ветви шурша.
Лишь птицы с их щебетом, свистом и пеньем
Меня здесь встречают... И жаждет душа
Излиться стихами, полна вдохновеньем.

Осень 1918

Чистый лиризм, приятие зримого мира, почти благоговейное отношение к природе, какая-то подспудная связь личного с космическим дышит в этих формально безупречных, несколько "старомодных" строфах. Но на вдохновение нет моды, и в каких бы одеждах оно ни являлось, оно всегда остается для нас духовной ценностью, ибо идет не от эгоцентризма человеческого, а от состояния просветленности.

Из Крыма осенью 1918 г. Кондратьев перебрался на Волынь, где раз пять менялась власть, а около 1920 г. местность, включая село Дорогобуж (неподалеку от Ровно) отошла к Польше. Позднее Кондратьев иронически заметил в одном из своих писем, что не он уехал из России, а Россия уехала от него. Итак, два десятилетия между двумя мировыми войнами Кондратьев прожил в сельской глуши безвыездно, не считая поездок в находящийся в двадцати четырех верстах Ровно. Это были творческие годы, увенчавшиеся романом "На берегах Ярыни" и сборником сонетов "Славянские боги" — книгами единственными в своем роде.

Много его публикаций рассеяно в старых, теперь уже с трудом находимых эмигрантских газетах и журналах, таких как "Меч", "Россия и славянство", "Волынское слово", а также в газетах львовских, таллиннских, варшавских. В этой старой эмигрантской периодике можно найти стихи и рассказы Кондратьева, его статьи и воспоминания об Анненском, Гумилеве, Недоброво. О взглядах Кондратьева и его образе жизни в эти годы можно узнать из нескольких, ранее не публиковавшихся его длинных писем к Амфитеатрову: "Я лично человек не партийный, и никогда не бывший партийным, но обладающий если не симпатиями, то, во всяком случае, антипатиями к некоторым лицам и партиям, лишившим меня отечества (т. е. того государства, которому скромно, но честно служил ряд моих предков) и разрушившим это отечество. Повиноваться им будет для меня обидно и больно. Отечество, к которому я привык, они мне не восстановят, а будут строить что-то новое, по своему собственному вкусу и плану, а это будет для меня уже не отечество. Уважения у меня к ним нет ни на грош". В этих словах мы видим апологию эмиграции как пути честнейшего для людей независимых взглядов, наподобие самого Кондратьева.

"Правда, — пишет он дальше, — я человек кабинетный, не входивший в общественные организации, не бывший в революционных партиях... В тоне моего письма Вы усмотрите, может быть... стремление вернуть высокое утраченное положение или имение. Нет, предки мои не владели имениями или людьми (по крайней мере в России) и не занимали высоких постов... Отец умер статским советником, ни недвижимостью, ни капиталами не обладал. Я жил очень скромно, тратя деньги только на книги да раза 3-4 совершил путешествия по заграничным музеям благодаря службе в Министерстве Путей

Сообщения и литературному приработку. В 1916 г. мне удалось реализовать доставшееся мне в наследство от бабки (по матери) не помещицы недвижимость. Две трети денег, вырученных от продажи, я тотчас же отдал на военный заем. То, что я не успел истратить на отправку на юг моей семьи, оборотилось в ничто. Поскольку мне известна будущая моя судьба, – воротиться на родину мне не суждено. Бог наказал меня за то, что я слишком гордился некогда могуществом своего отечества”.

А вот выдержка из другого, также не публиковавшегося письма, в котором говорится о его повседневной жизни в Дорогобуже: ”Я мало выезжаю из усадьбы моей старой больной тещи, мало даже вижусь с соседями и редко езжу в город, где иногда удастся достать в гимназической библиотеке или у знакомых какую-нибудь книгу... В виду экономического кризиса даже газет не покупаю и благословляю Небо, что не курю. Рад бываю, когда удастся добыть от знакомых за несколько месяцев газету ”Возрождение” или французский старый журнал”.

И еще одна выдержка из письма от 30 (?) августа 1932 г.: ”Живется мне, сравнительно с другими эмигрантами... слава Богу, сносно. Сыт и кров над головой имею. Если бывает холодно, рубим старые вязы в саду. Но без книг и научных пособий бывает иногда скучновато. Приостановились некоторые историко-литературные работы... Сын теперь занят сельским хозяйством. Сам я от последнего домашними моими освобожден, копаюсь только в огороде, каковое занятие отвлекает несколько от грустных мыслей и рассеивает легкий психоз в гоголевском стиле. Впервые попав сюда в 1908 г., я нечаянно пожелал провести здесь последние годы жизни, а желания мои имеют обыкновение исполняться”.

Однако это желание Кондратьева не исполнилось. В 1939 г. в усадьбу, в которой он жил, ворвались "освободители", установившие на "воссоединенной" Западной Украине большевистскую власть. Кондратьев, взяв с собой несколько записных книжек со своими стихами, пешком ушел в Ровно, а оттуда на Запад. Последовали годы скитаний, потом лагерь для перемещенных лиц в Триесте, старческий дом "Пеликан" в Швейцарии и, в конце концов, когда ему перевалило уже за восемьдесят, он вылетел в США. Умер он в штате Нью-Йорк в возрасте 91 года в мае 1967 г.

Насколько мне известно, последнее его опубликованное при жизни стихотворение появилось в парижском журнале "Возрождение" в 1952 г. Оно навеяно любимым им пейзажем Волыни. Лирика Кондратьева тесными узами связана с тремя полюбившимися ему на всю жизнь уголками Европы: с Грецией, Волынью и Петербургом. Но о чем бы он ни писал, он по преимуществу поэт петербургской школы. Если не всегда, то во многих случаях стихи Кондратьева узнаются "по почерку". Он любит опоясывающую точную рифму, любит трехстрочную и пятистрочную строфу, из метров предпочитает анапест, вводит порой греческие метры в русскую поэзию. Как мало кто за всю историю русской поэзии, он приблизил к нам дух и ценности эллинской и славянской древности. В его стихах местами встречаются подлинные шедевры звукозаписи, той осознанной фонетики, которая несет с собой множество тонких обертонов смысла.

Кондратьева справедливо было бы отнести к так называемым малым поэтам серебряного века. Творчество блестящей плеяды символистов и акмеистов отодвигают этих малых поэтов в тень. Но само представление о литературном пейзаже как состоящем только из вершин говорит не о строгих кри-

териях, а о многих недоразумениях. На художественной палитре Кондратьева есть такие краски и в звучании его лиры – такие ноты, которые не забываются и которые показывают его поэтом со своим голосом и со своим собственным стилем. Критика последних семидесяти лет попросту проморгала этого замечательного мастера, а читатель из-за недоступности его стихотворений забыл и само имя поэта. Из печатающихся ниже стихотворений ни одно не вошло в его прижизненные сборники, хотя некоторые из них были опубликованы в повременных изданиях. Однако все стихотворения этой подборки печатаются по сохранившимся автографам.

* * *

Вертограда небесного лилия,
Райский цвет на бесплодной земле!
Распростертый средь праха и пыли я,
Образ Твой призываю во мгле.

Нимб Твой – звезд серебристых сияние,
Поступь – облачка легкого след;
Днем и ночью Твое одеяние
Дарит солнца немеркнувший свет.

Очи – помыслы гонят нечистые.
Лик Твой – отблеск зари на снегу,
Волоса Твои – рожь золотистая,
А улыбки сравнить – не могу!

Мне ли, с силами столь невеликими,
Слить мой стих в славословящий хор
С херувимами пламенноликими,
Сонмов ангельских внять приговор?!

О, Звезда Незакатная Божия,
О, Светильник надмирных высот,
Я кладу у святого подножия
Вместе с песнью души моей гнет.

Голубица небес ослепительных,
В сферах вечного света паря,
Не забудь наших скорбей мучительных,
О Невеста и Мать Всецаря!

На молитву, к Тебе вознесенную,
Обрати, Милосердная, взор,
И над Русью, тоской угнетенною,
Благодатный прости омофор!

[1920]

* * *

Молодая зелень винограда
Обвивает старую беседку.
Я туда вошел, как птица в клетку,
И душа излиться в песне рада.

Здесь я узник. Сладки узы лени...
Пчел мохнатых томное жужжанье,
Вырезных сквозящих листьев тени,
Птиц незримых свист и щебетанье,

Ветра шум в черешневых вершинах,
Бабочки залетной крыльев трепет,
Блеск жуков зеленых на жасминах
И листвы над ухом сладкий лепет...

Света, красок, звуков сочетанья,
Запах облетающей сирени,

Мне сковали мысли и желанья.
Здесь я узник. Сладки узы лени!..

*Село Дорогобуж Волынской губ.
22.V.1915*

* * *

Века протекли без возврата,
Но те же – в глазах твоих синь,
Прически пушистое злато
И контур эламских богинь...

Играли в саду музыканты.
Мне чужд был их песен мотив,
Но так же сгибала свой стан ты
И так же твой шаг был красив,

Как в час, когда пред Издубаром
Предстала ты в виде Истар,
Богиня, чьим ласковым чарам
Подвластны и молод и стар...

ИЗ ПУТЕВОГО АЛЬБОМА

В апельсиновых рощах Ионнеи
Я бродил под солнцем утомленный,
Были пусты в полдень раскаленный
Кипарисов стройные аллеи.

Померанцы, фиги и гранаты
Замерли, не двигая листвою.
Бил фонтан холодною струею,
И бродил я, скукою объятый.

– Позабудь, безумец, о печали!
Все кругом теплу и солнцу рады.

Пой про жизнь, – согласно стрекотали
Мне с деревьев звучные цикады.

Посмотри, как небо ярко-сине,
Как манит созревший померанец.
Позабудь о призрачной богине,
Веселись тоскливый иностранец!

Но в душе неясные упреки
Шевелились медленно, как змеи.
В апельсиновых рощах Ионнеи
Я бродил под солнцем одинокий.

НИМФА, ПРЕСЛЕДУЮЩАЯ ОТРОКА

О, мой мальчик, куда убегаешь, постой!
Все равно не спасешься, лишь в чаще густой
Исцарапаешь нежные ноги.
Взором робко-стыдливым мне сердце пленя,
Ты дрожишь от испуга, бежишь от меня,
Неизведанной полон тревоги.
Ты, как дева застенчив, как Эрос хорош,
О, не мни, что в лесу ты спасенье найдешь,
Избежишь моего поцелуя!
Как олень быстроногий, ты скор на бегу,
Но стрелой до тебя я домчаться могу
И, поймав, обниму торжествуя...
Ветви хлещут в лицо. Ветер свищет в ушах.
Слышу вздохи твои. Вижу кровь на ногах,
Утомленных от долгого бега.
Через камни и пни я гонюсь за тобой,
Ты все так же бежишь. Ты споткнулся... Ты мой.
О, какое блаженство и нега!
Ты лежишь невредим без сознания и сил
И глаза голубые, как небо, закрыл,
Молодое лицо побледнело.
Полонила мне душу твоя красота,

И к устам твоим нежным я с дрожью уста
Приближаюсь, склоняясь несмело...

* * *

Столица Севера, как вид прекрасен твой
Над полноводною, медлительной Невой,
Рекой-красавицей в гранитном одеянии,
Соборов и дворцов величественный строй,
На площадях – царей немые изваянья...
Кто раз тебя видал – забыть не в состояньи,
Не позабыл и я, о Город мой родной,
Далекий Град Петра, тебя в моем изгнаньи,
Твоих каналов мрак, твоей реки сверканье,
Адмиралтейский шпиг за сквером, золотой,
Гул поздний Невского и санный бег зимой,
И зоревых ночей весенних обаянье!
О, года юности! О, розовое зданье,
Как улей полное студенческой толпой!

Посв. Л. Д. Р. – С.

Дышет истомою ночь сребролунная,
Блещет, играя волна.
Музыка арфы вдали тихострунная,
Полная неги слышна.

Чаши раскрыты цветов ароматные,
Запахом их я пьяна.
Зовы в душе раздаются невнятные,
Нет мне покоя и сна!

Пена блестит под луной снежнобелая,
Шумен немолчный прибой.
В лунном сиянии руки воздела я
К небу, с покорной мольбой.

Там, за пустынями исчерна-синими
Есть лучезарный приют.
Светлые боги там вместе с богинями,
Юными вечно, живут.

К вам посылаю мой стон, небожители,
Полная страстной тоски.
Две к вам воздетых с мольбой захотите ли
Женских отринуть руки?!

С трепетом тайным и в тайном бессилии
К вам распростерты оне...
Днем горделиво-бесстрастные лилии
Тянутся к бледной луне.

* * *

Поздние маки у края пути
Пышною алостью тешат мне взоры.
Глядя на них веселее идти
В даль, что застлали пологие горы.

Пусто и голо вблизи и вдали.
Сжаты поля золотистой пшеницы.
С севера тянут на юг журавли,
Бодро и звонко кричат их станицы.

Не полечу я за ними мечтой,
Бледной мечтою, когда-то свободной,
В Нубии степи, где Нил многоводный
Поит песок золотой.

Слишком далеко. Мечте не под силу
Птицей над знойной пустыней парить,
В пальмовых сенях по желтому Нилу
Легкой феллукой скользить...

Пасмурно небо, и тяжело нависли
Над потемневшей землей облака.
В голову просятся хмурые мысли.
Холодно. Грязь на дороге вязка.

Голос в душе раздается чуть слышный:
"Поздние маки у края пути,
Маки, манящие алостью пышной,
Как мне вас в жизни найти?!"

17. IX. 1912

* * *

После долгой и трудной дороги
Дай под кров твой уютный войти.
Дай омыть запыленные ноги
И дозвошь отдохнуть от пути.

Велика от бессмертных награда
Тем, кто странникам дарит приют.
Ты ведешь меня в сень винограда,
Где немолчно стрекочет цикада
И заботливо пчелы снуют.

Перемешан с водой снеговой,
Так приятен иссохшим устам
Этот мед золотистый, тобою
Вместе с хлебом поставленный там.

На дворе твоём тень и прохладно.
Тихо, тихо журчит водомет,
И, укрывшись в листе виноградской,
В синем небе следить так отрадно
Голубей твоих белых полет.

14. XII. 1914

TENET NUNC PARTHENORÉ

Где меж лугов змеится в даль Горынь
И в струи светлые глядятся сонно ивы,
Где тихо зыблются и золотятся нивы,
И так прекрасна ласковая синь
Твоих небес, красавица Волынь,
— Живу в тиши полей, бездумный и ленивый,
Ем груши, яблоки; гляжу, как зреют сливы,
И с вожделением орехов жду и дынь...
Затерян средь холмов и пышных нив Волыни,
Забросил я давно поэзии труды;
Мне голову кружит полдневный дух полыни,
Мешают видеть муз высокие скирды.
Увы, я здесь лишен созвучий благостыни
И геликонский вкус я позабыл воды...

1911 село Дорогобуж Волынской губ.

* * *

Я сложил у Кипридских ног
Аполлоном врученную лиру.
Много песен мне спеть он помог
Равнодушно внимавшему миру.

Ныне скорбна душа и пуста,
В ней умолкли слова Музагета.
И напрасно взывают уста
Позабывшего богом поэта:

Аполлон! Аполлон! Аполлон!
Низойди на призывные клики!
Ореолом лучей озарен,
Низойди ко мне, бог светлоликий!

Сын Латоны, развей мне, развей
Рокового безмолвия чары!
Тронь рукою искусной своей
Запыленные струны кифары.

Пусть веселый играющий гром
Пробежит по ним с силой могучей
И пробудит в поэте твоём
Отголоски забытых созвучий.

* * *

Посмотри, как блохи Ночи
Тихо ползают по чреву
Вечной Матери богов.

В час, когда смежу я очи,
Тень свою предав Эреву,
Я скользну меж облаков.

Полечу дорогой млечной
Тихой Матери в объятья,
Не боясь тех светлых блох.

К темной Матери Предвечной,
Душу ей хочу отдать я
И отдать последний вздох.

* * *

Слышишь ветра холодного пение
Посреди обнаженных ветвей?
Холодеет и солнце осеннее,
И все тоньше, грустнее и бреннее
Вьется ниточка жизни моей.

Юность в даль унеслась, невозвратная,
Вечер жизни ненастно-суров.
На Тебя лишь надежда невнятная:
Ты накинешь на нас, Благодатная,
Ярко блещущий звездный покров.

Ты усталого сердца биение
Остановишь целящей рукой,
Ты всем скорбям пошлешь утешение
И сквозь краткое смерти мгновение
В свой введешь светозарный покой.

* * *

Сестер кастальских благостыни
Лишен, я Роком удален
В изгнанье на берега Гордыни.
Забыл меня здесь Аполлон,
И всеми позабыт я ныне.

Но верю, помнят про меня
Не знающие света дня
На берегах печальной Леты
Мои знакомые поэты
И ждут, молчание храня.

III. 1936 ст. ст.



Рассказ В. Набокова "Лик" - Малая Вселенная

В недавно вышедшем сборнике Набокова* составители Александр Долинин и Роман Тименчик справедливо отметили, что новеллистике писателя исследователи уделили внимание меньше всего и что "из нескольких десятков монографий о его творчестве только одна посвящена его рассказам, да и то исключительно раннего, берлинского периода".

Действительно, очень жаль, что рассказы Набокова недооценены. Между тем, предлагая выделить набоковские рассказы в самостоятельную группу и рассматривать их в качестве иного жанра, иного относительно романов, Тименчик и Долинин тем самым полагают существование такового различия. А вот это кажется мне *переоценкой* рассказов.

Когда голограммное изображение разбивается на мелкие осколки, то даже в самой ничтожной бусинке вы найдете все черты, которые были и на картине большей площади. Все черты, все детали. Это закон голограммы. Одно лишь теряется – это резкость изображения.

* В. Набоков. Рассказы. Приглашение на казнь (роман). Эссе, интервью, рецензии. М., Книга, 1989 (Серия: Из литературного наследия).

Набоковские рассказы можно уподобить обломкам голограммы. Но так же, как с осколками голограммы, так и с рассказами: те черты и темы, которые мы знаем по его романам, здесь, в рассказах, просто несколько тусклее. Но они те же.

Можно было бы, конечно, использовать образ того янтарного шара, янтарного сгустка, о котором Набоков рассказывает в своих воспоминаниях, выбрасываемого по временам в виде мелких камешков и находимого на одних и тех же пляжах из поколения в поколение то бабушкой мемуариста, то матерью, то самим мемуаристом; но тип образа остался бы прежним.

Рассказы Набокова – это отпочкования при работе над романами: их внутреннее напряжение, масштаб человека в них, сила авторской речи – те же, что и в романах. В рассказах Набокова мир вращается с той же скоростью, внутреннее время (время памяти) и внешнее время (время обычных башенных часов) течет ни быстрее, ни медленнее времени романного. Его рассказы – это отдельно сброшюрованные страницы (часто неподошедшие, часто – слегка видоизмененные) того или иного романа, над которым писатель в эту пору работал. Например, сборник "Возвращение Чорба" – весь, как околосолнечная система, поворачивается вокруг романа "Счастье" – романа, как известно, неосуществленного; в этом сборнике мы встретим фразы абсолютно ключевые для набоковского писательского ощущения:

"Слушай, я совершенно счастлив. Счастье мое – вызов. Блуждая по улицам, по площадям, по набережным вдоль канала, – рассеянно чувствуя губы сырости сквозь дырявые подошвы, – я с гордостью несу свое необъяснимое счастье";

"И как мне ему втолковать, что я подглядел чье-то будущее воспоминание?"

По-видимому, рассказы "Письмо в Россию" и "Путеводитель по Берлину", откуда взяты эти цитаты, должны были стать главами романа "Счастье". Некоторые другие рассказы сборника "Возвращение Чорба" и часть рассказов сборника "Соглядамай" могут быть включены в систему так называемых немецких романов - "Король, дама, валет", "Камера обскура", "Отчаяние". Так же нетрудно определить группу рассказов, образующих некий подлесок кругом "Соглядамай" - даже если рассматривать "Соглядамай" не как роман, но просто как некий протяженный текст. Рассказы "Круг", "Памяти Л. И. Шигаева", "Тяжелый дым" совершенно неприкрыто движутся в потоке "Дара", и так далее.

Именно это я хотел бы назвать Малой Вселенной, созданной по образу и подобию Большой.

Все сказанное можно отнести и к рассказу "Лик", написанному в Ментоне (Франция) летом 1938 года.

Рассказ "Лик", казалось бы, посвященный частной судьбе героя, на самом деле очень компактно излагает эстетические принципы, мотивы и темы Владимира Набокова.

Две чаши весов определяют личность человека в набоковской вселенной. На одну чашу всегда сваливается брменная явь, вещный путь, или - словами Набокова - "условный план земного быта", то есть нечто данное всем людям. Другую чашу пытаются загружать многие, но подлинный груз, мир духа, гармоническое равновесие - это удел редких одаренных людей. Это может быть память о России, может быть собственное творчество, какая-то иллюзия, фантазия. (В одном из интервью Набоков говорил: "Воображение - это разновидность памяти. И память, и воображение - это отрицание времени".) Пока человек не обрел этого равновесия, "смутные муки" преследуют его, такой человек

одинок. "Одиночество как положение, – говорит Набоков в "Лице", – исправлению доступно, но как состояние, это – болезнь неизлечимая".

Через все творчество Набокова проходит тема двух миров – мира яви и мира вымысла. Ганин, герой "Машеньки", выстраивает в своей памяти изумительно чистый, благоуханный космос – Россию своей юности, Машеньку своей мечты и, боясь разрушить нетленное очарование, бежит прочь от тленной реальности, от всамделишной Машеньки. Шахматист Лужин, перегрузивший чашу воображения и потому сошедший с ума, выпадает из реальности – в метафорическом и буквальном смысле. Герои повести "Соглядатай" и рассказа "Terra Incognita" постепенно переплывают из мира в мир, правда, идея этого попеременного пребывания в яви и в фантазии играет здесь чисто стилистическую, трюкаческую роль. Гораздо важнее, программнее, так сказать, взаимоотношения с вымыслом у собирателя бабочек Пильграма, у Мартына, у отчаявшегося Германа Карловича, у приглашенного на казнь Цинцинната, и уж прямой писательский пример этого находим в романе "Дар", само название которого синонимично именам набоковских полупотусторонних муз: Любознательности, Нежности, Доброте, Стройности, Восторгу.

Смысл поиска этого второго мира онтологичен. Всякий человек существует, разумеется, в мире яви; но человек, явью ограничивающийся, по Набокову, – ненормален, ущербен, ибо лишенный мира вымысла, он оказывается пошляком. Пошлостью Набоков называл измерение вещного мира вещной мерой. Человек же творческий, то есть нормальный (вспомним, Набоков говорит в рассказе "Истребление тиранов": "Настоящий человек – поэт"), так вот, человек творческий жив "верностью вымыслу", "верой в небылицу".

Актер Александр Лик ничего этого найти не мог, хоть и думал, говорит Набоков, "все о тех же вещах, о которых думал постоянно": что "очутится в невероятно нежном мире, сизом, легком, где возможны сказочные приключения чувств, неслыханные метаморфозы мысли. И обо всем этом думая, Лик почему-то представлял, что когда он умрет, ...то ...перейдет в жизнь случайной пьесы, ...а его улыбающийся труп будет лежать на подмостках".

Потусторонний мир наделяется самыми неопределенными, но благоуханными, привлекательными чертами. Обратим внимание на такую фразу: Лик "думал о том, что осужден жить сбоку от жизни, что всегда было и будет так, и что поэтому, *если смерть не окажется выходом в настоящую сущность* (курсив мой. – Ив. Т.), он жизни так никогда и не узнает".

То есть только смерть, отворяя свои врата, позволяет понять, что же такое была та жизнь, которую человек оставляет.

Одиноким Лик любил утешать себя, что именно на сцене героиня пьесы, так искренне льнувшая к нему, живет "настоящей жизнью, а в другое время попадает в периодическое помешательство, когда она уже не узнает его и зовет себя другим именем".

Полумистические надежды Лика совершенно одолевают его. Он надеется, что "в один смутно прекрасный вечер он посреди привычной игры попадет как бы на топкое место, что-то поддастся, и он навсегда потонет в оживающей стихии, ни на что не похожей, самостоятельной, совсем по-новому продолжающей нищенские задания драмы, – весь без возврата уйдет туда..."

И Лику казалось порой, что до конца спектакля он с больным сердцем не дотянет, а "растает на сцене среди разноцветных испарений, промеж

которых вдруг пройдет в последний смертный миг блаженная струя другой, другой жизни”.

Тема потусторонности, неизбежного продолжения судьбы дана в рассказе и в ироническом плане: “Есть пьеса “Бездна”, – говорит автор, – известного французского писателя Suiре. Она уже сошла со сцены прямо в Малую Лету (т. е. в ту, которая обслуживает театр, – речка, кстати сказать, не столько безнадежная, как главная, с менее крепким раствором забвения, так что режиссерская удочка иное еще вылавливает спустя много лет)”.

Это первая общая черта рассказа “Лик” с художественным пространством набоковской вселенной.

Вторая черта, также оставившая там и сям свои трансцендентные черты, – тема палачества, мучительства. К “полоумным мучителям человека”, из которых мучители Цинцинната Ц. – самые известные, но далеко не единственные, ибо, появляясь уже в ранней поэтической драме “Дедушка”, они плодятся и наполняют главы, эпизоды, сюжетные ходы множества рассказов, пьес, романов – к этим полоумным мучителям должен быть с полным правом отнесен и Колдунов. Здесь, в “Лике”, садисту Колдунову посвящена ярчайшая страница “школьных” мемуаров, обещающая стать хрестоматийной.

Есть в рассказе и тема России, но данная не впрямую. Сам Лик, говорит автор, “личных воспоминаний своих не пестовал, и поэтому его Россию “заволокло”. Но авторское отношение тут заявлено хоть и в предложении придаточном, но первостепенно афористичном: “Память о России, которая у людей пожилых, застрявших за границей собственной памяти, превращается либо в необыкновенно сильно развитый орган, работающий постоянно и своей секрецией возмещающий все исторические убытки, либо в раковую опухоль души, мешающую

дышать, спать, общаться с беспечными иностранцами, —...”

Есть и непереносимая тема одиночества у героя, у которого была какая-то неизлечимая болезнь сердца и которому “как-то не к кому было пойти и пожаловаться на незаслуженную шаткость его, его бытия...” Кстати, тут, в этой фразе сверкнула, будто случайно, мысль Достоевского о человеке, которому “некуда пойти”, и это совпадение — конечно же, неслучайное, ибо напоминает нам о той игре в отрицание Достоевского, которую Набоков вел и до войны и особенно после — на американской почве.

Теперь, когда опубликована даже та часть набоковского наследия, которую, должно быть, не чаял увидеть в печати и сам автор (я имею в виду его лекции), мы можем заметить тематические переплетения, до сих пор от читателя скрытые. В частности, это относится к лекциям Набокова о драматургии, прочитанным в Америке в 1941 году, через три года после написания “Лица”. Здесь, в “Лице”, только намечается эта драматургическая критика: “В этой пьесе, по существу идиотской, даже идеально идиотской, иначе говоря идеально построенной на прочных условностях общепринятой драматургии... словом, все весьма интересно, весьма жизненно, на каждой реплике штемпель серьезной фирмы, и уж, конечно, ни один толчок таланта не нарушает законного хода действия, нарастающего там, где ему полагается нарастать, и, где следует, прерванного лирической сценкой или бесстыдно пояснительным диалогом двух старых слуг”. Эта драматургическая критика разовьется в ряд афористических положений Набокова о закономерностях сценического искусства, без которых пьеса распадается, но следуя которым она сама убивает себя своими законами, — и это Набоков назвал “трагедией трагедии”.

Можно отметить достаточно много всевозможных бликов, оставленных набоковским миром на поверхности этого рассказа. Из бегло пересказанного содержания пьесы, которую играют герои рассказа (некто Игорь, случайно попавший в усадьбу пожилой женщины и полюбивший ее дочь Анжелику), мы видим формулу будущей "Лолиты" или из рассказа "Волшебник", который должен появиться через два года после "Ли́ка"; полфразы - "ездить верхом по сухому вереску" - и перед нами пейзаж романа "Solus Rex"; "бедный, лающий Мольер", умирающий на сцене, - и готово начало книги "Гоголь"; даже родители Ли́ка, оказывается, "умерли на заре эмиграции"! Интересно, так же ли очевидно сейчас, как было очевидно тогда, что "Ли́к" - это мужской вариант названия бунинской женской "Ли́ки"?

Есть в рассказе и тема подлинности - постоянная тема Набокова. Пошлому искусству противопоставляется подлинность жизни. Или наоборот. Например, рассказ "Уста к устам", где герой писатель Илья Борисович, не зная, что же делать с тростью, мешающей его герою перенести свою возлюбленную через ручей, этот писатель в жизни забывает свою трость в гардеробе. Та же функция у рассказа "Адмиралтейская игла". Но поскольку так называемая подлинная жизнь также выдумана писателем, то следовательно, пошлому искусству противопоставляется искусство подлинное.

По существу, весь роман "Дар" есть такое противопоставление, вот почему Набоков назвал его романом о литературе. Дар, таким образом, и есть дар преодоления пошлости мира с помощью искусства.

Тему подлинного искусства в "Ли́ке" мы видим даже в разыгрываемой героями пьесе, банальной и бездарной до одури, - говорит Набоков. "...Как и

всякая, живыми людьми разыгрываемая вещь, она добирала, Бог весть из чего, личную душу, часа два-три пыталась как-то жить, развивая свою теплоту и энергию, не состоявшие ни в какой зависимости от жалкого замысла автора, от посредственности актерских сил, а просыпавшиеся так, как просыпается жизнь в нагретой солнцем воде”.

Эта тема и в том, что здесь, в "Лике", герой, подобно герою с тростью из другого рассказа, забывает свои башмаки. Эти-то башмаки надев, и стреляется его бывлой мучитель. Для садиста Колдунова белые ликовы башмаки становятся знаком минутного приобщения к некоей подлинной жизни. И оказывается, что эта несчастная, одинокая, бездомная, нищая жизнь Лика — она-то и есть подлинность. Лик оказывается человеком, знающим некий запасной выход или подозревающим о нем. Тогда как судьба мстит Колдунову именно за отсутствие этого знания, этого духовного подозрения. Пистолетный выстрел для него — не переход в иное измерение, а тупая и черная точка.

Композицию рассказа "Лик" я назвал бы флюсообразной: начало повествования, излагающее содержание некоей пьесы "Бездна", весьма условно связано с серединой и концом рассказа, герой мог бы актером и не быть, безымянные театральные коллеги Лика проходят по горизонту рассказа бесплотными тенями, не индивидуализируя как-то особенно ликово одиночество; середина и конец рассказа связаны с судьбой Колдунова и никак не замыкаются ни на театр, ни на содержание пьесы. Все это говорит о том, что рассказ этот мог бы быть разъят на самостоятельные части, каждую из которых можно прикрепить к другому сюжету. Можно ли в этом случае говорить о Набокове как о создателе именно *рассказа*?

"Ultima Thule", "Тяжелый дым", "Набор", "Памяти Л. И. Шигаева", "Лик" – все это, как мне кажется, лишь сброшюрованные страницы некоего (или неких) нематериализованного произведения. Явись какой-нибудь набоковедческий Кювье, и он, глядишь, восстановит по этим обломкам замышлявшееся целое, но пока, *в ожидании Кювье*, мне не кажется случайным, что не нашлось исследователя, который увидел бы в рассказах Набокова некий иной жанр, требующий самостоятельного изучения.

Почему же Владимир Набоков все-таки печатал свою прозу этими небольшими кусками?

Нет ничего удивительного в том, что небольшое произведение искусства есть небольшая вселенная, повторяющая главные черты большой. Но затем и придумываются нащокинские домики, что гармония малых элементов по какому-то психологическому закону эмоционально более информативна.



Ольга КЛИМЕНКО

Десять лет*

12.

Местные врачи объясняли мою болезнь возрастными изменениями организма, гинекологу меня так и не показали. Что было делать? И к кому обратиться?

Подошел июнь 1950 года.

Однажды в субботу меня вызвала вольная медсестра и сообщила, что ей приказано "принять от меня корпус". На другой день объявили: "собираться с вещами". Сборы лагерные недолги. "Сидор", то есть вещевого мешок, за спину, в руки - небольшую корзиночку с мелкими вещами. Причина этапирования, как всегда, неизвестна. "Как-то я доеду и где окажусь?" - мелькало в голове. Ведь я совсем больна. Но кому до этого дело? Выехали в час дня на грузовой машине: человек десять мужчин и я - одна женщина. На вокзале выгрузились. Как всегда, конвой с автоматами и собаками. Опять "столыпин". В вагоне почти сплошь эстонцы, которых везут на Север. Вот уже третий год везут и везут этих эстонцев, впечатление такое, что весь народ куда-то переселяют, а Эстонию ликвидируют вообще.

Вологда. Опять "черный ворон", опять знакомая пересылка, голые нары и новые тюремные знакомства. Но на этот раз в тюрьме я пробыла недолго - всего двое суток. Выяснилось, что меня опять направляют в лагерь "Сокол", где я уже когда-то была. В Сокол на этот раз нас повезли на

* Окончание. Начало в №№ 157 и 158(90).

грузовой машине и доставили в Новый лагерь, где раньше размещались немецкие военнопленные. Прошло более пяти лет, как я покинула Сокольский лагерь, но кое-кто из прежних обитателей оставался там, и встретили меня просто восторженно. На другой же день я была назначена заведовать стационаром в женской зоне. Дело в том, что с 1950 года женские и мужские зоны в лагерях были разделены. Вероятно, тут сыграло роль большое количество беременных женщин и рождающихся детей. Ведь беременная женщина почти на полтора года выбывала из строя как рабочая единица, да и рождающиеся дети требовали соответствующей обстановки, а следовательно и затраты больших средств: постройки детских домов, домов младенца, оборудования, отопления, услуги, одежды, кормежки. Кроме того, эти дети рождались вольными и лагерный режим вроде бы не мог быть к ним применен.

Что же до лагеря, то он, по сравнению с другими "лаг-пунктами", находился в прекрасном положении. Он снабжал рабочей силой все наиболее значительные промышленные предприятия гор. Сокол: бумкомбинат, молокозавод, лесобиржу, сплавную биржу, а также совхоз и пр. Комплектовался он обычно заключенными 1 и 2 категории, т. е. сильным рабочим контингентом. Эти рабочие бригады помогали выполнять и перевыполнять планы предприятий, к которым они были прикреплены, приносили высокие проценты выработки, неплохо зарабатывали (после введения хозрасчета, т. е. с 1950 года) и пользовались на месте работы - особенно на бумкомбинате - относительной свободой. Рядом с заключенными работали "вербованные". Девушки из "вербованных" влюблялись в красивых заключенных парней (часто - бывших фронтовиков). На складах лесной биржи, среди баланов, штабелей бревен, досок устраивались уютные гнездышки, где можно было по очереди назначать любовные свидания. Очень часто девушки приносили туда водку и закуску, и на время лагерная "холостая" жизнь мужчин становилась не такой уж грустной. Каждый вечер по возвращении бригад с работы меня вызывали на вахту обследовать того или другого арестанта - "выпивши" он или нет. Я

не понимала своей роли, так как сам вид "обследуемого" говорил за себя: он еле стоял на ногах, а изо рта его несло как из бочки. Уличенный в пьянстве обычно без всякого сопротивления отправлялся отсыпаться в изолятор, а на другой день, как ни в чем не бывало, выходил со своей бригадой на работу. Каждый вечер повторялась одна и та же история.

С "работягами", особенно специалистами, начальство считалось. Давались выходные дни. Питание было значительно лучше, чем в других лагерях. Имелся ларек, где можно было купить незатейливые сладости, нитки и даже дешевые туфли. В зоне были клумбы и на них много цветов. Вследствие ли этих улучшенных условий или же того, что этот лагерь имел общение с "вольным" миром, люди выглядели более бодрыми, отсутствовала страшная атмосфера обреченности, уныния и мертвящей покорности, так присущая другим лагерям.

Помещение для женского стационара, рассчитанное на 30 человек, отвели очень хорошее, в угловой части последнего барака. Четыре светлые палаты, кухня, уборная. Перед окнами клумбы, цветы. Большое крыльцо, на котором так хорошо было сидеть по вечерам, прислушиваться к далекому лаю собак за забором, ко всяким ночным звукам засыпающего лагеря. С далеких лесов тянуло прохладой, дымком горелого торфа.

...Но вот однажды - в начале сентября 1950 года - я встала утром и через полчаса потеряла сознание от страшной потери крови. Прибежавшие врачи встревожились, мое положение было признано угрожающим. Через некоторое время, когда я немного оправилась, меня под конвоем отправили на осмотр в городскую поликлинику, к врачу, которая обнаружила у меня опухоль и признала необходимой срочную операцию. Операцию же можно было сделать заключенному только в областной больнице МВД, в Череповце, откуда меня только недавно привезли. Через две недели вечером я с небольшим этапом, как бы с "оказией", была направлена обратно в Макарьину Рощу. На этот раз этап состоял из двух женщин и опять человек десяти

мужчин. На простой телеге ехали попеременно я и очень больная девушка лет 18 (она вскоре умерла у меня на руках, чуть ли не скоропостижно). Опять котомка за плечами, опять вологодский вокзал, опять "вагонзак", он же "столыпин", опять "черный ворон", та же пересылка и общая вонючая камера. К счастью, врач Полина Соломоновна на другой же день перевела меня в тюремный стационар, где я пробыла до отправки в Череповец дня три-четыре. Наконец, вечером 18 октября нас вызвали на этап и той же ночью мы прибыли в Череповецкую больницу. Положили меня в тот же 9-й корпус, где я несколько лет пробыла сестрой и где теперь работала бездушная врачиха Образцова. Мелочный и склочный человек, она была к тому же никуда не годным врачом.

Оперировал меня хирург капитан Образцов, ее муж. Это был, собственно, военный хирург, и с гинекологическими операциями он, видимо, был мало знаком. Перед операцией он сам очень волновался, искренне хотел мне помочь, но... то ли по его неумению, то ли из-за его желания "сохранить во мне женщину", как он впоследствии объяснял (вероятно, это была только отговорка), через три года мне пришлось снова лечь на операционный стол, но уже в областной больнице в Вологде, и перенести вторую операцию, еще более тяжелую.

Итак, 17 ноября 1950 года в 11 часов утра я лежала на операционном столе в Череповце. Помню последний вопрос покойного доктора Орлова, вскоре умершего в лагере, прекрасного врача и человека (он давал мне наркоз): "Что, Константиновна, - так называл он меня, - очень страшно?" В эту минуту я вспомнила весь ужас пережитого: арест мужа и мой, тюрьму, одиночки, потерю семьи и дома - страшной этого уже ничего быть не может.

"Тюрьмы и аресты страшнее всего", - ответила я ему.

Очнулась я уже под вечер. Первые дни самочувствие было тяжкое - какая-то прямо смертная тоска, но постепенно здоровье вроде бы стало налаживаться, и три недели спустя, в очень холодный декабрьский день меня отправили об-

ратно в Сокол. Везли нас в кузове открытой грузовой машины на вокзал. Я была еще очень слаба, и трогательно было видеть, как и во время поездки на машине, и в поезде мои товарищи-заключенные старались всячески помочь мне: несли мои вещи, подсаживали в поезд, на руках снимали с машины. Прибыла я в Сокольский лагерь накануне Нового года. По прибытии я отправилась к своему врачу, молодой докторше Ю. Поблагодарила ее за участие - она поцеловала меня и пожелала мне скорее поправиться и начать работать. Мне казалось, что мы с ней были одни в комнате, но на другой же день она была вызвана к "оперу" и получила разнос - как она смела поцеловать заключенную...

На Новый год мы устроили в стационаре маленькую елочку, украсили ее бумажными игрушками, которые сами же клеили, а вечером испекли пирог с повидлом и таким образом встретили праздник.

Когда с 1950 года лагеря стали переходить на хозрасчет, мне "положили" 50 рублей в месяц. Это была неслыханно большая сумма, и мне удалось сделать себе кое-что из одежды. Но относительно спокойный сокольский период внезапно кончился. Весной нам объявили, что наш лагерь ОЛП-3 - один из самых старых лагерей Вологодской области - ликвидируется. Причину мы узнали уже впоследствии: оказывается, Бумкомбинат счел для себя убыточным пользоваться заключенными в качестве рабочей силы. Содержание людей, а главное, конвоя и круглосуточной охраны лагеря оказалось экономически настолько невыгодным, что бывали дни, когда заключенных не выводили на работу за зону, так как Бумкомбинат не хотел оплачивать "человековывод" или не находил для них работы.

Еще до официального объявления пронесся слух, а по лагерному - "параша", что лагерь закрывают. К тому же, сторожевые собаки отчаянно выли по ночам, а это считалось самым верным признаком, что лагерю конец. Действительно, последовал приказ - сперва об этапировании из Сокола всех женщин. И началось: этапы через день по 50-70 человек - людей рассовывали по другим лагерям. Через

месяц, к концу июня, в женской зоне, состоявшей из пяти длинных барачков, осталось всего 8 человек, в том числе и я. Последние две недели пришлось работать в мужской зоне в амбулатории, а жить одной в самом крайнем бараке, у забора, вдвоем с чудным котом Рыжиком. Признаюсь, мне было очень жутко по ночам. Утром я уходила в мужскую зону на работу, там и обедала, вечером возвращалась в свой барак, и Рыжик неизменно встречал меня у ворот женской зоны, терся об ноги и ласкался, как собака, словно чувствовал, что скоро останется один в опустевшем лагере. Мы шли с ним "домой", я кормила его и укладывалась спать; Рыжик - у меня в ногах, на одеяле. В бараке было пусто, шуршали мыши, гулко отдавались шаги. Было тревожно и неуютно. От мужской зоны меня отделял шаткий дырявый забор. Наконец, в середине июля отправили отсюда и меня.

Жаркий июльский день. Доотказа напихали нас в столыпинский вагон: дышать нечем, воды нет. Наконец, прибыли в злополучную вологодскую пересылку (ух, в который раз!), а оттуда через пять дней поездом нас отправили в Шексну, - на железнодорожной платформе доставили опять в лагерь, где я пережила столько горя и неприятностей. Ввели в зону. Боже мой, что случилось с лагерем! Всюду мерзость запустения, поломанные мостки, облупленные, полуразвалившиеся бараки, засохшие клумбы...

В 1950-1951 годах снова начались гонения на "58-ю статью". Пришел приказ не назначать заключенных по этой статье на мало-мальски "ответственные" должности, так что путь на работу в стационар или амбулаторию для меня был закрыт. К физической работе после перенесенной тяжелой операции и семи лет лагерей я была уже мало пригодна... Единственным местом, единственным лагерным учреждением, куда я могла устроиться в качестве няньки, был дом младенца.

нием областной больницы лагерей Управления МВД Вологодской области, там же находился и дом младенца для "лагерных детей". Вначале это было несколько бараков, куда помещались грудные дети, прибывшие вместе с арестованными матерями, и дети - плоды лагерной любви, то есть случайных и мимолетных встреч и связей - где-нибудь в уборной, предбаннике и т. п. Тут же неподалеку помещался барак-"родилка". Из "родилки" дитя поступало в ясли, а кормящая мать - в общий барак для "мамок" (так их называли: не мать, а "мамка", это было официальное название). На кормление эти "мамки" должны были 6 раз в сутки ходить к ребенку. Барак их отстоял от дома младенца довольно далеко, и на последнее кормление в 12 часов ночи, как и на первое в 6 утра, женщины приходили обычно сонные, всклокоченные, злые. То ли вследствие этих хождений, то ли от специфического тюремного режима - сна, не раздеваясь, на нарах, однообразного питания, беспокойства, - молоко у них быстро пропадало, и детей приходилось кормить искусственно всякими смесями, давая им витамины и пр. Эта еда готовилась на детской кухне. Кто только не воровал и не кормился в ней! Пакет на детей отпускался очень хороший, и бытовые условия были, вероятно, не хуже, чем в яслях на воле, но... весной 1951 года случилась странная эпидемия - дети стали умирать массами от каких-то неизвестных и таинственных причин... Умирали они как-то молниеносно, внезапно, один за другим, иногда по трое-четверо в день. Врачи были хорошие, но они приходили в отчаяние от невозможности понять причины этой эпидемии и от невозможности что-либо сделать. Из Вологды и из Москвы приезжали всякие комиссии, обследовали, опрашивали, каждая из них вносила какое-либо предложение, предлагали, например, строить для детей палатки на воздухе, переводить их в другие помещения, но это не помогало. Дети продолжали умирать. Еще в 1948 году здесь начали строить специальный Дом младенца в два этажа. Строили не один год, видимо, и здесь лагерная "туфта" играла немалую роль. Заведующей домом назначили врача только по названию: военную врачиху, недалеко вообще и

совершенно безграмотную в медицинском отношении, к тому же глухую. Она, как попугай в клетке, сидела в своем кабинете, куда периодически вызывала для разноса очередную няню или медсестру и записывала ей куда-то выговор, причем чернила и бумагу для выговора вызываемая должна была приносить с собой. Никаким авторитетом эта заведующая не пользовалась, даже минимальными организаторскими способностями она не обладала и жила, по ее же собственному выражению, только "по приказу". Она очень неохотно, из-за моей политической статьи, приняла меня на работу на должность медсестры, но с оплатой санитарки - 22 рубля в месяц, - чтобы прокурор не придрался, как она заявила мне. Пришлось согласиться - выхода не было. Работать надо было подряд 24 часа, через сутки. На меня и двух нянек было возложено обслуживание 50-60 детей. Няньки сбивались с ног, и мне приходилось работать заодно с ними. Кормить четыре раза в день, гулять, укладывать спать, сажать на горшки, менять ночью пеленки и, кроме того, проводить всякие медицинские процедуры. К утру, к концу смены, прямо круги ходили перед глазами...

Сдав смену, уходила в барак и как мертвая сваливалась на койку до 6 часов вечера. Затем обед, прогулка по территории лагеря, иногда я вышивала (надо было что-то подзаработать) и часов в 10 ложилась спать до утра, т. е. до следующей смены.

Самое тяжелое в этой работе было общение с матерями. Большинство их принадлежало к преступному миру; во всяком поводе они начинали "качать права", за всякую царапину или прыщик у ребенка с кулаками кидались на персонал, угрожали и даже били. Крик, ругань, вопли были обычным явлением в детском доме.

В октябре меня неожиданно перевели на молочный донорский пункт, т. е. на приемку и распределение грудного молока. Шесть раз в сутки я должна была приходить туда, распределять детей по кормилицам и записывать, по разнице в весе ребенка, количество отданного ими молока. Тяжелая это была обязанность. Кормилиц не хватало, дети болели, им без конца вводили пенициллин, потом у них

по неизвестным причинам начиналась дистрофия и они начинали умирать... Особенно тяжело было зимой: вставать в 5 часов утра, по разрушенным мосткам и сугробам тащиться в Дом ребенка, где меня встречали невыспавшиеся, грубые, грязные, злые "мамки" и многоголосый плач голодных и больных детей.

У одной из "мамок", махровой рецидивистки, была девочка месяцев семи-восьми Риточка - случайный лагерный ребенок, необыкновенно грустный, молчаливый, с недетским взглядом. Она никогда не плакала. В часы кормежки, когда матери брали детей в "кормилку" (специальную комнату), а мы проветривали палаты, я брала эту девочку к себе на колени и так сидела с ней за весами. Мать ее, как правило, или находилась постоянно в карцере, или бродила где-то с "кавалерами", а ребенок был брошен на произвол судьбы. Со временем все, да и я сама, привыкли к тому, что Риточка как бы принадлежит мне, и она кроме меня никого не хотела признавать и ни к кому не шла. Однажды ее беспутная мать явилась ко мне после очередной "отсидки" в изоляторе и вдруг обратилась со следующим предложением: "Ольга Константиновна, знаете что... Когда освободитесь, возьмите к себе Риточку, а я буду воровать и все вам приносить. Я ведь классная воровка и обеспечу вас обеих, вам и работать не надо будет..."

- Милая моя, - сказала я ей, - где-то я буду сама, будет ли у меня еще крыша над головой!..

В лагерях зачастую очень порядочные и хорошие женщины тоже старались обзавестись детьми. Это давало возможность хоть попасть под очередную амнистию для матерей, которая бывала раз в 3-4 года, разумеется, только для "бытовых статей", - и таким образом освободиться из заключения до срока. Кто может их винить в этом!..

Обычно осенью происходила отправка детей, достигших двухлетнего возраста, в детские дома. В лагере поднимался настоящий вой. Это матери прощались с отрываемыми от них детьми. Они лезли на забор, плакали, кричали; кричали и дети. Картина была душераздирающая. Другие женщины бежали к воротам смотреть, как "детей отправляют!"

- всё же некоторое развлечение для лагеря в его однообразной жизни.

Неожиданно в апреле 1951 года нас всех - 58-ю статью - было приказано снять с работы в пределах лагеря и всех до единого направить на "общие работы" (чисто физический труд) за зону. Это было большой удачей, так как в мае началась массовая смертность детей: конечно, в этом постарались бы тотчас же обвинить "58-ю статью". Меня как инвалида и хорошего работника взяли на работу в амбулаторию, но "вне штата", то есть без всякой оплаты, - опять "чтобы прокурор не придрался". Я должна была вести утренний и вечерний прием по 50 человек - проводить всевозможные медицинские процедуры. Мне в помощь была придана полуграмотная акушерка, грязнуля и дура, но она официально числилась "в штате" и получала 80 рублей, поскольку у нее была 136-я статья (нелегальный аборт со смертельным исходом). Мне приходилось постоянно исправлять промахи этой акушерки, а больные, которые знали меня по прежним местам работы в лагерях, все шли ко мне, и таким образом нагрузка оказывалась двойной. Но я была рада, что хоть работаю по специальности, и не просила ничего. В свободное время я вышивала кофты на продажу - этого хватало на молоко и на мыло, но купить себе три метра ситцу на сарафан я уже не могла.

14.

В начале августа приехал начальник санотдела лагерей Вологодской области капитан Большаков. Он знал меня по работе в Соколе и хорошо относился ко мне. Узнав, что я работаю бесплатно и "вне штата", предложил штатное место в Соколове (не Сокол), одном из самых отдаленных лагерей Вологодчины, в районе Кубенского озера. Мне оставалось два года заключения. Пробыть два года в лагере без материальной помощи извне было очень трудно, и я согласилась. И вот - вновь "с вещами на вахту!", потом в обществе воров и бандитов "вагонзак" (эти вору и бандиты

очень предупредительно и безвозмездно несли мои вещи), и я прибыла снова в пересылку.

На этот раз в камерах пересылки было немного народу. Я лежала на нарах и читала. Здесь я познакомилась с очень интересной женщиной из г. Дорогобужа. Ее дед был преподавателем математики, она тоже кончила математический факультет Московского университета и жила с мужем и сыном в Москве. Во время войны и муж, и сын были призваны в армию, а она - эвакуирована в Сыктывкар и там с помощью какого-то сексота ("секретного сотрудника", т. е. тайного агента органов госбезопасности) попала в лагерь по 58-й статье. В лагере она пережила тяжелую дистрофию. Сын погиб на войне; домой она не писала, не желая причинять неприятности родным, так что ни они о ней, ни она о них ничего не знали. Спасло ее в лагерях то, что, будучи математиком по специальности, она давала уроки (тайно) какому-то начальнику, и жена его, также втихомолку, подкармливала ее...

По освобождении она вернулась в Москву, остановилась у кого-то из родственников и там узнала, что ее муж, научный работник, жив, работает в Тимирязевской академии, но, ничего не зная о ней в течение десяти лет, женился на другой. Она решила пойти к нему на работу, вызвала его в вестибюль. Этот человек, с которым она счастливо прожила 20 лет и от которого имела сына, сначала не узнал ее, - а когда узнал, очень обрадовался и в дальнейшем стал помогать ей, но новую жену не оставил, не желая, вероятно, в полной мере связать себя с женщиной, отбывшей заключение по политической статье, и таким образом испортить свою карьеру.

Что же это? Рок, судьба или государственная политика?

Поездка на пароходе для арестанта всегда праздник. Когда ранним утром пароход, которым меня везли, входил в Кубенское озеро, его противоположные берега едва вырисовывались вдаль. Внезапно с левого борта открылся крошечный островок, соединенный с берегом узкой перемычкой земли, и на нем полуразрушенный монастырь - постройки розоватого цвета. Оказывается, это знаменитый Спасока-

менный монастырь XVI века. Рядом с ним маленький скит - общежитие монахов. В середине дня вошли в реку Кубенку - узкую, тинистую, с поросшими лесом берегами. Невеселое место...

Наконец, прибыли к пристани и выгрузились на берег. На берегу - развалины какой-то церквушки. Кругом крапива, пасутся козы. Пыльно, сонно, безлюдье. Улеглись прямо на траве. Конвоиры со скандалом добыли телегу и лошадь, погрузили наши вещи, и мы двинулись в путь. Идти надо верст 15-16. Я давно не делала таких больших переходов, понадеялась на свои силы, но уже скоро стала отставать, задерживая партию и конвоиров. Один из них сжалился и посадил меня "временно" на телегу.

Дорога идет полями. По пути деревни в 6-10 дворов. Описать их вид невозможно. Очевидно, в этих краях разорение достигло предела. Покосившиеся избы без сараев и дворов, полусгнившие колодцы. Даже кур не видно на улице. В пыли возятся маленькие дети - оборванные, грязные, рахитичные. Они с трудом поднимают обросшие волосами головы и безучастно провожают нас глазами. Ни собачьего лая, ни мычания коров. Точно чума прошла по этим жалким селеньям. А ведь это был кондовый богатый край: рыба, лес, пашни, тучные луга. Помещиков в этом краю не было.

Россия, родная страна, что случилось с тобой!

Дорога размыта дождями и изгажена трактором. Двигаемся медленно. Лошаденка еле тащит жалкие арестантские пожитки. А тут еще я ее обременяю! Но вот в долине показались какие-то постройки. Слава Богу! Лагерь! Наш лагерь!

День был воскресный, и все население лагеря высыпало нам навстречу. Как обычно, кругом знакомые лица (за восемь лет где-нибудь да встречались), но сердце у меня сжалось недобрым предчувствием. Лагерь инвалидный - одни старухи и больные-хроники. Контингент - либо колхозницы, осужденные за мелкие колхозные кражи, либо 58-я статья - интеллигентные старухи, едва ли не худшая разновидность заключенных, лодыри, сплетницы, лицемерки и подхалимки, мающиеся вынужденным бездельем и скукой. Кому и зачем надо было держать в заключении и хоть

скудно донельзя, но бесплатно кормить уйму безвредных, впавших в полуживотное состояние инвалидов, так и осталось для меня неясным по сей день.

Процедура прибытия в лагерь - обычная: баня и в этой же бане ночлег на полу. На завтра, 3 сентября, "комиссовка". "Комиссует" начальник санчасти, на вид робкий, бесхарактерный человек, и очень красивая молодая женщина-врач - татарка Шамситдинова, осужденная по 58-й статье. Я была уверена, что после 8 лет заключения и тяжелой операции буду причислена к инвалидам, поэтому спокойно отнеслась к очередному освидетельствованию и не очень-то прислушивалась к репликам врачей. Перешла в жилой барак. Он был переделан, видимо, просто из хлева. Лагерь весь был расположен в низине. Кругом топь, старые прогнившие мостки, под ногами хлюпает вода. Старухи, бредущие по мосткам, то и дело оступаются в лужи; кругом нечистоты и грязь.

Уборные на улице на десять очков - тоже полуразрушенные, вонючие. Лагерный бык Букет через день вывозит нечистоты в бочке за зону. И в бараках вонь, грязь, теснота, сырость, прогнившие полы, старые нары, кишасшие клопами. Узкие, как полагается в хлеву, тусклые маленькие оконца. Кажется, хуже трудно себе представить. Если в рабочих лагерях проявлялся хоть какой-то минимум заботы о людях как о рабочей силе, то здесь - одни инвалиды, ценность которых для государства равна нулю, отсюда и отношение властей к лагерю. К тому же, в других местах заключения работа до некоторой степени поддерживала бодрость духа и не давала окончательно опуститься. А здесь голодные, озлобленные, одуревшие от безделья и полной беспросветности старухи грызлись между собой с утра до вечера. Большинство из них давно потеряло связь с внешним миром, близких людей, у них не осталось ничего, что придает жизни хоть какую-то ценность. А ведь многие из них пришли в заключение еще не старыми женщинами, имели мужей, детей, друзей, были, вероятно, любящими женами и матерями. Здесь были и жертвы 1937-38 годов, и жертвы оккупации, раскулаченные украинки, потерявшие детей еще в

тридцатых годах где-то на Украине или на Севере, жертвы коллективизации и пострадавшие за религию... Как перечислить! Скажу просто - кого только не было здесь, кого только не казнила советская власть!

Меня поместили на нижних нарах рядом с очень славной старушкой-колхозницей лет семидесяти. Она одна, оставшись вдовой, подняла четверых детей, всю жизнь трудилась на своей крестьянской полосе, а потом в колхозе, но... ходила в церковь. Все пошло по шаблону: зависть, клевета, донос, арест, заключение, суд, приговор: 58-я, политическая статья, стандартные десять лет. Эта низенькая, кругленькая старушка трогательно заботилась обо мне, как привыкла заботиться о ком-то, кто был рядом, всю свою жизнь. Когда я приходила с работы измученная, мокрая и грязная, она ходила за моим ужином, грела его, поила меня своим чаем и сушила мою одежду.

Угол, в котором я жила вместе с Александрой Ивановой, был "плебейский". Там гнездилась 58-я статья, так сказать, "крестьянская". Жить там было проще. Никто не интересовался моим прошлым, никто не заговаривал о нем. Приходя с работы, я могла, закрывшись с головой одеялом и притворившись спящей, не ввязываться в ссоры и сплетни. Читать было невозможно. Днем оконца едва пропускали свет, а вечером одна маленькая лампочка под потолком слабо освещала этот жуткий барак, эти сцены похуже горьковского "дна".

Но я забежала вперед.

Подошел вечер того дня, когда происходила "комиссовка". Устроившись на узких нарах, я уснула. Сквозь сон слышала сигнал подъема в 6 часов утра, но решила, что ко мне он не относится. Вдруг кто-то громко окликнул меня: "Клименко, что же вы спите, на работу пора!" - "Куда?" - спрашиваю. "За зону, куда же еще, на общие работы, - вам же дали 2-ю рабочую категорию". Вот так сюрприз! Нарядчица-горбунья, старая лагерная крыса, нехотя согласилась дать мне день на сборы, то есть дать возможность подыскать подходящую одежду и обувь... Днем же выяснилась причина того, что мне все же присвоили "рабочую кате-

горию", то есть не сочли инвалидом. Врачиха-татарка, "комиссовавшая" меня, знала о моей работе медсестрой в лагерях и постаралась сплавить меня на общие работы за зону, чтобы не допустить здесь в санчасть. Ну что же, подумала я, попробую! Но первый же день убедил меня, что работать с 7 утра до 5 вечера на общих физических работах я уже не в силах. Работы эти были самые разнообразные: я подносила к сушильной печи кирпичи, рубила кусты (расчистка леса), пилила дрова, жала, вязала снопы за жнейкой, копала картофель. Утром в 7 часов выходила с бригадой за ворота: на ногах "шанхай", старый ватник на плечах.

Начиналась осень. Холодный ветер пронизывал одежду, добирался до тела. Часто срывался мелкий осенний дождь. Почва под ногами вечно болотистая, глинистая. В обед из лагеря привозили баланду из трески с картошкой и кашу. Обедали в поле прямо на земле и отдыхали один час. В пять часов вечера "съём" - и уже рассыпным строем, уставшие, бредем назад в лагерь, "домой". Самым тяжелым было все же ожидание перед воротами, пока внешний конвой сдаст нас внутреннему надзору. Эти стоянки перед воротами были мучительны, особенно под дождем. Укрыться некуда - отойти нельзя, холодные струйки дождя стекают за ворот ватника, обувь размокла и отяжелела, от стояния ноют натруженные за день ноги. Наконец, о счастье! Ворота как бы нехотя раскрываются, все опрометью несутся в барак. Сбрасываем с себя всю мокрую амуницию и обувь, дневальные барака уносят ее в сушилку (если она топится), наскоро тут же на улице умываемся и бежим в столовую, где каждый бригадир кормит свою бригаду. Опять баланда из соленой трески с картошкой и неизменная овсянка, еще дают добавочное блюдо - кусочек той же соленой трески. Эти кусочки по приходе в барак старательно растирали с чесноком и подсолнечным маслом (у кого оно было) и ели с хлебом. Так изо дня в день.

Но и здесь не обошлось без добрых людей. Кое-кто из старух помнил меня по работе в больнице, - помнили, как я помогала им, кормила и давала отдохнуть хотя бы вре-

менно от тяжелой лагерной жизни, и, жалея меня, помогали на работе: когда они жали, я ставила суслоны, таскала снопы, складывала в штабели дрова, т. е. выполняла работу, где не требовалось особенных навыков и физической силы. Кроме того, мои напарницы были заинтересованы в выработке норм, то есть в жалких грошах, которые платили за это, я же знала, что никаких норм выполнить не могу и отдавала сделанное мною бригаде, иначе говоря, работала бесплатно.

Прошло недели две, я еле таскала ноги, кроме того, начал болеть низ живота. Жизнь становилась почти невыносимой, но как всегда, когда бывает уж очень тяжело, дальше некуда, - внезапно приходит облегчение. Возвратился из отпуска начальник лагеря Козенко, знавший меня по Соколу и по Шексне. В сумерки как-то я собралась и с бьющимся сердцем направилась в "штаб", к нему в кабинет. Он принял меня приветливо, сказал, что даст распоряжение "перекомиссовать" меня, и добавил: "Постараюсь подыскать вам работу по силам". Обнадеженная, я вышла от него, и действительно на другой день Шамситдинова вызвала меня в санчасть и с кривой улыбкой вписала в мой формуляр категорию "инвалид", для чего ей не понадобилось даже заново освидетельствовать меня. Мне сразу, как говорится, полегчало. Эта категория давала возможность ходить на работы за зону через день или вовсе не ходить, но я решила, что через день все же буду присоединяться к "своей" бригаде, чтобы не погрязнуть в паутине барачной жизни. Работа в лагере - единственное спасенье, единственный залог, что как-нибудь дотянешь до "звонка". Я поступила, как в дальнейшем оказалось, правильно. Несколько раз Козенко объезжал объекты работ, видел меня в поле на жатве, на переборке картошки под дождем. Я не хотела даром есть лагерный хлеб и, сколько было сил, работала.

Подошел октябрь 1952 года. Однажды утром меня вызвал начальник ЧИС* и сказал, что администрация лагеря пред-

* "Часть интендантского снабжения".

лагает мне место заведующего вещевой каптеркой. Я сперва растерялась - работа была совершенно незнакомая. Но эта должность в любом лагере давала много преимуществ. Во-первых, мне выделили отдельную трехметровую комнатушку с печкой, то есть отдельный, свой угол, во-вторых, - положили зарплату в 75 рублей, в-третьих, - я приобрела некоторый лагерный "социальный статус", что, пожалуй, было самым важным достижением, ибо ограждало от многих беспричинных оскорблений и издевательств, давало возможность сохранять или, верней, охранять остатки человеческого достоинства.

На первых порах работа показалась мне трудной. Боясь запутаться, я без конца считала и пересчитывала весь сданный мне инвентарь, не умела обращаться с амбарной книгой, не умела делать отчеты, но постепенно дело наладилось. Я выпросила с общих работ одну инвалидку - бывшего бухгалтера, платила ей из своей зарплаты 15 рублей и питалась с ней вместе. Она усердно помогала мне, и дело пошло гладко. Ни скандалов, ни нареканий на меня не было. Я старалась вовремя обеспечить заключенных и обувью, и теплой одеждой. Свою "кабину" площадью три метра на метр, примыкавшую к каптерке, я постаралась прибрать поуютнее. Немало зависти возбуждала я, обладательница этой "кабины", и на самом деле была в ней счастлива. Я оставалась по вечерам одна, могла читать, вышивать и предаваться воспоминаниям о далеком прошлом, о доме, о детях...

Наступил март 1953 года - памятные для всех заключенных, да и не только для них дни. Смерть Сталина мгновенно отразилась на лагерной жизни. Точно впервые за десятилетия открылась какая-то отдушина, в которую проник слабый ветерок свободы. Начальство стало заметно вежливее и человечнее относиться к нам, а мы несколько осмелели, предчувствуя близость перемен. Уже с апреля, после объявления амнистии (только для "бытовых" статей, и то не для всех), так называемой "бериевской", стало ясно, что лагеря в том виде, как раньше, существовать едва ли смогут: значительная часть рабочей силы их покидает, а 58-я, политическая статья доживает последние дни, ее пред-

ставители на 3/4 вымерли, а остальные за долгие годы заключения выдохлись окончательно и выжимать из них что-то еще трудно. По амнистии выпускали по 30-40 человек в день. Никто из них не желал оставаться в этих местах работать по вольному найму. Близлежащему совхозу, насчитывавшему 300 голов скота и пользовавшемуся лагерной рабочей силой, грозила катастрофа. Несколько десятков старух-инвалидов, имевших 58-ю статью, было увезено в Вологду, а человек тридцать более молодых, в том числе и меня, срочно "расконвоировали".

Я не хотела ни за что брать пропуск за зону, так как знала, что никакой физической работы выполнять уже не могу, а никакой иной за зоной не было, да и на что мне было это проявление "доверия" на десятом году заключения!

"Опер", т. е. начальник отдела слежки за заключенными, битый час уговаривал меня: "Поймите, нам сейчас дорог каждый человек «без штыка»!" "Доигрались", - подумала я. В конце концов меня уговорили взять пропуск для работы на ферме в качестве фельдшера и... повара.

15 мая десятеро заключенных, в том числе и я, двинулись за повозкой, на которой лежал наш скарб и восседал начальник этой "подкомандировки" - 2-й фермы, в дорогу за 10 верст от лагеря. Мне очень много раз в жизни приходилось бывать в лесных местностях, но таких лесов, такой непроходимой глухомани, таких страшных буреломов и каких-то первобытных чащоб я еще не видела.

На пути обогнули две малолюдные деревни. Грязный и унылый, полудохлый колхозный скот на полях, полуразрушенные амбары и риги. Сквозь крыши и щели в бревнах уже проросла трава. Одинокий трактор тащится по плохо вспаханному полю...

К вечеру из угрюмого леса вышли на довольно обширную поляну. Вдалеке виднеется серый двухэтажный дом и несколько маленьких избушек, в которых, видимо, живет конвой и начальство. Около дома грязные серые бараки - скотные дворы. На сотню коров и телок - две пастушки и на 30 лошадей - два конюха (все женщины), четыре человека

для полевых работ, одна уборщица и я. Вот и весь персонал, которому предстоит жить здесь впредь до особого распоряжения о нас.

Очень быстро я поняла, что мои обязанности повара не-легки. Я должна была вставать в 5 часов утра и к семи часам готовить пищу для десяти человек: наполнять котлы водой, разжигать плиту, чистить ведро картошки, варить овсяный кисель или кашу. Потом мыть посуду и готовить обед из двух блюд: баланды из трески и каши, а вечером еще раз варить кашу. Для меня эта работа была очень тяжелой, хотя мне помогала уборщица.

Кроме своих десятиерых заключенных, я потихоньку из остатков нашего жалкого пайка кормила председателя колхоза, который должен был принять от нас в дальнейшем ферму, и его голодающую семью из пяти человек. Сам председатель, одноглазый мужик, был до ужаса худ и неизменно голоден, а жена его, женщина неопределенного возраста с измученным лицом и ввалившимися глазами, подбирала буквально все объедки из мисок, корки и тресковые головы, и варила из всего этого похлебку для своих голодающих, заморенных ребят. Два раза в неделю я должна была ходить за продуктами и накладными в центральный лагерь. Босиком, по болотистой дороге, через страшный буреломный лес, в котором водились медведи и волки и, хуже того, рыси, брела я одна туда и обратно - 20 верст. Обратно я еле-еле тащилась, а главное боялась этого страшного бора. Раза два я сбивалась с пути. Ни одной души мне ни разу не встретилось. Кругом стеной стояли мрачные ели и громадные деревья цветущей черемухи. Все это понизу заплеталось кустами дикой смородины.

Дом, в двух комнатах нижнего этажа которого мы разместились, представлял собой унылую развалину. Наверху, во втором этаже, незадолго до нашего прибытия повесилась женщина, и это наполняло наше жилище еще бóльшим страхом. Дом кишел крысами огромных размеров. Они носились по коридору, прыгали на кровати, столы, дрались, визжали, не обращая внимания ни на нас, людей, ни на кошек, которых обитало в доме чуть ли не десяток. После нашего

отъезда, после того, как увели в колхоз весь скот, эти коты бросились за пищей в лес и там совершенно одичали.

Однажды ночью мы услышали какие-то тяжелые шаги в коридоре. Время было после "бериевской" амнистии, и в окрестностях, по слухам, "пошаливали" темные люди. Мы все страшно испугались, никто не решался выглянуть из комнаты. Я наконец зажгла свечу и вышла (будь что будет!), и что же - оказывается, с улицы в дом вошла лошадь, она зашла в уборную и не могла оттуда выбраться...

По вечерам мы все забирались на свои койки и пели унылые старинные песни. Так прошло два тяжелых месяца, и наконец пришло распоряжение всех нас, около 30 человек, оставшихся в лагере на время его ликвидации, направить в Вологду. Опять потащились мы за повозкой, в которой везли наши "сидоры" и восседал конвоир - уже без оружия. Из лагеря на другой же день нас отправили на пристань: ворота ненавистного лагеря открылись перед нами, нас выпустили в последний раз и ворота остались навсегда открытыми.

Быть пусту. Быть пусту месту сему!

15.

Дорога до Вологды оказалась тяжелой, потому что нас всех втиснули в трюм. Там было очень тесно и жарко. Изредка по очереди разрешали выходить наверх - глотнуть свежего ветра. Опять то же Кубенское озеро, безмолвный Спасокаменный монастырь... В колонии в Вологде нам пришлось переспать только ночь, а на завтра две доотказа нагруженные пятитонки отвезли нас в совхоз "Паприха", в 20 верстах от города по Грязовецкому шоссе.

Раньше это было имение какого-то князя; соседняя деревня называлась Княгинино. Местность очень живописная - холмы, овраги, перелески, большой пруд. Лагерь новый, расположен вблизи проезжей дороги и состоит всего из двух строений, обнесенных колючей проволокой. Глухого забора, как в других лагерях, пока что нет.

Здесь застало меня 9-е июля 1953 года. Утром по радио объявили правительственное сообщение об аресте всесильного Берия. Это было, как взрыв бомбы. Измученная, раздавленная "58-я статья" впервые за 30 лет подняла голову и взглянула в лицо своим мучителям. Нас выстроили на линейку. Вышел начальник и обратился к нам со словами: "Слышали сегодняшнее правительственное сообщение?" - "Да, слышали", - тихо разнеслось по фронту.

- Есть вопросы?

- Да, много...

- Идите сейчас и спокойно работайте. Вечером поговорим.

Конечно, никакого разговора вечером не состоялось, да и что могли нам сказать эти наши начальники? И о чем могли мы их спросить?

Вся наглая оперчекистская свора вроде бы присмирела и стушевалась. Сама лагерная администрация, над которой также тяготела механическая система всепроникающей слежки и доносов, почувствовала бóльшую свободу в действиях, смогла по собственному усмотрению назначать и выбирать подходящих работников, не согласовывая их кандидатуры с операми. На "политическую статью", т. е. на нас, начинали смотреть как бы иными глазами... А здоровье мое все ухудшалось.

2 декабря по моему заявлению, поданному еще в конце лета, вольнонаемная медсестра Нечаева повезла меня и еще двух девушек в Вологду к гинекологу. Грустное это было путешествие.

Мы отправились на станцию еще до рассвета. Дорога шла полем. Скользя и падая, добрались мы наконец до пустой, холодной и грязной железнодорожной станции. Сели в такой же грязный и холодный поезд и в 7 часов были в Вологде. Город моей скорби, в который раз ты встречаешь меня! По пустынным улицам окраины пришли в фельдшерскую школу. Пришлось ждать часа полтора. Наконец, после долгих переговоров и согласований нас приняла молодая врач-гинеколог. Вокруг нее толпилось человек десять практикантов. Долго и внимательно она меня осматривала

и, наконец, усевшись за стол, написала направление в областную больницу с диагнозом: "рак шейки матки". Я прочла диагноз. На душе стало как-то холодно: ведь оставалось всего полгода до освобождения!

Двинулись дальше: надо было получить в тюрьме разрешение обратиться в областную больницу. Медсестра, которая сопровождала нас, позволила подождать ее в каком-то недостроенном доме на Советском проспекте, где мы укрылись от ледяного ветра. Когда через час или полтора она возвратилась, мы все побрели в больницу. Там меня должна была осмотреть доктор Волкова - как говорили, первоклассный специалист. Молодая, энергичная женщина, Волкова сразу же подтвердила первоначальный диагноз и заявила безоговорочно, что срочно нужна операция - у них в больнице.

- Какой коновал вас оперировал? Зачем браться за дело, которое не умеешь делать! - раздраженно произносила она. И добавила про меня:

- Приведите ее ко мне, не позже чем через неделю. И передайте вашим начальникам, что за всякое промедление они будут отвечать. (Это было уже нечто совершенно новое!)

Милая, дорогая Полина Петровна, спасительница моя! Только благодаря ей я дотянула до конца "срока", смогла увидеть своих детей и еще много лет прожить около них, "на воле". Как я счастлива, что смогла в дальнейшем хоть чем-то отблагодарить ее за доброту, решительность и великую помощь, оказанную мне!

Неделя ушла на сборы, "сдачу дел", и вот 10 декабря утром меня отправили в Вологду. Денег у меня было очень мало, всего рублей 40. По прибытии переночевала в тюрьме. Тревожные мысли одолевали меня в эту ночь, на чужих нарах. Предчувствие было такое, что на этот раз я едва ли выкарабкаюсь - и это за полгода до освобождения, до выхода "на волю". Неужели придется умереть заключенной, "и никто не узнает, где могилка моя", как поется в лагерной песне?

Днем вольнонаемная медсестра Виноградова повела меня

в областную больницу. Идти было далеко - с окраины в центр города, мимо замерзшей пристани, мимо дома № 3 по Советскому проспекту, где я жила с ребятами после выезда из Ленинграда...

В больнице повели наверх, на 4-й этаж. Мест свободных не оказалось. Положили в коридоре на раскладушке. Наутро на обходе врач Волкова очень приветливо заговорила со мной и распорядилась перевести меня в палату. Начались расспросы больных: кто я, откуда, где живу. По малодушию я скрыла, что я арестантка, отвечала, что живу в Турундаеве (район тюрьмы) на частной квартире, что родных в Вологде у меня нет.

Потянулись обычные для больницы дни с их однообразным распорядком. Тяжело и одиноко было в приемные дни: к больным приходили родные, сидели с ними, приносили "гостинцы", тогда я закрывала голову одеялом и старалась не думать о своих...

К нам в хирургическое отделение привезли как-то женщину-колхозницу лет 45. Через несколько дней, после обследования, выяснилось, что у нее, по-видимому, злокачественная опухоль, болезнь запущена и операция уже бесполезна. Часто по ночам я слышала, как она ворочается, вздыхает, - я тоже очень волновалась в ожидании операции и тоже не спала по ночам. Как-то, когда все в палате заснули, эта женщина подошла к моей койке и тихо спросила:

- Очень у меня тяжело на душе, - можно с вами посидеть - разрешите?

- Конечно, - ответила я. - Давайте поболтаем тихонько, скоротаем время.

- Я хочу вам рассказать одну вещь. Очень она меня мучает. Вы человек образованный, может, растолкуете мне. Вот мне, видно, операцию делать не будут. Поздно, говорят. Наверное, меня судьба или Бог за одно дело наказывает?

Я, видите ли, замужем никогда не была. Жили мы вдвоем с матерью в колхозе недалеко от Красавина, что на Северной Двине, не доезжая до Котласа. Может, слышали? У нас в Красавине большие мануфактурные фабрики, старинные, ткацкие. Ну вот, я в колхозе была свиаркой. Знатной сви-

наркой. Свинофермой заведывала. Мои портреты в районной газете помещали. Лучше меня никто не умел молодняк выращивать. Совсем падежу не было. Премия почти каждый квартал получала - поросеночка. В войну знаете как это важно было! Мы с мамашей его выкармливали, а мясо продавали и жили очень хорошо, - зажиточно, можно сказать. Голоду не видели.

Зимы в войну, может, помните, были все лютые. А сви-нарники надо ведь отапливать, чтобы молодняк не померз, а дрова - самим заготавливать, и в лес ездить, и валить деревья, и возить, и пилить, и колоть - всё самим. Мужиков-то ведь не было. Привезем эти дрова, а топить ими - одно горе: сырые, шипят, а тепла нету. Думаем, замерзнут наши поросятки. Беда! На собрании сказали всё это председателю, он подумал и говорит: "Я вам завтра хорошую растопку пришлю, как-нибудь справитесь". И верно, назавтра подъезжают к нам к свинару к двум подводам, а на них иконы верхом навалены. Ризы-то да оклады сняты - одни доски. И большие и маленькие - разные. Сидим мы у печек, колом топором эти доски - иконы-то, и смотрим, как огонь-то лики угодников Божьих пожирает. И боязно нам, и смутно, да что поделаешь. А лица-то у некоторых такие красивые, особенно у женщин, а одёжа так выписана - всё золотые кружева, и глаза глядят как живые.

Как-то раз вечером заходит к нам одна старушка. Не наша колхозница, а чужая: видно, пришла в колхоз что-то менять на продукты. Увидала она, как мы иконы-то жгём, и говорит: "Ах, девки, девки, накажет вас Бог - не за то, что вы лики святых огню предаёте (теперь и живых людей в печах жгут!), а за то, что вы такую красоту, людьми созданную, такое художество уничтожаете". Села она около нас и стала нам рассказывать: весь род её - и деды, и прадеды были богомазы из Сольвычегодска. "Знаете вы, - говорит, - как этих самых богомазов раньше уважали. Они больше артелью работали. Где храм строят, их приглашали расписывать и с большим почётом встречали. Каждый рад был их на квартиру пустить. Люди всё были серьёзные, непьющие. А какие мастера были! Мой дед был строга-

новскому письму обучен, много он храмов расписал и икон. У нас на Севере храмов много было, и всё богатые храмы строили. В одном Устюге 29 церквей на берегу Сухоны купцы понаставили одна возле другой, да и по селам много старинных церквей стояло. А вот вы это художество, что люди произвели, в печке сжигаете...”

Вот мне всё теперь кажется, что, может, я хоть невольный, а большой грех совершила и болезнью неизлечимой оттого заболела, - со вздохом закончила моя соседка по палате. - Что вы мне на это скажете?

Что я могла ей ответить?

Большим потрясением было для меня такое событие: однажды утром радио сообщило о расстреле группы ”врага народа и изменника Родины Берия”. Слушала я спокойно, и вдруг помимо моей воли спазмы сдавили мне горло, слезы начали душить меня и безудержно полились из глаз... Началась настоящая истерика - первая и, кажется, единственная в жизни. Прибежали сестры, врач начал успокаивать, давать валерианку, бром. От этого приступа я страшно ослабела.

Наступил день операции. Перед этим главным врачом Василевским* был приглашен из Ленинграда (явление еще за год до того совершенно невозможное) консультант из Онкологического института специально для меня. Узнав, что я заключенная, он особенно тепло и внимательно отнесся ко мне, убеждая после осмотра, что я совсем поправлюсь и буду еще счастливо жить на воле. Давно я не чувствовала такого участливого отношения! Как быстро задул этот теплый ветер, как мало нужно было для того, чтобы люди - те, кто еще оставался способным на это, - опять стали людьми.

После операции, проведенной под общим наркозом, я проснулась в палате уже под вечер. Как и после первой операции, очень тяжелы первые два дня. Никакими словами не

* Выяснилось, что Василевский был знаком с моим братом Романом, тоже врачом, работавшим в этих местах и погибшим перед войной в авиационной катастрофе.

передаваемая тоска. Минуты кажутся часами. Говорили, что операция прошла удачно, но оказалась очень сложной, возможны и в дальнейшем некоторые осложнения. Действительно, через несколько дней начались мучения с едой. Особой диетической пищи в хирургическом отделении не было. Кормили, в общем, хорошо, но эту жирную пищу есть я не могла, а принести мне домашней еды было некому. Самым тяжелым были расспросы больных: кто я и откуда, почему не ходят ко мне знакомые, если уж нет родных? - и т. д. Кто угощал соленым помидором, кто рыбой. Почему-то я все время мечтала о кусочке лагерной трески, но, разумеется, никто не мог мне принести ее.

15 января меня выписали из больницы - снова в тюрьму. Сама начальница санчасти на простых дровнях приехала за мной. Был холодный день; едуци, я очень продрогла в своей старой телогрейке, хотя лошадь бежала быстро, и мы прибыли довольно скоро. Открылись тюремные ворота и впустили меня. Доживу ли я до того дня, когда они закроются навсегда за мной? Поместили в маленький лагерный стационар, и вдруг я почувствовал себя дома. Неожиданно оказалось, что люди, окружавшие меня до болезни, как я считала, безразличные ко мне, очень тепло встретили меня: каждый день кто-нибудь приходил навестить, и притом что-нибудь приносил: то рыбы, то киселя, то даже сметаны, неизвестно откуда взявшейся здесь. Мне было предписано как можно больше ходить, и каждый день два часа я ходила днем по тюремному двору, а вечером - взад и вперед по палате. Понемногу здоровье стало восстанавливаться.

28 января, ровно через месяц после операции, за мной приехала из совхоза "Паприха" медсестра Нечаева, чтобы вести меня обратно в лагерь. Она за это время успела получить место в Вологде, уезжала туда со всей семьей и оставляла за мной свое штатное оплачиваемое место: 75 рублей в месяц для заключенного, остававшиеся после вычета денег за питание, "обмундирование" и охрану.

Мы двинулись в путь под вечер. До вокзала надо было ехать на автобусе. В автобус меня какие-то сердобольные люди втащили буквально на руках, - очевидно, я была еще

совсем слаба. Грязнейший, набитый доотказа пригородный поезд подошел к станции Паприха уже в полной темноте. Мы вышли из вагона, и нас сразу же закружила, завертела яростная январская метель. До лагеря надо было идти около четырех верст; дороги не было, только узенькая, занесенная снегом тропинка. Вышли в поле - и сразу же потеряли направление и стали проваливаться в снег до колен.

Страшная слабость охватила меня. Подниматься из сугробов не было сил, ноги перестали мне повиноваться. Медсестра начала плакать: "Зачем я вас повезла, на свою же голову! Вы не дойдете, и я с вами замерзну в поле", - причитала она. "Возьмите меня под руку и ведите, - приказала я ей. - Вы же знаете дорогу, чувствуете ее и доведете меня - что ж хныкать!" Двинулись ощупью. Дорога едва угадывалась ногами, но прошло не больше часу - и показались темные силуэты домов деревни Княгинино. Сестра от радости засмеялась. Еще через час с окоченелыми руками и ногами, занесенные снегом, добрались мы до лагерьной вахты.

Слава Богу! Дома! Добрались домой! Меня не ждали, но когда я, едва дыша, ввалилась в свою секцию 58-й статьи, с какой радостью встретили меня все мои товарки!.. Начались расспросы, сетования. "Как мы волновались за тебя! Никто ничего не сообщал. Думали, что ты уж померла..."

В этих простых русских, крестьянских сердцах еще сохранилось человеческое тепло.

16.

Начинался последний этап моей лагерной жизни.

Вот и весенняя ростепель. По вечерам я выходила на крыльцо и слушала, слушала весенние шумы: капель с крыш, звуки просыпающегося леса, отдаленное мычанье коров на скотном дворе, и думала о том, что я скоро должна буду вернуться в тот мир, в котором жила когда-то. Какой-то он теперь, как он примет меня и как-то приму его я сама? Как встретят меня родные и люди когда-то близкие и зна-

комые, которые, как мне казалось, незаслуженно скоро забыли меня, вычеркнули из своей жизни, как покойницу. Страшно быть мертвой среди живых...

Последние месяцы, недели и дни я, не в пример большинству лагерников, очень старательно работала. Встал вопрос об оставлении меня на работе в лагере по вольному найму, но я, естественно, отказалась, хотя и не знала, как сложится дальше моя жизнь. В свободные минуты без конца вышивала кофты, чтобы собрать побольше денег на дорогу. Удалось сшить приличное платье для выхода на "волю" (говорили, что в Москве и Ленинграде у лиц, одетых в лагерные ватники, милиция часто спрашивает документы для проверки прямо на улицах).

За несколько дней до освобождения мне неожиданно поручили везти в Вологду в городскую больницу заключенную девушку с тяжелой производственной травмой. Машин в лагере не было, пришлось ехать на телеге до шоссе. Оттуда лошадь с телегой завернули обратно. Мимо проносились грузовые машины. Мы "проголосовали", одна машина остановилась. Я объяснила шоферу, что везу тяжело пострадавшую девушку, и попросила подвести нас до города - километров 20. Шофер, молодой парень в военной одежде, охотно согласился, посадил нас к себе в кабину, и через полчаса мы были в Вологде. В дороге я рассказала ему, что мы едем в больницу из лагеря, что мы заключенные, отбываем срок. Остановились у больницы, шофер помог мне вывести мою спутницу, но когда я вынула и подала ему деньги - 5 рублей, он покраснел и сурово ответил: "За кого вы меня принимаете, разве мне совесть позволит взять деньги, мы же все знаем, что многих вас держат ни за что!.."

Вот уж поистине: "глас народа - глас Божий!"

В последние дни своего "срока" я очень сдружилась с одной заключенной - портнихой из Череповца, Натальей Трифоновной Бабенко. Она обещала приютить меня, в случае нужды, у себя на квартире, но ей предстояло освободиться после меня, и это осложняло дело. Вмешалась судьба: пришло постановление о досрочном освобождении Натальи Трифоновны, она вышла на волю за неделю до меня и обещала,

что будет ожидать меня у себя дома. "Все же ближе к Ленинграду", - думала я. Я ничего не знала о своих, но, думая о доме, о детях, старалась усилием воли гнать от себя эти мысли, не задерживаться на них. Что бы ни было, что бы ни случилось за это время на воле, я была ведь бессильна что-либо изменить...

Наступило, наконец, 14 июля 1954 года. Десять лет тому назад в этот день меня оторвали от моей наполовину уже осиротевшей семьи, от маленьких детей. Зачем? Кому это было так нужно?..

Встала рано. Вещи - фанерный лагерный чемодан (на него пришлось сшить чехол, чтобы не привлекать внимания, так как по таким чемоданам сразу же узнавались освободившиеся лагерники) и заплечный мешок - "сидор". Всё было уложено еще накануне. Вышли к вахте. Последний "шмон" - обыск. Простилась с товарищами, некоторые всплакнули. Все желали счастья "в новой жизни". Подошла грузовая машина-трехтонка, погрузились (в этот день освобождалась еще одна девушка - москвичка), поехали. Сопровождал нас заместитель начальника лагеря лейтенант Кожевин. Чудный июльский день. Грузовик быстро несется по Грязовецкому шоссе к Вологде. Уже замелькавшими пригородные деревни. Слева высится большой белый пятиэтажный дом. Узнаю его: это же бывший лагерь Лынострой ("разбойничье гнездо"), в котором я работала в 1946 году! Вот и тюрьма, здесь нам должны выдать справки об освобождении для получения по ним паспортов, - конечно, без права въезда в "режимные города". В последний раз нас впустили в тюремные ворота, и часа через два я уже могла читать и перечитывать в выданной справке: "Отбыла срок 10 лет с 14 июля 1944 года по 14 июля 1954 года. Освобождена в связи с окончанием срока". Вверху надпись: "Видом на жительство служить не может". Получила личные деньги. Всего у меня набралось 630 рублей. Решила вызвать такси и "культурно" отвезти вещи на вокзал. Неожиданно увидела проходившего начальника лагеря Козенко. Подошла к нему и поблагодарила за то, что он помог мне "добросовестно отбыть срок" и не погибнуть в лагерях. Он очень любезно пожелал мне счаст-

ливого пути и между прочим, точно вскользь, бросил: "Вы бы написали в Москву, - думаю, вам разрешат въезд в Ленинград..."

На вокзале я сдала вещи в камеру хранения и решила заночевать в Вологде, чтобы на другой день показаться врачу Волковой, которая меня оперировала. На ночлег устроилась у одной знакомой - бывшей заключенной, которая смогла устроить меня у себя только на полу. Утром отправилась в город, купила мыло, зубную щетку, порошок и... мороженое. На главном почтамте спросила, нет ли писем до востребования. Я ждала письма от старшего сына, написав ему, что по освобождении собираюсь приехать в Ленинград, просила сообщить мне, "кто из них жив" и вообще его соображения по поводу моего возможного приезда. Он, по-видимому, остерегся пока отвечать. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше.

Днем меня приняла Волкова и дала направление в Ленинград, в Онкологический институт на Каменном острове. "Это даст вам возможность прожить в Ленинграде спокойно некоторое время" (иначе милиция могла потребовать выезда в течение 24 часов).

Поезд пришел в Череповец вечером. Опять сдала вещи в вокзальную камеру хранения и пошла к Бабенко на проспект Луначарского. Идти оказалось очень далеко, в самый конец проспекта. У самого городского сада, во дворе, стоял маленький домик. Встретила меня молодая очень миловидная женщина с совсем несовременным лицом - ну, настоящая Лиза Калитина из "Дворянского гнезда". Это была невестка Наталии Трифоновны - Анна Федоровна Васильева. Вскоре пришла и сама Наталья Трифоновна, и женщины очень радушно устроили меня на ночлег.

В Череповце мне надо было постараться получить паспорт, прописаться у кого-либо из знакомых или просто снять комнату "с пропиской" (что было не так-то просто для вчерашнего заключенного) и только уж тогда ехать в Ленинград. Я прожила в Череповце неделю, сняв комнату и прописавшись в селе Рождестве за городской окраиной, у одной знакомой, тоже бывшей заключенной. На следующий

день по приезде я познакомилась с матерью Анны Федоровны и ее другой дочерью - это была чудесная, уважаемая соседями и знакомыми семья с крепким патриархальным укладом. Мать - Капитолина Петровна и две ее дочери - настоящие русские красавицы, увы, совершенно не подходящие к современному типу людей и поэтому, конечно, несчастливые в личной жизни. Сколько внимания, тепла и участия видела я от этой семьи за время моей хотя и недолгой, но трудной жизни и работы в Череповце! Они настояли, чтобы по воскресеньям, когда особенно тоскливо и одиноко было мне в этом чужом городе, я приходила к ним обедать; неизменно на столе кипел и ворковал самовар, "дышали" вкусные пироги, горела висячая лампа... Было так хорошо сидеть всем вместе, читать вслух и разговаривать. Казалось, погружаешься в какой-то давно ушедший мир, где жизнь когда-то шагала бестревожно и не торопясь.

Прошла неделя. Я получила паспорт с "ограничениями", без права проживания в режимных городах, и 22 июля выехала в Ленинград.

Так началась моя новая жизнь. Впереди еще было много разочарований, тревог и хлопот, но судьба, видимо, устала преследовать меня и повернулась ко мне более милостивым "лицом".

Послесловие публикатора

Автор этих воспоминаний, Ольга Константиновна Клименко (урожд. Косинская), родилась в 1899 году в Кронштадте. Ее записки редактируются и перепечатываются еще при ее жизни, но ввиду преклонного возраста автора нет уверенности, что она сможет прочесть и "авторизовать" этот отредактированный материал. Поэтому хотелось бы уточнить, в какой мере он подвергся сокращению и правке.

Прежде всего, из воспоминаний были исключены некоторые рассуждения общего характера. Например, что сказали бы демократично настроенные писатели прошлого - скажем,

Некрасов, "увидев такое мерзкое, патологическое явление, как концлагерь". На эту тему можно писать и фантазировать много, однако представляется, что ценность настоящих воспоминаний - не в подобных рассуждениях, а в тех достоверных фактах, о которых пишет О. К. Клименко. Исключены отдельные сцены тюремно-лагерного быта, повторяющиеся, приведенные ранее эпизоды. Смягчены два-три эпизода, представлявших собой в первоначальном изложении такой ужас, лежащих настолько "по ту сторону добра и зла", что "уже и не страшно". Например, рассказ о саратовской баптистке в изложении О. К. Клименко таков:

"Когда ее взяли в первый раз, в 1934 году, на хуторе осталось четверо детей: две девочки пяти и трех лет, ее сын четырех лет и сын ее мужа - 12 лет. Этот последний изнасиловал ее трехлетнюю девочку и скрылся. Девочка умерла, а четырехлетний мальчик утонул в луже около дома. У меня просто мурашки по спине пробежали - вот одна из миллионов трагедий периода «культы»".

Конечно, следует оговориться, что в таком виде в этой истории самой по себе нет ничего невероятного: ведь арестована была не только эта женщина, соседка О. К. по тюремной камере, но и ее муж, а их дети оказались брошенными на произвол судьбы.

Некоторые сомнения вызывают отдельные истории, услышанные автором воспоминаний от товарищей по несчастью: например, кажется слишком "литературным" эпизод, связанный с иконами.

Однако в целом воспоминания являются достоверными и богаты действительными фактами, характерными для описываемого периода истории России. Если не считать моментов, указанных выше, они подверглись только стилистической правке. Автор работал над ними в Ленинграде в конце 50-х - начале 60-х гг.



Юрий ФЕЛЬШТИНСКИЙ

Разговоры с Бухариным

*Комментарий к воспоминаниям А.М. Лариной
"Незабываемое" (ж-л "Знамя", кн. 10, 11, 12, 1988)*

Мемуары А. М. Лариной, жены расстрелянного в 1938 году Н. И. Бухарина, не могут оставить равнодушными всех тех, кто интересуется судьбой и историей своей страны. Их отличает трагизм и патетика, эмоциональность и динамичность. Интерес читателя к Бухарину (грозный, к сожалению, вылитый в новый культ) понятен. Поиск альтернатив в рамках советской системы неизбежно приводит к Бухарину, как к наименее экстремистски настроенному в двадцатые и тридцатые годы советскому руководителю.

Вопрос о том, можно ли рассматривать Бухарина как альтернативу сталинизму, в целом выходит за рамки настоящей работы. Для историков вопрос об альтернативах в истории вряд ли правомерен: альтернативы возможны лишь для будущего; у прошлого альтернатив не бывает. Но независимо от того, интересуется ли нас Бухарин с исторической или с практической точки зрения, мы изучаем его на основании тех уцелевших источников, которые оставляет нам время. При повышенном интересе к Бухарину, несомненно, важно отделить факты от вымыслов. И поэтому вполне понятно то особенное внимание, которое А. М. Ларина уделила двум эпизодам, описанным в ее мемуарах: разговору Бухарина с Каменевым в июле 1928 г.¹ и беседам Бухарина с Б. И. Николаевским в феврале-апреле 1936 года во время командировки Бухарина за границу.

Запись разговора Бухарина с Каменевым

Имеющаяся запись разговора Бухарина и Каменева, состоявшегося 11 июля, носит конспективный характер. Она уникальна: в научный оборот на сегодня введено всего несколько аналогичных записей бесед советских руководителей. Понятно поэтому, что Ларина уделяет этому документу особое внимание. И те же причины заставляют рассказать историю "Записи" более подробно.

Сам факт разговора Бухарина и Каменева в июле 1928 года А. М. Ларина не оспаривает. Она, однако, считает, что:

1. Разговор происходил под открытым небом, а не на квартире у Каменева (кн. II, с. 118) - вопрос для Лариной немаловажный, так как первое означает лишь "случайный" разговор, а второе наводит на мысль о фракционных переговорах, факт которых Ларина категорически отрицает, поскольку именно их инкриминировали Бухарину как преступление перед партией. Сомнительно, по мнению Лариной, и письмо Сокольников, послужившее "увертюрой" к разговору (с. 121). Ларина оспаривает этот пункт не случайно: предварительное письмо Сокольников Каменеву говорит о заблаговременной подготовке участников - Сокольников и Каменева - к "случайной" встрече с Бухариным. А если так, то речь скорее может идти о "переговорах", а не о "разговоре".

2. По мнению Лариной, "Запись" не точна, а возможно - фальсифицирована, по крайней мере частично (с. 120). Ларина настаивает на этом, так как оспаривает сказанную, согласно "Записи", Бухариным фразу, что о разговоре с Каменевым поставлены в известность Рыков и Томский (что вновь указывает на фракционные переговоры, в чем и был обвинен Бухарин Сталиным и другими).

3. Ларина пишет, что конспективная запись разговора, авторство которой считается принадлежащим Каменеву, сделана не Каменевым, а кем-то другим, так как "вызванный в ЦКК Каменев признал правильность "Записи" "с оговорками" [...] Бухарин признал "Запись" "в основном" (с. 121). Ларина видит в этом еще одно доказательство того, что

документ может быть фальсифицирован (подразумевается, что за этим стоял Сталин).

4. Наконец, Ларина утверждает, что публикация записи беседы Каменева и Бухарина в 1929 г. в меньшевистском "Социалистическом вестнике", выходившем на Западе, была "бомбой гигантской силы", имела провокационную цель, очень повредила Бухарину и никогда не была забыта Сталиным (с. 123) - т. е. в гибели Бухарина виноваты еще и редакторы меньшевистского органа.

Думается, что сегодня можно с бо́льшей определенностью ответить на поставленные А. М. Лариной вопросы, ровно настолько, насколько это позволяют имеющиеся в распоряжении историков архивы.

Совершенно очевидно, и на это справедливо указывает в "Знамени" комментатор мемуаров Лариной историк Б. А. Старков, что разговор состоялся не под открытым небом. В "Записи" сказано, что Бухарин "говорил час без [...] перерывов". Действительно, конспект разговора отнюдь не короток. Ларина пишет: "Бухарин возвращался с заседания июльского пленума ЦК домой вместе с Сокольниковым (оба тогда жили в Кремле). По дороге они встретили Каменева. Остановились и разговорились" (кн. 11, с. 117). Но встреча, конечно же, не была случайной. Сокольников, вызвавший ранее Каменева в Москву, вел Бухарина на встречу с Каменевым. Думается, что встреча состоялась (как и указал на то Каменев) на квартире. Разговаривать под открытым небом было бы крайне рискованно. Бухарин, Каменев и Сокольников находились на территории Кремля. Разговор начался в 10 часов утра, в самый разгар рабочего дня; и собеседники тут же обратили бы на себя внимание. Разумнее было пойти к кому-нибудь домой.

Запись разговора, видимо, точна, по крайней мере настолько, насколько вообще можно говорить о точности любой конспективной записи, сделанной наспех после окончания разговора. Б. И. Николаевский, встречавшийся с Бухариным в 1936 году во время командировки последнего за границу, писал об этом следующее: "Правильность записи разговора с Каменевым Бухарин мне сам подтвердил

в 1936 г., но, правда, с оговоркой о том, что запись эта небрежная”².

Аргументы Лариной в пользу фальсификации документа кажутся очень слабыми. Ларина утверждает, что ”старый конспиратор” Сокольников никогда бы не стал писать Каменеву записки в Калугу, где отсиживали в ссылке последние часы уже реабилитированные Зиновьев и Каменев. Но ”конспиратором” Сокольников был до революции, а не после. К тому же записка была достаточно невинного содержания. Ларина указывает также, что в ”Записи” однажды встречается обращение на ”ты”, в то время как Бухарин и Каменев были на ”Вы”. Но Каменев, записывающий наспех и конспективно, мог просто описаться, употребив по отношению к себе (а не к Бухарину) ”ты” вместо ”Вы”. Считать именно такой сбой доказательством фальсификации документа трудно. Любой, даже самый небрежный фальсификатор позаботился бы о том, чтобы в тексте сходились формы обращения.

Вопрос об авторстве ”Записи” - той, которую показывали Каменеву и Бухарину в ЦКК, и той, которая затем была опубликована, - действительно сложен. Очевидно, что по крайней мере один экземпляр ”Записи” был переслан Каменевым Зиновьеву, для которого Каменев и составлял конспект разговора. Дошел ли этот текст до Зиновьева? Прочитал ли он его? Оставил ли затем в своем архиве или уничтожил? Снял ли с него новые копии? Разослал ли другим? На эти вопросы, к сожалению, нельзя ответить без привлечения материалов архива Зиновьева. Николаевский, начавший изучать судьбу этого документа, но так и не доведший работу до конца³, указывает, что ”Запись” была передана кому-то из троцкистов одним из секретарей Каменева⁴.

А. М. Ларина недвусмысленно намекает, что запись поддельна. Историк Б. А. Старков доказывает обратное, опираясь на копию записи, обнаруженную в коллекции Милюкова в бумагах Пражского архива, вывезенного советским правительством из Чехословакии в СССР вскоре после окончания Второй мировой войны. Между тем история пу-

тешества документа за границу банальна. Троцкисты, получившие от секретаря Каменева этот текст записи, переслали ее Троцкому. Она сохранилась в его архиве в материалах 1928 года. Нужно отметить, что в архиве Троцкого лежит еще читабельный не первый экземпляр машинописи, напечатанный убористо, через один интервал. Значит, перепечатка делалась не специально для Троцкого; иначе Троцкий получил бы первый экземпляр. Видимо, "Запись" была получена Троцким в сентябре-октябре 1928 г.⁵, когда тот находился в алма-атинской ссылке. Все упомянутые в "Записи" лица давно уже порвали с ним отношения. К Бухарину Троцкий относился отрицательно как к "правому"; Зиновьеву и Каменеву, изменившим ему и капитулировавшим перед Сталиным и Бухариным, не доверял. Поэтому Троцкий был заинтересован в том, чтобы обнародовать "Запись". Этим он, с одной стороны, компрометировал "правых"; с другой - Сталина и его сторонников.

Наконец, Троцкий, предавая документ огласке, мог надеяться еще и на то, что окончательно рассорит Сталина с правыми и толкнет его влево⁶. В конце концов, Троцкий мог мстить лично Бухарину: именно Бухарин, видимо по поручению Политбюро, известил Троцкого о высылке его и его семьи в Алма-Ату⁷. Руководствуясь этими или сходными соображениями, Троцкий дал указание еще находившимся на воле своим единомышленникам отпечатать "Запись" в виде листовки⁸. Когда именно Троцкий распорядился об этом - не вполне понятно⁹. Похоже, что троцкисты "на местах" долго не решались выполнить инструкции¹⁰ и отпечатали запись разговора в виде прокламации лишь 20 января 1929 года. Дату эту не следует считать случайной: 20 января Троцкому была предъявлена под расписку выписка из протокола Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 18 января 1929 г. о высылке его за пределы СССР¹¹. Листовка троцкистов вышла с предисловием, написанным, как вспоминал Л. Седов, Воронским¹². Она была озаглавлена "К партийным конференциям. Партию с завязанными глазами ведут к новой катастрофе" и подписана "Большевики-ленинцы"¹³ - так называли себя оппозиционеры-троцкисты.

Именно эта январская публикация троцкистов и была, пользуясь выражением А. М. Лариной, "бомбой гигантской силы"¹⁴.

О том, что это было действительно так, свидетельствует документ, датированный 20 марта 1929 г.: "Внутри право-центристского блока. (Письмо из Москвы)"¹⁵. Составленный, безусловно, троцкистами, документ в июле 1929 г. был опубликован полностью в первом (сдвоенном) номере "Бюллетеня оппозиции", который начал издавать после высылки из СССР Троцкий. Из этого крайне интересного документа следуют, по крайней мере, два важных вывода. Похоже (и тут А. М. Ларина совершенно права), Сталин был заинтересован в обнародовании документа и пошел на переиздание его в типографии ЦК для сведения актива партии¹⁶. По свидетельству документа от 20 марта, "сталинцы торжествуют: на их долю выпала полная и легкая победа" - "Запись" свидетельствовала о фракционном сговоре "правых" с "левыми". Кроме того, документ от 20 марта 1929 г. показывает (и тут прав историк Б. А. Старков [кн. 11, с. 125]), что встреча Бухарина с Каменевым не была последней (а, может быть, не была и первой): в декабре и январе, еще до публикации троцкистами "Записи"¹⁷, Бухарин снова встречался с Каменевым - у Пятакова¹⁸.

Не исключено, однако, что сведения о переиздании "Записи" еще и типографией ЦК неверны. На это косвенно указывает то обстоятельство, что листовка ЦК отсутствует в западных и, видимо, советских архивах. По крайней мере, советский историк Тетюшев, получивший доступ в Центральный партийный архив, в своей статье о листовке не упоминает, а заимствует информацию из "Социалистического вестника", причем цитирует "Запись" по "Социалистическому вестнику", т. е. в обратном переводе, а не по русскому оригиналу¹⁹.

А. М. Ларина указывает, что "не позже начала осени Сталину уже было известно о разговоре [между Бухариным и Каменевым] и его и его содержании" (кн. 11, с. 119). Доказательством этому, по словам Лариной, служит то, что вбежавший, как ей помнится, к Бухарину в дом с

этой новостью чрезвычайно взволнованный Рыков был в легком пальто и кепке. Если Ларина не ошибается, остается предположить, что разговоров действительно было несколько. Может быть, осенью 1928 г. Сталин узнал о другом разговоре? Не исключено, однако, что Лариной изменяет память; иначе трудно объяснить чем-либо, кроме крайней беспринципности, тот факт, что Бухарин, тут же заподозривший Каменева в доносительстве и обозвавший его "подлецом и предателем" еще ранней осенью 1928 г. (кн. 11, с. 118), - встречался с ним в декабре и январе снова и снова, как свидетельствует документ от 20 марта 1929 г. Наконец, приходится допустить, что о разговоре (или разговорах) Бухарина с Каменевым знал достаточно широкий круг партийного актива, включая Сталина. Вот что пишет об этом Николаевский:

"Вопрос о том, было ли ГПУ или Сталин тогда уже осведомлено о беседе Бухарина с Каменевым, представляет большой интерес. Никаких указаний на этот счет в литературе не имеется, если не считать заявления Луи Фишера (в его воспоминаниях) о том, что он знал об этой встрече на следующий же день: если было так много разговоров, то больше чем вероятно, что [и] Сталин знал. [...] Тогда все поведение Сталина осенью 1928 г. приобретает особый оттенок"²⁰.

Видимо, неправильно предполагать, что члены Политбюро не были склонны к тайным встречам друг с другом или со своими сторонниками. Бухарин не был здесь исключением. Он создал нечто вроде собственного секретариата из нескольких своих учеников - Астрова, Слепкова, Марецкого, Стецкого, Айхенвальда и др. А. М. Ларина справедливо указывает, что Сталин начал расправу с Бухариным с его "школки". Решение это Сталин принял не случайно. Он знал, что его собственная сила заключена в личном секретариате. И, заподозрив Бухарина в создании такого же "секретариата", Сталин начал уничтожать этот "секретариат". Встречи Бухарина с его сторонниками проходили еженедельно, по четвергам, на квартире Постышева. Жена Постышева работала в Институте Маркса и Энгельса, сочув-

ствовала Бухарину. Сам Постышев больше жил в Ленинграде, и собрания проводились в его отсутствие. Бухарин приезжал прямо с заседаний Политбюро и сообщал о новостях. Разумеется, это было лишь подобие "секретариата"²¹.

Выпущенная 20 января троцкистами листовка с "Записью" попала за границу лишь в марте 1929 года, уже после высылки Троцкого и прибытия его в Турцию. Не похоже, что листовку вывозил сам Троцкий (в этом случае в его архиве остались бы какие-нибудь на то указания, а их нет). Судя по всему, А. М. Ларина самой листовки не видела, что не удивительно, так как листовка является большой редкостью. Впечатление, однако, что Ларина не видела вообще никаких текстов "Записи", кроме, может быть, ксерокопии машинописного текста из архива Троцкого в Гарвардском университете²². Так, А. М. Ларина пишет, что "Запись" была издана "20 января 1929 года в троцкистском бюллетене, издававшемся за границей" (кн. 11, с. 119). Но в этот день была издана на русском языке листовка троцкистов. В "Бюллетене оппозиции" Троцкого, который начал выходить в июле 1929 года, был опубликован лишь документ от 20 марта. "Троцкистских" бюллетеней в январе 1929 г. еще не существовало: Троцкий физически находился пока в пределах СССР. Только 24 марта 1929 года германская левокоммунистическая газета "Фольксвилле" (мы можем назвать ее "троцкистской" с известными оговорками) опубликовала на немецком языке "Запись", начиная со слов: "Через час (11 июля..." и кончая фразой: "Их надо спокойно выждать" (последняя фраза - из записки Каменева Зиновьеву, причем оба текста в германской газете были объединены).

Это была не единственная публикация "Фольксвилле" такого рода. В ноябре 1929 г. газета опубликовала рассказ одного из троцкистов о беседе с Радеком, имевшей место в июне 1929 г. во время встречи на каком-то вокзале по дороге в Москву, куда Радек возвращался из ссылки. По словам троцкиста, Радек сказал следующее:

"Положение в ЦК катастрофическое. Правые - Бухарин-Томский - и центровики - Сталин-Молотов - готовятся

к арестам противников [т. е. друг друга. - Ю.Ф.] [...] Блок правых и центра распался, и против правых ведется ожесточенная борьба. Правые сильны. Их 16 голосов могут удвоиться и даже утроиться. В Москве нет хлеба. Недовольство масс [...] Мы накануне крестьянских восстаний. Это положение вынуждает нас во что бы то ни стало вернуться в партию. Наше заявление будет исходить из оценки общего положения в партии и констатирования раскола в оппозиции и будет сопровождаться просьбой об обратном приеме в ВКП. [...] С Троцким мы совершенно порвали [...] Почему он опять вытаскивал перманентную революцию? А если мы завтра сделаем новые уступки крестьянам, он снова будет пугать нас мужиком и кричать о термидоре?"²³

Таким образом, в самом факте публикации "частного разговора" ничего необычного не было. Нужно добавить, что точно так же поступала и советская пресса. Например, 15 января 1928 года "Правда" опубликовала перехваченные ГПУ письма ссыльных троцкистов. Письма были помещены с соответствующей вступительной статьей под громкоговорящим названием "Подрывная работа троцкистов против Коминтерна". Публикация в центральном партийном органе документов уже ссыльных противников, перехваченных к тому же ГПУ, не кажется высокоморальной даже по стандартам партийных устоев того времени. Не лишне будет указать, что в это время редактором "Правды" был Николай Иванович Бухарин.

29 марта 1929 г. в шестом номере органа меньшевиков "Социалистический вестник" был опубликован в переводе с немецкого текст заметки из германской "Фольксвилле". В "Социалистическом вестнике" эта публикация шла под заголовком "Большевики о самих себе". Тот факт, что А. М. Ларина считает, будто в "Социалистическом вестнике" опубликована "не копия первоначального документа, а хорошо отредактированный текст, вполне способный сойти за личную запись Каменева" (кн. II, с. 123), лишний раз подтверждает, что Ларина с публикацией в "Социалистическом вестнике" не знакома. Во введении "Записи" редакция "Социалистического вестника" оговорила, что публикует пере-

вод из немецкой газеты "Фольксвилле"; и это становится очевидно при сравнении немецкого и русского (в обратном переводе) текстов с копией "Записи" из архива Троцкого в Гарвардском университете. Приведенное А. М. Лариной доказательство того, что "Запись" редактировалась чуть ли не самим Каменевым, выглядит наивно: всякий, кто попробует перевести на немецкий жаргонное "мы голоснули", при обратном переводе неизбежно получит стандартное русское "мы голосовали". Ларина же считает, что изменение "мы голоснули" на "мы голосовами" - результат редакции Каменева, а не следствие обратного перевода. 15-й пункт записи беседы Бухарина и Каменева - о Коминтерне - в "Социалистическом вестнике" был убран. Пункт этот, однако, был включен во французское издание "Записи"²⁴. Это означает, что французские оппозиционеры-коммунисты также использовали немецкий текст или же заимствованный у немцев русский оригинал, а не "Запись", опубликованную в "Социалистическом вестнике". Русский изначальный текст листовки троцкистов с записью разговора редакция "Социалистического вестника" получила где-то в апреле и сообщила о ней читателям в № 7 от 4 мая 1929 г., опубликовав те части листовки, которые не были напечатаны 29 марта в обратном переводе с немецкого. Так как листовка троцкистов попала в "Социалистический вестник" вместе с копией документа от 20 марта 1929 г., газета опубликовала еще и выдержки из этого документа.

После издания "Записи" троцкистами, возможного переиздания листовки в типографии ЦК и публикации в немецкой газете перепечатка документа в меньшевистском органе была четвертой по счету. Трудно поэтому поверить, что именно она и явилась "бомбой гигантской силы" и повредила Бухарину. Заявление с объяснением по поводу разговора с Каменевым Бухарин направил в Политбюро и президиум ЦКК 30 января 1929 г. Резолюция объединенного заседания Политбюро ЦК и президиума ЦКК с осуждением действий Бухарина была вынесена 9 февраля. И чем именно повредила Бухарину "перед апрельским пленумом" 1929 г. мартовская публикация в "Социалистическом вестнике" -

не объясняет даже А. М. Ларина. Похоже, что ничем. По крайней мере, о "Социалистическом вестнике" на апрельском пленуме не вспоминали.

Сам собою напрашивается вопрос о том, почему, собственно, редакция "Социалистического вестника", во главе которой стояли высланные советским правительством меньшевики, являвшиеся открытыми политическими противниками и Троцкого, и Сталина, и Бухарина, должна была воздерживаться от издания документа, к тому же кем-то уже опубликованного. Можно подумать, что Бухарин, хоть раз в своей жизни, исходил из интересов меньшевиков. Уже по этой причине претензии А. М. Лариной к "Социалистическому вестнику" по меньшей мере не обоснованны.

Разговоры Бухарина с Николаевским

В конце февраля 1936 года Бухарин по постановлению Политбюро выехал в заграничную командировку для организации покупки у германской социал-демократической партии архивов нескольких немецких коммунистов, прежде всего - архива Маркса. Германские социал-демократы, часть которых после прихода Гитлера к власти эмигрировала во Францию, с одной стороны, нуждались в деньгах, а с другой - не считали, что архивы находятся во Франции в безопасности. СДПГ приняла тогда решение предложить советскому правительству купить архивы. Посредничать в этом деле должны были два русских меньшевика - Ф. И. Дан и Б. И. Николаевский. Участие Николаевского было совсем не случайно. Николаевский пользовался всеобщим уважением как журналист и историк; репутация его как эксперта была бесспорна. Уже после прихода Гитлера к власти Николаевский осуществил вывоз архивов из нацистской Германии во Францию²⁵. Понятно, что именно он и стал играть главную роль в переговорах (которые, впрочем, не увенчались успехом)²⁶.

Но собирателя архивов Николаевского интересовал, конечно же, и сам Бухарин. Пользуясь формальным пред-

логом - обязанностью сопровождать Бухарина - Николаевский следовал за ним почти неотступно²⁷. Историк Николаевский имел поразительную способность выуживать информацию из "интервьюируемого" им человека. Так было и в случае с Бухариным. Хотел ли Бухарин того или нет, но неоднократно оказываясь с глазу на глаз с Николаевским, он вынужден был отвечать на его многочисленные вопросы²⁸. Затем, оставаясь наедине с собой, Николаевский записывал бухаринские ответы. Так родилась легендарная запись Николаевским разговоров с Бухариным. Легендарная, поскольку кроме Николаевского этой записи так никто и не видел. В конце 1936 года Николаевский уничтожил запись из опасений, что она может быть выкрадена ГПУ и использована против Бухарина²⁹.

Вправе ли мы поверить Николаевскому в том, что он беседовал с Бухариным, записал беседу, но уничтожил запись? Думается, что да. Прежде всего, никаких оснований обвинять Николаевского в фальсификациях или преувеличениях нет³⁰. И, наоборот, есть многочисленные свидетельства тому, что Николаевский не гнался за сенсацией. Здесь достаточно привести лишь один пример, имеющий отношение к Бухарину. В самом начале 1941 года, в период советско-нацистского сотрудничества, Николаевский писал в одном из своих писем: "В пятницу виделся с Оффи [...] [Он] рассказывал о своих беседах с Бухариным и пр. (оказывается, Бухарин еще в 1935 г. предупреждал их, что Сталин тянет в сторону союза с Германией!)"³¹.

Через двадцать четыре года Николаевский коснулся этой темы более подробно:

"Между прочим, в свое время Оффи, бывший секретарь [посла США в СССР] Буллита, мне рассказывал, что у Буллита летом 1936 г., вскоре после возвращения Бухарина из Парижа, была тайная встреча с Бухариным в поезде, по пути в Петроград, во время которой Бухарин ему рассказал, что Сталин ведет тайные переговоры с немцами. [...] Я не писал об этом, так как меня интересует не сенсация, а материал о Бухарине. Но должен сказать, что Бухарин мне тогда [в 1936 году] говорил, что Сталин по вопросу о

немцах стоит в Политбюро на особо осторожной [прогерманской] позиции”³².

Об этой встрече Бухарина с Буллитом Николаевский ни разу не упомянул публично. Нужно ли лучшее доказательство тому, что он умел хранить тайну. Только в декабре 1965 года, незадолго до смерти, он опубликовал в журнале ”Социалистический вестник”³³ воспоминания о беседах с Бухариным в 1936 году³⁴. К воспоминаниям о Бухарине Николаевский подошел очень серьезно. Именно поэтому работа продвигалась медленно. Тот факт, что Николаевский был, по существу, последним из живших на Западе людей, которым удалось откровенно (или полуоткровенно) разговаривать с Бухариным, арестованным вскоре после возвращения из-за границы, вносил в работу еще и определенный эмоциональный оттенок³⁵, хотя результатом работы Николаевский доволен не был. Ему все время казалось, что он рассказал не все и не так, как следовало³⁶.

Может быть, с середины 1965 года Николаевский чувствовал себя вправе опубликовать воспоминания о Бухарине еще и потому, что сама А. М. Ларина в мае передала на Запад текст небольшого письма Бухарина, оставленного им перед смертью - ”К будущему поколению руководителей партии”. 25 мая Эдвард Кранкшоу напечатал это письмо в лондонском еженедельнике ”Обзервер” и в журнале ”Нью-Йорк Джорнал-Американ”. Через три дня письмо поместили в немецкой газете ”Цайт”³⁷. Делать из своих воспоминаний тайну у Николаевского более не было оснований. И он дал согласие на публикацию ”интервью”.

А. М. Ларина в своих воспоминаниях ставит под сомнение сам факт бесед Николаевского с Бухариным. Вот что она пишет:

”На процессе Бухарин вынужденно показал, что, находясь в 1936 году в Париже, вошел в соглашение с Николаевским, посвятил его в планы заговорщиков [...]. Тогда же, в марте 1938 года, Николаевский напечатал заявление, в котором это опровергал: ”Все без исключения мои встречи с Бухариным, равно как и с другими членами комиссии

(по покупке архива Маркса. - А.Л.), проходили в рамках именно этих переговоров. Ничего, хотя бы отдаленно напоминающего переговоры политического характера, во время этих встреч не происходило". Но спустя почти три десятилетия, - продолжает Ларина, - в своих воспоминаниях-интервью Николаевский вдруг поведал о разговорах с Бухариным во время его командировки" (кн. 12, с. 123, 124).

Обвинение поистине смехотворное. Неужели Ларина предполагает, что Николаевский в том же 1938 году должен был поделиться с советским судом своими разговорами с Бухариным? Так мог бы поступить только провокатор. Николаевский же терпеливо ждал смерти Сталина. Только после этого он начал упоминать в частных письмах (а не в статьях) о беседах с Бухариным в 1936 году³⁸.

Из мемуаров Лариной может создаться впечатление, что во время командировки она постоянно была с Бухариным: "Разговоры происходили в моем присутствии и носили чисто деловой, официальный характер" (кн. 10, с. 145); "...я свидетель того, что переговоры с Николаевским носили деловой характер, связанный только с командировкой. Лишь одна беседа имела и политический оттенок, однако, Бухарин разговаривал с Николаевским, как его идеологический противник" (кн. 11, с. 167).

Однако Бухарин (и это признает сама Ларина) мог беседовать с Николаевским до ее приезда в Париж, прежде всего во время поездок Бухарина в Копенгаген и Амстердам, где находились части архива Маркса. Ларина пишет: "Я не присутствовала при всех встречах Бухарина с Николаевским, поскольку приехала в начале апреля³⁹, а Н. И. [Бухарин] прибыл из Амстердама в Париж примерно в середине марта. Но я была свидетелем всех переговоров, происходивших после моего приезда" (кн. 12, с. 113). Следовательно, большую часть командировки, с конца февраля до начала апреля, Бухарин провел без Лариной.

Когда умерли участники беседы (и лишь один из них оставил воспоминания), доказать правильность или ошибочность сказанного часто бывает невозможно. Ларина пытается сделать это в отношении интервью Николаевского; и

используемые ею выражения довольно грубы: "лжет" (кн. 12, с. 124), "беззастенчиво извращает факты"⁴⁰ (с. 125), "строит свои фальсифицированные воспоминания" (сс. 125-126). "В заключение хочу рассказать о менее значительных в политическом отношении эпизодах, придуманных Николаевским" (с. 126). И Ларина описывает эпизод, на котором хотелось бы остановиться как на примере обмана памяти. Ларина пишет:

"Поражает сочиненный им [Николаевским] разговор о составлении Конституции [...]. "Смотрите внимательно, - якобы сказал Бухарин Николаевскому, - этим пером написана вся новая Конституция [...]. (Он будто бы вытащил из кармана "вечное" перо и показал его.) [...]" Эти сведения - плод фантазии Николаевского. [...] Николай Иванович [...] "вечного" пера не любил. В Париж эту ручку Бухарин не возил и показывать Николаевскому не мог" (сс. 126-127).

5 апреля 1936 года газета "Последние новости", выходящая в Париже, писала в репортаже о лекции Бухарина:

"Отчеканивая фразы, Бухарин машет ручкой в такт или вытирает цветным носовым платком вспотевший лоб. Он увлекается, пьет воду, запинаясь на трудных французских словах, забывает про аудиторию и не видит, как в глубине зала сыплется вдруг дождь листовок и вспыхивает шум. То манифестируют сторонники Троцкого, требующие освобождения политических ссыльных [троцкистов]. Их быстро выгоняют из зала. Ничего не заметив, докладчик, увлеченный собой, трясет бородкой и громким голосом кончает под оглушительные аплодисменты публики:

- Мы смотрим вперед, расковываем творческие силы человечества!

А в это время на лестнице бьют троцкистов".

Так что "вечное" перо у Бухарина в Париже было с собой. По крайней мере в этом Ларина ошиблась.

Еще один пример, более важный. Ларина решительно отрицает (с. 127) рассказ Николаевского о свидании Бухарина в Париже с Ф. Н. Езерской, предложившей Бухарину не возвращаться в СССР. В одном из писем Николаевский пишет:

"С Бухариным тогда велись разговоры о том, чтобы он остался за границей для издания международного органа "правых". Вела их с ним Езерская, бывшая секретарь Розы Люксембург (ее имя вспоминает Бухарин в "Немецком октябре"). Ее Бухарин знал хорошо и к ней относился с доверием - Езерская мне тогда же обо всем рассказывала, и я хорошо помню, как она резюмировала итоговые замечания Бухарина: я не могу жить без Советского Союза. Он, действительно, знал о многих подвигах Сталина, но считал для себя невозможным уйти с поля борьбы, тем более, что положение он отнюдь не считал безнадежным, так как в Политбюро Сталин еще не имел большинства (требование Вышинского на процессе Зиновьева о суде над Бухариным было отклонено Политбюро)"⁴¹.

Между тем, с Езерской Бухарин был знаком настолько хорошо, что разговоры их могли носить очень откровенный характер. Вот что писала Езерская в письме Николаевскому в 1942 году:

"Бухарин в Берлине в 1930 г. [когда он возвращался из Англии с конгресса научных деятелей. - Ю.Ф.] уговаривал меня пойти обратно в компартию. Я ему долго разъясняла, что вне партии я больше могу сделать, чем внутри, и он согласился, что это так [...], но что вне партии бороться трудно. В конце концов он уже не так настаивал"⁴².

Если Бухарин в 1930 г. мог советовать Езерской вернуться в германскую компартию, то почему бы Езерской в 1936-м не посоветовать Бухарину остаться в Париже?

Наконец, Ларина обвиняет Николаевского в провокации и фальсификации еще и на основании сравнения ею текстов интервью и статьи "Из письма старого большевика", опубликованной Николаевским в декабре 1936 - январе 1937 гг. в "Социалистическом вестнике"⁴³. Однако статья, автором которой действительно был Николаевский, не публиковалась им с провокационной целью, как утверждает Ларина. Ее напечатали анонимно, внешне придав все возможные атрибуты, указывающие на то, что материал получен из СССР, а не составлен за границей. По мнению Лариной, Николаевский специально написал "письмо" так, чтобы в "ста-

ром большевики" читатель заподозрил Бухарина. Сам Николаевский, однако, пишет иначе. Он указывает, что "использовал [в статье] многие из рассказов Бухарина", но не более⁴⁴.

Во всем, что касалось Бухарина, Николаевский был куда осторожнее и предупредительнее, чем это кажется Лариной. И не меньшевики, на долю которых пришлось так много критики в мемуарах Лариной, виноваты в гибели ее мужа, а совсем другая партия, совсем иная система. Удивительно, что для этой критики в мемуарах Лариной не нашлось места. Неужели же и сегодня можно предполагать, что во всем был виноват один Сталин?

Примечания

1. Текст этого документа см. в ж-ле "Обозрение", № 18, июнь 1986 г.

2. Архив Гуверовского института, коллекция Б. И. Николаевского [в дальнейшем: ГА], ящик 508, папка 2. Письмо Б. Николаевского Н. В. Валентинову (Вольскому) от 2 мая 1956 г. 1 лист. Николаевский написал об этом в связи с приговором "шахтинцам". Согласно "Записи" Сталин высказался против смертной казни, а "правые" во главе с Бухариным, Рыковым и Томским - за. Валентинову, старому социал-демократу, симпатизировавшему, конечно же, расстрелянному Бухарину, а не Сталину, в это было трудно поверить: "О Шахтинском деле я слышал от Рыкова, - пишет он Николаевскому. - В беседе Бухарина с Каменевым есть большая ошибка. Бухарин указывал, что Сталин был против расстрела "шахтинских" вредителей, а они за. Тут большая путаница" (ГА, ящик 508, папка 2. Письмо Н. В. Валентинова Б. Николаевскому от 25 апреля 1956 г., с. 1). На это Николаевский и ответил, что Бухарин правильность записи подтвердил, объясняя жесткую позицию правых так: "Там ведь вплетался вопрос о немцах, которых расстреливать Сталин ни в коем случае не хотел" (ГА, ящик 508, папка 2.

Письмо Б. Николаевского Н. В. Валентинову от 2 мая 1956 г., 1 лист), - намекая на связи Сталина и советского правительства с немецкой военной разведкой и армией.

3. См. ГА, ящик 504, папка 34. Письмо Б. Николаевского от 11 мая 1961 г., 1 лист. Историю беседы Бухарина с Каменевым Николаевский собирался опубликовать в 1964 году в подготавливаемом им к печати историческом сборнике (ГА, ящик 510, папка 1). Но сборник так и не был издан. В 1965 году Николаевский все еще собирал материалы для публикации (см. Архив Международного института социальной истории в Амстердаме [в дальнейшем: МИСИ], коллекция С. Эстрина, папка 65. Письмо Б. Николаевского М. Шахтману от 1 января 1965 г., 1 лист).

4. "Как имя секретаря Каменева, который передал троцкистам копию этой записи?" - спрашивал Николаевский в одном из писем (ГА, ящик 472, папка 32. Письмо Б. Николаевского И. М. Бергеру от 6 июля 1961 г., 1 лист). В ответном письме от 26 сентября 1961 г. Бергер о секретаре Каменева ничего не пишет.

5. См. ГА, кол. Николаевского, ящик 519, папка 30. Комментарии Б. И. Николаевского к книге Шапиро. 1958 год. Глава 12, с. 7.

6. Так и произошло, хотя не стоит приписывать эту заслугу Троцкому, а причину "ссоры" Сталина с "правыми" искать в одной лишь неосторожной беседе Каменева и Бухарина.

7. "Я перенеслась в обстановку этих последних дней "рукопашной", - писала позднее в одном из своих писем Н. Седова, - [...] вижу, вижу все с ясностью вчерашнего дня, слышу телефонный разговор Л.Д. с Бухариным - голос его [Троцкого], страстное негодование - отъезд в Алма-Ату..." (МИСИ, коллекция Сары Якобс-Вебер, письмо Н. И. Седовой-Троцкой от 29 февраля 1960 г.).

8. "Очень интересно выходит с беседой Бухарина с Каменевым, - пишет Николаевский бывшему руководителю французской компартии Борису Суварину в письме от 9 сентября 1958 г. - Нашел запись рассказа Л.Л. [Седова] о

том, как отец его [Троцкий] дал приказ публиковать" (МИСИ, коллекция Бориса Суварина. Письмо Николаевского Суварину от 9 сентября 1958 г.).

9. У Троцкого упоминание о разговоре Бухарина с Каменевым содержится в письме от 21 октября 1928 г. Из этого следует, что "Запись" была получена им до 21 октября [Троцкий в Алма-Ате. Десять писем Троцкого. Публ. Ю. Фельштинского. - "Время и мы" (Нью-Йорк), № 90, 1986, с. 188].

10. "Кое-что мне рассказал в свое время Лев Львович [Седов], - писал Николаевский Седовой, - но я тогда его рассказ не записал [...]. Кто точно прислал эту запись в Алма-Ата? Когда она была там получена? У меня в памяти это получение связано с осенью, а печатная листовка с этим текстом была выпущена в январе. Выходило, что печатание задерживали, а Л.Д. [Троцкий] из ссылки настаивал. Верно это?" (ГА, ящик 628, папка 13. Письмо Б. И. Николаевского Н. И. Седовой-Троцкой от 23 декабря 1950 года). Но никаких подробностей Н. И. Седова сообщить не могла, о чем и указала в ответном письме.

11. Подробнее историю высылки Троцкого см. в кн. Лев Троцкий. Дневники и письма. Под ред. Ю. Фельштинского. 2-е доп. издание. Издательство "Эрмитаж", США, 1989. Дополнение 2.

12. МИСИ, коллекция Б. Суварина. Письмо Николаевского Суварину от 12 июля 1958 г.; там же, письмо Николаевского Суварину от 3 августа 1958 г.; ГА, кол. Николаевского, ящик 508, папка 1. Письмо Б. И. Николаевского Н. В. Валентинову от 4 ноября 1955 г., с. 1.

13. К сожалению, мне так и не удалось обнаружить в коллекции Николаевского оригинала листовки, хотя на ее существование он ссылается в ряде писем (ГА, ящик 508, папка 2. Письмо Б. Николаевского Н. В. Валентинову (Вольскому) от 2 мая 1956 г., 1 лист; МИСИ, коллекция Б. Суварина. Письмо Николаевского Суварину от 27 июля 1957 г.; там же, письмо от 9 сентября 1958 г.). Описание листовки дано в "Социалистическом вестнике" от 4 мая 1929 г., с. 9. В коллекции Милюкова в Пражском архиве, видимо, и была

найдена перепечатка с этой троцкистской листовки. Очевидно, по крайней мере, что Милюков никакого отношения к документу или его передаче на Запад не имел и вывод историка Старкова о причастности Милюкова к этому делу неправилен.

14. Советский автор В. И. Тетюшев также указывает на то, что запись была опубликована в январе 1929 года "троцкистами, рассчитывавшими осложнить этим внутрипартийное положение" (В. И. Тетюшин. Борьба партии за генеральную линию против правого уклона ВКП(б) в период между XV и XVI съездами. - Вестник Московского университета, вып. 3, 1961, с. 16). Эта информация взята им из "Социалистического вестника", на который он и дает ссылку.

15. Машинописный текст документа хранится в Гугеровском архиве, коллекция Николаевского, ящик 778, папка 7. Выдержки из документа опубликованы в "Социалистическом вестнике" от 4 мая 1929 г., с. 9.

16. Николаевский, черпая информацию из этого документа, указывает, что "Запись" была переиздана "официально Сталиным" (ГА, кол. Николаевского, ящик 519, папка 30. Комментарии Б. И. Николаевского к книге Шапиро. 1958 год. Глава 12, с. 5-7).

17. Похоже, что конспектирование бесед было не столь уж редким явлением. В архиве Троцкого лежит, например, еле читабельный листок машинописи, через один интервал, не первый экземпляр, который называется "Встреча и разговор тт. К. и П. с Каменевым 22 сентября 1928 года" (Хогтонская библиотека Гарвардского университета, архив Троцкого, фонд bMs Russ 13 T-2630).

18. См. "Знамя", кн. 11, с. 124, где Ларина это отрицает; а также статью Тетюшева, где он, основываясь на публикации в "Социалистическом вестнике" отрывков из документа от 20 марта 1929 г., пишет о встрече Бухарина "с Каменевым, Пятаковым и другими троцкистами" (Тетюшев, указ. соч., с. 16). Никаких "других троцкистов", разумеется, не было, только Каменев, Бухарин и Пятаков (и считать первых двух троцкистами никак нельзя).

19. См. Тетюшев, указ. соч., с. 16.

20. ГА, кол. Николаевского, ящик 519, папка 30. Комментарии Б. И. Николаевского к книге Шапиро. 1958 год. Глава 12, с. 7.

21. См. ГА, ящик 476, папка 34. Письмо Б. Николаевского от 19 сентября 1965 г., с. 1. Николаевский получил эту информацию от Эрика Волленберга. Волленберг был бывшим кадровым офицером германской армии, эмигрировал в РСФСР после подавления восстания 1921 г., в котором он принимал активное участие. В России работал в Красной армии, в военной комиссии при Коммунистической академии. В 1926-28 годах жил в Москве, видимо, на квартире у Постышева, у которого снимал комнату. На собраниях Бухарина со своими сторонниками Волленберг не присутствовал, но знал о том, что таковые происходят. Волленберг был известен как противник Сталина, и от него не особо скрывали. Содержание бухаринских рассказов о заседаниях Политбюро Волленберг, например, знал.

22. По крайней мере два американских историка привезли в свое время в Москву копии архивной "Записи" разговора из архива Троцкого. Думается, что именно по этой копии цитирует А. М. Ларина.

23. Цит. по статье "Радек о положении в России" - "Дни". Еженедельник. Париж, № 65, 1 декабря 1929 г., с. 7.

24. См. публикацию "Записи" во французской левокоммунистической газете "Contre le courant" [Париж], вып. 27-28, 12 апреля 1929 г., с. 12-15.

25. О вывозе Николаевским из гитлеровской Германии германских социал-демократических и русских архивов см. его рассказ в ГА, ящик 470, папка 5. Машинописный текст.

26. Николаевский считал: "что Сталин с самого начала был в оппозиции к этим переговорам, которым Адлер сознательно придавал политический оттенок", составив комиссию из Модильяни, Гильфердинга, Пернсторфера и Дана. Формально в комиссию входил и Леон Блюм, но он не участвовал в переговорах, и Бухарин с ним повидался лишь за полчаса до отъезда к Ориолу, на юг Франции (см. ГА, ящик

479, папка 13. Письмо Б. Николаевского Л. Фишеру от 14 декабря 1965 г., с. 1-2).

27. В многочисленных своих письмах он не раз вспоминал об этом: "Бухарин из Парижа уехал 30 апреля 1936 г. [...] я тогда с Бухариным встречался почти каждый день" (ГА, ящик 508, папка 44. Письмо Б. Николаевского Э. Волленбергу от 11 апреля 1965 г., с. 1). "С Бухариным в течение почти двух месяцев я встречался почти каждый день и очень много с ним говорил на самые разные темы" (ГА, ящик 501, папка 24. Письмо Б. Николаевского С. М. Шварцу от 26 июля 1965 г., с. 1). "У меня с ним было много интересных разговоров в 1936 г., когда он приехал во главе особой комиссии ЦК для покупки архива Маркса, который я вывез из гитлеровской Германии и хранил тогда в Париже" (ГА, ящик 477, папка 36. Письмо Б. Николаевского А. М. Дольбергу от 21 сентября 1957 г., с. 1). "Разговоров этих было очень много: в течение двух месяцев пребывания Бухарина в Париже я встречался с ним почти ежедневно" (МИСИ, коллекция Эстрина, папка 65; также: ГА, ящик 500, папка 29. Письмо Б. И. Николаевского Максусу Шахтману от 1 января 1965 г., 1 лист).

Постоянно встречаясь с Бухариным в 1936 году, Николаевский до конца своих дней так и не смог поверить в то, что в дни пребывания в Париже Бухарин встречался с еще одним эмигрантом-меньшевиком - Ф. И. Даном. Именно поэтому Николаевский считал описанный в мемуарах жены Ф. И. Дана Л. О. Дан эпизод о приезде к ним Бухарина выдумкой. Мемуары эти были опубликованы в мартовской 1964 года книге "Нового журнала". Об отношении к ним Николаевского говорит следующая выдержка из одного его письма: "Ее рассказ не просто неправда от начала до конца - в обеих ее версиях, и в первоначальной, той, которую напечатал Шуб [в "Новом журнале"], и в последней, которую она дала бундовцам с условием печатать [на идиш] только после ее смерти" (ГА, ящик 501, папка 24. Письмо Б. Николаевского С. М. Шварцу от 26 июля 1965 г., с. 1). "Очень предостерегаю от пользования рассказом Л. Дан: этот рассказ сплошная выдумка", писал Николаев-

ский в другом своем письме. (МИСИ, коллекция Эстрина, папка 65; также: ГА, ящик 500, папка 29. Письмо Б. И. Николаевского Максуду Шахтману от 1 января 1965 г., 1 л).

Я попросил Б. М. Сапира, последнего современника тех событий, прокомментировать эти реплики Николаевского. Вот что ответил мне Сапир: "Выпуская в свет материалы из архива Л. О. Дан, я отметил отношение Николаевского к рассказу о визите Бухарина к Дану. Это отношение объясняется, по-моему, не столько враждебностью Николаевского к Л. О. Дан (их взаимоотношения знали взлеты и падения), сколько восприятием его встречи с Бухариным. Николаевский уверовал, что Бухарин открыл ему свою душу и не мог себе представить, что тот скрыл от него свидание с Даном. Николаевский иной раз ошибался в людях, особенно когда он увлекался кем-нибудь. Л. О. Дан не выдумала свой рассказ" (Архив автора. Письмо Б. М. Сапира Ю. Г. Фельштинскому от 18 июня 1989 г., 1 лист).

28. Вот несколько цитат из непредназначавшихся для печати комментариев Николаевского к книге Л. Шапиро:

"Эту свою статью ["Политическое завещание Ленина"] Бухарин писал, уже зная, что троцкисты печатают его беседу, и будучи уверен, что его "Завещание Ленина" явится и его собственным завещанием (это мне говорил сам Бухарин подробно, при этом рассказавший о своих тогдашних беседах с Лениным)". [ГА, кол. Николаевского, ящ. 519, папка 30. Комментарии Б. И. Николаевского к книге Шапиро. 1958 год. Глава 12, с. 9.]

"Бухарин мне говорил, что его брошюра "Путь к социализму" была по возможности точным, "часто буквальным", прибавлял Бухарин, изложением тех мыслей, которые Ленин развивал в начале 1923 г. во время бесед с ним, Бухариным" (там же, с. 10).

"Бухарин назвал Сталина "гениальным дозировщиком", в том смысле, что он "гениально" умеет вводить в организм партии только такие "дозы" своей отравы, которые в этот момент партией будут восприняты, как правильные идеи [...] Эти слова Бухарин [...] сказал в разговоре со мною, - Троцкий в своей книге их употребляет с прямой

ссылкой на меня, хотя он никогда не получал от меня разрешение на использование их в печати" (там же, с. 2-3).

29. "К сожалению, записи наших разговоров я уничтожил в 1936 г., когда ГПУ пыталось похитить у меня архивы Троцкого, но память у меня хорошая", - сообщает Николаевский в письмах (см. МИСИ, коллекция Б. Суварина, папка 1. Письмо Николаевского Суварину от 12 июля 1958 года, МИСИ, коллекция Эстрина, папка 65; также: ГА, ящ. 500, папка 29. Письмо Б. И. Николаевского Максуду Шахтману от 1 января 1965 г., 1 лист). Память у Николаевского была действительно поразительная. "Его особенно сильной стороной является феноменальная, почти "фотографическая" память, - писал о Николаевском Войтинский (МИСИ, коллекция Войтинского. Папка 2. Письмо В. С. Войтинского д-ру Джозефу Х. Виллитсу, фонд Рокфеллера, от 3 февраля 1941 г. На англ. языке). Современника тех событий, хорошо знавшего Николаевского, сотрудника Гуверовского института Сидни Хука (недавно скончавшегося) я спросил о том, насколько следует считать основательными опасения Николаевского относительно возможной кражи в те годы бумаг его архива. Хук ответил, что кражи бумаг политических противников заграничной агентурой НКВД в то время были банальной повседневностью, и опасения Николаевского были более чем оправданны.

30. На мой вопрос, мог ли Николаевский выдумать эпизод с Бухариным, Б. М. Сапир ответил следующее: "Я не знаю ни одного случая, чтобы Николаевский выдумал ту или иную информацию. Он мог увлекаться, он мог быть несправедливым в своих оценках, но выдумщиком он не был" (Архив автора. Письмо Б. М. Сапира Ю. Г. Фельштинскому от 18 июня 1989 г., 1 лист).

31. МИСИ, коллекция Войтинского. Папка 2. Письмо Б. Николаевского В. С. Войтинскому от 15 января 1941 г.

32. ГА, ящик 479, папка 13. Письмо Б. Николаевского Л. Фишеру от 14 декабря 1965 г., с. 1-2.

33. С годами газета "Социалистический вестник" стала ежемесячным бюллетенем. В 1965 году она выходила уже лишь четыре раза в год в виде журнала. Вызвано это было

тем, что старое поколение меньшевиков вымирало. Заменять ушедших было нечем. Декабрьский выпуск журнала 1965 года стал последним. Со смертью Николаевского прекратилось и издание журнала.

34. Бухарин об оппозиции Сталину. Интервью с Б. Николаевским. - "Социалистический вестник", сборник 4. Декабрь 1965, стр. 81-102. Английский текст интервью, вышедший несколько раньше, см. в кн. *Power and the Soviet Elite. The Letter on an Old Bolshevik and the other essays by B. I. Nikolaevsky.* Frederick Praeger publishers, New York - Washington - London, 1965. Черновики этого интервью, представляющие собою машинопись, хранятся в кол. Николаевского, ящик 522, папка 19. Время их написания относится к 1965 г.

35. История написания Николаевским этих воспоминаний легко прослеживается по его письмам. Решение написать воспоминания о Бухарине было принято Николаевским, видимо, в 1959 году (см. ГА, ящик 472, папка 32. Письмо И. М. Бергера Б. Николаевскому от 18 декабря 1961 г., с. 3; там же: Письмо Б. Николаевского И. М. Бергеру от 3 февраля 1961 г., 1 лист; там же: Письмо Б. Николаевского И. М. Бергеру от 30 апреля 1961 г., 1 лист; там же: Письмо Б. Николаевского И. М. Бергеру от 6 июля 1961 г., 1 лист; МИСИ, коллекция Б. Суварина. Письмо Б. И. Николаевского Б. Суварину от 13 июля 1963 г.). Однако в это время начинает давать о себе знать возраст Николаевского. "Моя работоспособность сильно упала", - пишет он в 1963 году (ГА, ящик 504, папка 34. Письмо Б. Николаевского от 31 августа 1963 г., 1 лист). В результате, воспоминания о Бухарине появились не в форме статьи, а в виде интервью, которое давалось по-английски (русского текста интервью вообще не существовало, и в "Социалистическом вестнике" материал печатали в переводе с английского): "Русского текста интервью нет и никогда не было. Надо переводить и притом точно, так как оно выйдет и на других языках, и переводы будут сопоставлять. Для русского издания я дам особое предисловие. [...] Таким образом, надо переводить - если печатать" (ГА, ящик 501, папка 24. Письмо Б. Николаев-

ского С. М. Шварцу от 4 августа 1965 г., с. 1-2). Но даже предисловие для русского издания Николаевский не написал, уже не было сил - оставались считанные недели до его смерти.

36. "Дорогой С. М. [Шварц], - пишет Николаевский в письме редактору "Социалистического вестника", - прилагаю: [...] [английскую] корректуру моего "интервью" о Бухарине. [...] [Северин] Бялер [...] убедил меня дать это "интервью". Но недовольство у меня осталось и теперь, хотя я сильно переработал первоначальный текст, кое-что выбросил, многое прибавил. [...] Этими частями "интервью" я недоволен и в теперешней редакции. Думаю, что причина не только во мне, в моем неумении передать, что я тогда видел и слышал, но и в сложности этого слышанного, в противоречивости настроения самого Бухарина. Бухарин, конечно же, мне говорил далеко не все и не обо всем, к чему его подводили наши тогдашние разговоры, но он, для меня это несомненно, хотел показать, как велико значение того основного, за что он там вел борьбу, а именно - нарастание антигуманистической стихии, которая несет огромную опасность не для России только, но и для всего поступательного развития человечества. И поэтому особенно часто возвращался к этой теме" (ГА, ящик 501, папка 24. Письмо Б. Николаевского С. М. Шварцу от 26 июля 1965 года, с. 1).

"Лучше, чем кто-либо, я вижу недостатки моего "интервью". [...] Я написал к сроку. [...] Переделывать я не могу. Нет времени. [...] Правил много раз. Выслушал много мнений. Очень хотел взять обратно из книги. Помимо всего прочего, в моих глазах тогдашние беседы Бухарина со мною были его завещанием, правда, во многом недосказанным до конца, быть может, в некоторых частях даже недодуманным, но отражавшим его подлинные искания. И даже не его одного лишь. Он совсем не случайно раза два обмолвился: "Мы с Алексеем [Рыковым]". А как-то раз сказал: "Что мы с Вами все торгуемся, давайте поедem куда-нибудь на Средиземное море, я буду писать, что Вы не согласны, Вы пишете то же [самое] своим, и проживем так месяца два, отдохнем и наговоримся вдоволь". Это было

сказано в шутливой форме, но такой, которая не скрывала серьезного зерна. Ему явно хотелось высказаться, поделиться результатами своих многолетних дум, и в то же время он явно боялся говорить откровенно: слишком часто и сильно он за свою откровенность страдал. Один из других большевиков, с которыми я тогда встречался, как-то мне о нем сказал: "Вот, сколько его били, а ему все неймётся!" Таким образом, в известном смысле судьба сделала меня как бы душеприказчиком Бухарина" (ГА, ящик 501, папка 24. Письмо Б. Николаевского С. М. Шварцу от 4 августа 1965 г., с. 1-2).

"Вообще говоря, той моей статьей ("интервью") я очень недоволен: много не сказал, вспоминаю позднее" (ГА, ящик 476, папка 34. Письмо Б. Николаевского от 19 сентября 1965 г., с. 1-3).

37. 28 мая 1965 г., № 21, с. 6.

38. "В том, что Горький был отравлен, я уверен. Бухарин в 1936 г. мне рассказал, что конституцию писал он с Радеком. В числе деталей на мой вопрос сказал, что предполагается легализация союза беспартийных для того, чтобы были другие списки, и что во главе них должны были встать Горький, Павлов, Карпинский, Бах и др. академики. К сожалению, прибавил Бухарин, Павлов и Карпинский умерли. Вскоре умер и Горький" (ГА, ящик 508, папка 2. Письмо Б. Николаевского Н. В. Валентинову (Вольскому) от 1 сентября 1954 г., с. 1).

"Он вел очень решительную борьбу против "насильственной коллективизации", как, впрочем, вели ее и Рыков с Томским.

Бухарин мне рассказывал, как в 1930 г. он фактически покушался на самоубийство - во время поездки на Памир... Знаете ли Вы его статьи 1929 г. в "Правде", где он писал об опасности бюрократического перерождения общества и цитировал Макса Вебера? Мы с ним тогда много спорили, вернее, говорили на эти темы, так как наши мысли работали в одном и том же направлении, но я считал ошибочным говорить о бюрократизации общества, так как термин бюрократия сбивает с толка" (ГА, ящик 477, папка 36. Письмо

Б. Николаевского А. М. Дольбергу от 21 сентября 1957 г., сс. 1-2).

"Бухарин мне рассказывал, что в годы гражданской войны таким представителем [Политбюро в ВЧК] был он. [...] Его представительство длилось во всяком случае до весны 1920 г." (МИСИ, коллекция Б. Суварина, папка 1. Письмо Б. Николаевского Б. Суварину от 27 декабря 1957 г.).

"Бухарин в коллегию ВЧК входил в 1919 г. - он мне рассказывал ряд эпизодов этого времени (дело Штейнгеля, заговор Миллера, дело коммунистки Петровской и др.) [...] Он тогда не был членом Политбюро... В то время было возможно, что не будучи в Политбюро, он его представлял. Он воевал против ВЧК - и Ленин его послал на практике проверить свою критику" (МИСИ, коллекция Б. Суварина. Письмо Б. И. Николаевского Б. Суварину от 17 апреля 1958 г.).

"Вообще же относительно Бухарина я не ошибаюсь. Он мне этот эпизод своей биографии, как и ряд других, рассказывал подробно. Его туда послал Ленин - за то, что Бухарин поддерживал протесты против самоуправства ВЧК. Когда точно, я припомнить не могу, - но мне вспоминается, что это относилось к началу 19 г. Во всяком случае, он был там летом и осенью 19 г. (рассказывал мне, как видел Штейнгеля перед расстрелом, как не допустил расстрела [меньшевиков] Розанова и Потресова и др.). Говорил, что от него зависело вето Политбюро. В это время он еще не был в ПБ, но тогда, при Ленине, дело не было так формально поставлено. [...] Вспоминаю еще, Бухарин говорил, что он скоро отказался - не выдержал. Но это было уже после дела Розанова, т. е. в 20 г." (МИСИ, коллекция Б. Суварина, папка 1. Письмо Б. И. Николаевского Б. Суварину от 16 мая 1958 г.).

"Относительно Бухарина и ВЧК: у меня ошибки быть не может. [...] Он мне определенно говорил, что был именно представителем и что послали его туда по предложению Ленина, как человека, который бунтовал против разгула "красного террора" в конце 1918 г.: "Он много говорит против, - пусть пойдет и сам посмотрит". Бухарин, действи-

тельно, в конце 1918 г., после возвращения из Германии (там его едва-едва не расстреляли - об этом он тоже рассказывал) печатал в "Правде" статьи против ЧК. Он не просто работал в ЧК, а был именно представителем, имевшим право накладывать вето на решения коллегии (он мне говорил, что именно он наложил такое вето на уже состоявшееся решение о расстреле В. Н. Розанова). Приводил много других фактов" (МИСИ, коллекция Б. Суварина, папка 1. Письмо Б. И. Николаевского Б. Суварину от 12 июля 1958 г.).

"«Сталинская конституция» написана Бухариным (он мне сам рассказывал) и принята при оппозиции Сталина (есть рассказ швейцарского коммуниста)" (ГА, ящик 485, папка 23. Письмо Б. Николаевского А. Е. Капралову от 16 сентября 1958 г., с. 1).

"Бухарин мне говорил, что «мы все знаем, что у Ильича можно найти цитаты на все случаи жизни»" (ГА, ящик 496, папка 27. Письмо Б. Николаевского Л. И. Пистраку от 11 октября 1959 г., 1 лист).

"Я опустил [в интервью] почти все его [Бухарина] рассказы о прошлом, о наших общих друзьях и далеко не общих противниках. Ему явно хотелось облегчить душу этими воспоминаниями, особенно из эпохи "красного террора", когда он отказался спасти судебного следователя, хотя к нему пришли и плакали дочери последнего, близкие знакомые Бухарина по гимназическим кружкам, которые [когда-то] выкрали у отца обвинительный материал против Бухарина и тем спасли его от вечной каторги (потом в документальной литературе я нашел доказательства правильности этого рассказа)" (ГА, ящик 501, папка 24. Письмо Б. Николаевского С. М. Шварцу от 26 июля 1965 г., с. 1).

"Бухарин был хорошо осведомлен об этом [двойственном. - Ю.Ф.] отношении Ленина к Сталину и обо всех фактах, которые лежали в его основе. Он мне подробно рассказывал о своих разговорах с Лениным зимою 1922-23 гг., в период, когда Ленин писал "завещание". Как мне Бухарин говорил, главной темой его тогдашних разговоров с Лениным были

вопросы, как он выразился, "лидерогнозии". [...] Бухарин, говоря о "лидерогнозии", вкладывал в свой рассказ об этих беседах с Лениным совсем особый оттенок. [...] Из разговоров с Бухариным я вынес представление, что концепция "пролетарского гуманизма", как таковая, сложилась после событий 1929 г. и в сильной мере связана с личными переживаниями во время поездки на Памир" (ГА, ящик 476, папка 34. Письмо Б. Николаевского от 19 сентября 1965 г., сс. 1-3).

"Бухарин мне в свое время раскрыл секрет, по каким признакам можно узнавать в "Известиях" его неподписанные статьи. [...] Кстати: приказ из Москвы в две недели закончить переговоры с Вторым Интернационалом о немецком архиве пришел около 10 апреля" (ГА, ящик 479, папка 13. Письмо Б. Николаевского Л. Фишеру от 14 декабря 1965 г., сс. 1-2).

"Ключ для нахождения статей Бухарина очень прост: все они набирались особым шрифтом, который только в его годы (1934-36) и встречался в газете. Кроме бухаринских, этим шрифтом были набраны статьи еще только двух-трех человек, но эти статьи подписаны. Все неподписанные, если они набраны этим шрифтом, принадлежат Бухарину. Особенно они важны для недель после убийства Кирова, когда решался вопрос, проводить ли решение, принятое на ноябрьском пленуме ЦК об изменении конституции. Именно об этих статьях шла речь, когда Бухарин упрекнул меня, что мы за границей совсем разучились понимать эзоповский язык. После его отъезда я внимательно их прочел. Действительно интересны, хотя расшифровывать их много труднее, чем говорил Бухарин" (ГА, ящик 479, папка 13. Письмо Б. Николаевского Л. Фишеру от 18 января 1966 г., с. 1).

39. Так вспоминает и Николаевский: "Жена Бухарина приехала, когда мы закончили наши поездки, в начале апреля" (ГА, ящик 478, папка 37. Письмо Б. Николаевского Е. Эстриной от 15 октября 1965 г., 1 лист).

40. Это сказано, кстати, о процессе 1922 года над эсерами. Недостаток места не позволяет коснуться этой темы более подробно. Но создается впечатление, будто во всем,

что не касается судьбы ее мужа и близких ей людей, расстрелянных или отправленных в лагеря Сталиным, А. М. Ларина готова признать безусловную правомерность действий советского правительства. Такой некритический подход со стороны человека, столько пережившего, поистине удивляет. Как можно в 1988 году писать, что ЦК эсеров организовал террористические акты против Урицкого, Володарского и Ленина? "Меньшевики [...] борьбу за свои взгляды вели исключительно пропагандистски, - пишет Ларина, - и за это их никто не судил" (с. 125) - только ни одного не осталось на свободе (а уж как не вспомнить процесс меньшевиков 1931 года - всего за семь лет до бухаринского). "Бывший террорист Семенов [...] к моменту процесса [1922 года] не только раскаявшийся, но ставший членом коммунистической партии" (с. 125). "К моменту" - это во время следствия? И самой Лариной после двух десятков лет в лагерях такое слух не режет? Сотрудник ГПУ Семенов, игравший на процессе роль провокатора, был не просто членом партии, но и - позже - одним из организаторов революции 1927 года в Китае (нужно ли добавлять, что и он не пережил Бухарина?).

41. ГА, ящик 508, папка 44. Письмо Б. Николаевского Э. Волленбергу от 11 апреля 1965 г., с. 1.

42. ГА, ящик 478, папка 43. Письмо Ф. Н. Езерской-Тома Б. Николаевскому от 16 октября 1942 г., сс. 1-2. То же самое писала она в письме Б. Николаевскому от 22 сентября 1942 г. (там же, от 22 сентября 1942 г., с. 3).

43. Как подготовлялся московский процесс. Из письма старого большевика. - "Социалистический вестник", № 23-24 от 22 декабря 1936 г. и № 1-2 от 17 января 1937 г.

44. ГА, ящик 472, папка 32. Письмо Б. Николаевского И. М. Бергеру от 30 апреля 1961 г., 1 лист. "Не считайте "Письмо старого большевика" принадлежащим Бухарину, - писал Николаевский Дольбергу. - Это не верно. [...] При его составлении я использовал некоторые рассказы Бухарина, но не его лишь одного, и освещение дал не то, которое он давал, а то, которое я считал удобным дать в письме, которое должно отражать настроение старого, но не зани-

мающего видного поста большевика. Настроения Бухарина были много более сложны, до полной откровенности он не договаривался, такие разговоры мы откладывали, так как собирались поехать вместе на море... Но и фраза Радека о конституции далеко не отражает его и Бухарина отношение к ими написанной конституции (это мне рассказывал Бухарин)” (ГА, ящик 477, папка 36. Письмо Б. Николаевского А. М. Дольбергу от 14 июня 1958 г., 1 лист).

”Не все письмо написано со слов Бухарина. Далеко не все его рассказы я использовал в ”Письме” и далеко не всё, включенное в него, взято из рассказов Бухарина. Оно в ряде частей - мозаика. Я должен был считаться с тогдашней обстановкой”, - продолжает Николаевский ту же тему в письме Л. Фишеру (ГА, кол. Николаевского, ящик 479, папка 13. Письмо Б. Николаевского Луису Фишеру от 3 февраля 1960 г., 1 лист).



Спасёмся ли?

1. Состояние страны

В Октябре 1917-го было провозглашено рождение Нового Мира. Сначала уничтожили эксплуататоров. Затем последовал экономический геноцид против других форм собственности. На их смену пришла общественная, коммунистическая форма. Страна была ввергнута в пучину демографических катастроф. Каждый второй умерший до 1950 г. - жертва (точнее - 90 млн. жертв из 162 млн. всех умерших). Все слои населения переродились, а крестьянство, интеллигенция и предприниматели были уничтожены. Остатки населения превратились в рабов. Наиболее дееспособные и талантливые бежали (и бегут) за границу - их миллионы.

У истоков стояли большевики. Мера их жестокости и цинизма в полной мере видна из строго секретного письма В. И. Ленина к членам Политбюро 19 марта 1922 г., опубликованного "Нашим современником" (1990, № 4, с. 167). В ответ на послание патриарха Тихона о помощи голодающим и изъятии церковных ценностей Ленин пишет: "...изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церковей должно быть произведено с беспощадной решительностью, безусловно ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и ду-

мать". Из документа также становятся ясны истоки приоритета устных партийных распоряжений, телефонного права, двойного дна большевиков. По результатам видно, что Политбюро, "самое интеллигентное в мире правительство" (как некоторые отмечали), было единодушно с Лениным.

Из данных переписи 1920 г., из посланий Тихона Ленин прекрасно знал о состоянии страны. Тем не менее, в статье "О кооперации" (1923 г.) он заявил, что наш революционный размах и энтузиазм мы проявили в достаточном количестве и увенчали полным успехом (по нашим данным число жертв за 1918-1923 гг. составило около 23 млн. чел.).

На сегодня имеем:

- Прожиточный уровень советского человека вдесятеро (это не метафора) ниже, чем у американца. Наши пенсии меньше американских на 400 долларов. В поисках пищи и барахла мы тратим столь много времени, что не далеко ушли от диких животных.

- НТП, составляя десятки и сотые процента от развитых стран, остановился.

- Государство отбирает у трудящихся 80% стоимости произведенного ими труда (на Западе - 20-30%). Л. Абалкин при этом отмечает, что нам платят по заслугам.

- У нас едва ли не самый дешевый труд - 1 доллар в день (в Швеции - 30 долларов; "Известия", № 139, 1990).

- Мы отстаем от США по ВВП в 5 раз (это при нашем-то качестве).

- Природа подарила нам богатейшие в мире черноземы - мы закупаем 40 млн. т зерна. Для нашей системы подарок оказался маловат. Население и природа ограблены, им нанесен непоправимый ущерб.

- Около половины мужчин страны - пьяницы и алкоголики. Около 20 млн. взрослого населения бичует, находится в тюрьмах, не имеет прописки и жилья. Свыше 13 млн. чел. живет в общежитиях, треть из которых не имеет канализации.

- Около 30% детей рождаются маргиналами (умственный и физический дефектив), а в ряде случаев, например,

в городе Ош - почти 100%. Половина молодежи дебильная или субдебильна и не в состоянии освоить программу 10 классов.

- Выведена новая порода мужчин, живущая на 10 лет меньше, чем женщины (это мировой рекорд). В свою очередь, женщины недосыгаемы по числу абортотворцев - оторвались от следующей за ними Румынии в два раза, а от цивилизованных стран - в 15-30 раз. Смертность 40-летних мужчин у нас в 2,5-3,5 раза выше, чем в Западной Европе (в конце прошлого века мы не уступали им, были в середине). Вот и наше мироощущение. Прирост инвалидов превзошел рост трудовых ресурсов. Начиная с 1988 года, в РСФСР началось ухудшение демографической обстановки по количественным показателям. В 1 квартале 1989 г. было 9 территорий, где число умерших превысило рождаемость, а в 1 квартале 1990 г. - их было уже 27, где проживает 40% населения РСФСР. В Новгородской, Калининской и Тамбовской областях умирает на 40% больше, чем рождается. Дерево с названием Россия надломлено.

2. Характер поведения властей

Мы - дети Великой страны Октября, мы - знаменосцы лучезарной идеи коммунизма прокладываем неизведанные пути к счастливой жизни оставшим от нас народам. Отсюда вытекают наши идеологические и имперские амбиции. Но уже с первых лет Октября развитие событий пошло по другому сценарию, написанному еще Ф. М. Достоевским: удаление Бога; освобождение от нравственного закона; возведение сильного до сверхчеловека, стоящего над обычными людьми - "насекомыми" и истребляющего их; объединение слабых в коммунистический коллектив, чтобы уничтожить свободных индивидов. Предупреждал большевиков и Г. В. Плеханов, и многие другие. Их не слушали, их запрещали.

Великое учение Маркса - Энгельса, вместе с откровениями Ленина о возможности построения социализма в России, исходит из убеждения, что только социализм способен обеспечить достойную, справедливую и счастливую

жизнь трудящимся планеты. Вместо христианства, сулящего рай на небесах, появилась новая религия - марксизм, проповедующий счастье на земле.

Идеология подкреплялась экономическим учением. Счастье достигается через высшую по сравнению с капитализмом производительность труда, через создание высших недоступных капитализму форм мотивационного механизма, высшего типа хозяина.

Лидер страны заявил на Ижорском заводе: "...я против частной собственности. Для нас это неприемлемо... Уверен, что рабочий класс от социализма не откажется, ибо через общественную собственность он может решать свои далеко идущие социальные задачи". В апреле 1990 г. он продолжил: "...государственная собственность остается преобладающей". В чем же перестройка? Слова лидера опираются на всю мощь идеологического аппарата. Бесчисленные книги и учебники обосновывают эту концепцию. Познакомимся.

- Новый вузовский учебник "Политическая экономия" (М., 1988 г.), созданный коллективом из 43-х ведущих экономистов во главе с В. Медведевым и Л. Абалкиным, утверждает, что все стратегические преимущества социализма и средства их достижения (на путях существования) остаются незыблемыми.

- Л. Абалкин в курсе лекций "Политическая экономия социализма - теоретическая основа экономической политики КПСС" (М., 1989 г.) отмечает: "современной социалистической экономике присущ высокий динамизм" (и не стыдно?).

- Академику А. Анчишкину в 1989 г. присуждается Госпремия СССР за выдающийся вклад в разработку теории прогнозирования роста социалистической экономики и НТП. Теория опирается на превосходство новой, высшей (по сравнению с капиталистической) техники, которая уже создается (восхитимся проницательностью академика, разглядевшего ростки ее при остановке НТП).

- Не забыта и наша смена. Новый учебник по географии для 9-го класса, также отмеченный Госпремией СССР и выдержавший 12 изданий, знакомит будущих строителей коммунизма с неодолимым ростом сил социализма и с упад-

ком капитализма, с решением продовольственной программы (по калориям) и с большим опережением темпов развития нашей экономики относительно развитых стран Запада.

- И, наконец, самые маленькие. "Родное слово" (М., 1989 г.) для 2-го класса начинает просвещать советских детей. Наша страна самая счастливая и самая богатая. Нет большего счастья, чем служить великому делу коммунизма, делу Маркса и Ленина. Буржуи - нехорошие люди. "Цветет земля чудесная, и ей мы говорим, что Родину советскую за всё благодарим...". "...Советские люди под руководством партии коммунистов хорошо трудятся, строят новую счастливую жизнь. А называется эта новая, по-настоящему счастливая жизнь - коммунизм!". "Клянемся ленинским путем - прямее нет пути! - За мудрым и родным вождем - за Партией идти".

Вот такими средствами создается новый, советский человек. А вот французский философ Г. Башляр видит проблему иначе: школа - это не подготовка ребенка к жизни, она не создана для общества, наоборот, - общество существует для школы, ибо все наши знания и помыслы души принадлежат сменяющему нас поколению.

Однако для противодействия международному империализму одной идеологии мало, нужна сила. Необходим паритет по вооруженным силам. Отсюда великие программы по обороне, космосу, атому и пр. Необходима также поддержка социализма в других странах - подарили 86 млрд. руб. (многие из них живут лучше нас).

Для активизации деятельности передового отряда народа - КПСС, не забыты и привилегии. Водораздел между членами партии и б/п, а также между членами партии разных сортов особенно заметен на пенсиях, где он обозначен многочисленными вешками: еженедельные торговые заказы, дополнительные пособия, бесплатные путевки в санатории и проезды. Интересно бы также сравнить бюджеты партийных и б/п семей, обеспеченность их жильем. Где еще в мире социальная защищенность зависит от членства в партии?

Глубочайшая вера в социализм наших главных идеологов В. Медведева и Е. Лигачева сочетается с полным от-

сутствием аргументации. Они вещают. Для веры аргументы не требуются. Что это? Верные ленинцы, убежденные в исключительности коммунистической идеологии, или верные слуги пока могущественного партаппарата, охраняющего свою власть, свои привилегии? И это им удастся. Не мудрено: почти все руководящие должности во всех сферах жизни занимают члены партии, обязанные по уставу беспрекословно выполнять указания вышестоящих начальников.

3. Посильно ли бремя?

По силам ли великие задачи? Мы много беднее США, мы беднее НАТО раз в двадцать, но ради паритета имеем гигантскую армию, сильные атомные и космические программы, великие стройки века и небывалое освоение ледовитого Севера. Имперские амбиции обслуживает крупнейший в мире партаппарат - только в ЦК тысячи работников (в ЦК республиканской партии США всего несколько человек).

Откуда берутся средства? Источники известны: 80%-ое отчуждение труда; ничтожность социальных программ; грабеж природных ресурсов (все это привело к истощению сил природы и человека).

Если придерживаться социалистической идеи жить лучше капитализма, то сначала необходимо хотя бы выйти на их сегодняшний уровень, а для этого следует увеличить финансирование, например, образования и медицины в 10 раз, увеличить жилплощадь в 7 раз, поднять многократно все другие социальные программы. Откуда взять? Повысить цены? Это приведет к ухудшению жизни. Увеличить норму отчуждения труда до 90%? Она и так наивысшая в мире и невыносима. К этому навалилась неизбежность новых гигантских затрат - на генофонд, на экологию, не говоря уже о необходимости подъема всех ныне умирающих сфер народного хозяйства. Для этого не хватит и двух годовых бюджетов, ведь надо еще компенсировать недовложения средств за все 73 года.

Очевидно, что ни превзойти, ни сравняться, ни прибли-

зиться к уровню современного капитализма мы не можем. Везде это поняли. Восточноевропейские страны спохватились и бросили игры в социализм. На очереди наши республики (жить-то хочется). Идеи коммунизма рухнули, блок развалился. Нашей мечтой на ближайшее десятилетие может быть лишь небольшое - на 10-20% улучшение жизни. Реально ли?

4. О программе властей

Проекты экономистов, постановления партии и правительства поднять благосостояние народа за 15 лет до 2000 года тихо умерли. Новые акции правительства сфокусированы в приведенных выше словах М. Горбачева, опирающегося на рекомендации идеологов и экономистов, угодных исходной идее. Какие средства используются для их обоснования, мы также видели: в идеологии - подтасовка и обман (даже детей); на практике - ухудшение обстановки в стране, крах мировой социалистической системы. Пятилетие перестройки показывает, что власти, как Сталин в 1941 году, не видят реальности, они каждый раз опаздывают со своими решениями и реформами, или проводят их неправильно по всему комплексу вопросов: экономика, национальные отношения, социальные проблемы. Они продолжают цепляться за старые формы.

Какие же аргументы у приверженцев социализма, общественных форм развития?

Коммунисты верят, что развитие общества определяется детерминированными законами. Октябрь совершился - значит, были такие законы и объективные условия, приведшие к нему; значит, дореволюционное общество созрело для взрыва. И он произошел. Почти все верно, исключая разве то, что детерминированные законы в сложных системах всегда содержат большую долю случайности еще до взрыва, а в момент взрыва наступает хаос и результат не является однозначным. Конечно, посулы земли и близкого рая сыграли свою роль. Но ложь не есть закон, хотя она и создала условия (безнравственные условия) для работы объек-

тивных законов, направив их по ложному пути. Наша революция - это случайная флуктуация.

Коммунисты верят, что прогресс обеспечивается лишь регулируемой, плановой экономикой с полным господством или преобладанием государственной собственности (по Абалкину, допустимы только общественные формы собственности, а любые отклонения от них - это тактический ход). В основе этого мнения лежат простые, линейные модели экономического процесса. Они на самом деле сложные, нелинейные. Иначе пришлось бы согласиться, к примеру, что анархия производства и рынка необходима для развития. Она важнее, чем управление. Без "анархии" нельзя наладить обратную связь. Если бы поняли - вещать бы перестали.

Похоже, что политики и идеологи, а вслед за ними и экономисты, не являясь специалистами в конкретных естественных науках, не в состоянии выработать взгляды, соответствующие достижениям таких наук. Им невдомек, что современное мышление в любой области необходимо согласовывать с общей парадигмой, характерной для интеллектуального состояния современности. Не понятно только, кто кого больше обманывает - политики экономистов, или наоборот. Относительно практических результатов перестройки говорить излишне. Можно отметить лишь, что становятся все громче голоса о том, что правительство не справляется со своими обязанностями (см., к примеру, статью Л. Пияшевой "Если правительство все понимает..."; "Век XX и мир", 1990, № 3, с. 32).

Складывается впечатление, что нынешняя программа властей - это маска, за которой скрывается вся затвердевшая мощь партгосаппарата, который не желает терять власть и привилегии. Его люди, развращенные властью, боятся удела простых тружеников, да и не смогут ими быть - нет ни умения, ни желания. Им безразличны беды населения, замкнувшиеся в своем мире, они ничего, кроме демагогии, не делают для людей, да и не могут делать. Не могут отказаться от лжи даже в светлый праздник Великой Победы (1941-1945), по-прежнему кормят лживыми цифрами:

цена войны - 27 млн., потери вооруженных сил СССР - 8,668 млн. Общие потери немцев - 8,3339 млн. (Данные генералов М. Моисеева и С. Тюшкевича, основанные на донесениях наших штабов.) По данным В. Соколова потери вооруженных сил СССР - 14,3 млн. (погибшие), у немцев - 4 млн., из них 2,4 млн. на нашем фронте (поименные списки погибших; "Вопросы истории", № 9, 1988, с. 116). Общие жертвы страны по нашим подсчетам за 1941-1949 гг. составляют 37 млн., не считая косвенных потерь ("Век XX и мир", 1990, № 2, с. 5).

5. Программы экономистов

Палитра мнений экономистов о путях выхода из кризиса весьма широка. По-видимому, ее можно уложить в ряд от А. Сергеева до В. Селюнина. Познакомимся с четырьмя рецептами.

А. Сергеев. Вся власть Советам и СТК. Равные права государственной и кооперативной собственности. Частная собственность недопустима - это развал государства. Главный враг и причина всех наших бед - "теневики", совбуры (советская буржуазия), рвущиеся к власти советские рокфеллеры. Спасение в денежной реформе, наподобие послевоенного плана Маршалла для Западной Европы.

И. Бунич. Чтобы революция победила всерьез и навсегда, нужно больше социалистических видов собственности. В этом суть перестройки. Это было 2-3 года назад. Теперь: нужна реформа; экономика бывает только рыночная и только регулируемая, для этого достаточно сделать цены на 70% свободными, а госсектор должен быть на 70% арендным. Сложность в том, что исчез кнут, а пряника не приготовили (ах, как жаль кнута; ах, какая точность дозировки свободы).

С. Шаталин. Саморазвитие возможно лишь через создание высших мотивационных механизмов с участием всех видов частной собственности. (По Медведеву и Абалкину, высший мотивационный механизм не содержит частной собственности.) Нужен грамотный продуманный до мелочей под-

ход. Прежде, чем вводить рынок, нужно создать все политические и организационные инфраструктуры: передать власть Советам, накопить ресурсы, начать продавать землю, дать свободу предпринимателям, создать культуру рынка и механизм социальной защиты. Идеология радикальных демократов (например, Селюнина) верна, но ей не хватает продуманности и взвешенности. Недопустимо недоверие правительству, иначе крест на реформе и развал государства. При этих условиях можно избежать падения уровня жизни.

В. Селюнин. Только частная (негосударственная) собственность может создать живую цепочку: товарный рынок - рынок труда и капитала - приватизация собственности. Пусть решения принимают экономисты, а не созерцают, как власти разваливают экономику. Нельзя наладить торговлю выпуском товаров и замораживанием зарплаты. Категорически недопустима планово-рыночная экономика, регулирование зарплаты и преобладание гос. собственности. Правительство в тупике. Его нужно менять на другое, которое честно скажет, что партия довела страну до кризиса, что нас ждут худшие времена и что этого избежать нельзя, хотя и можно облегчить.

Есть ли среди этих предложений рациональные? Что говорит наука?

6. О науке

Необыкновенная податливость воззрений наших экономистов к капризам идеологии, лавирующей среди бурных реалий нашего времени, не свидетельствует о существовании у них науки. Не странно ли, что этой наукой управляют идеологи и политики, отстоящие от науки значительно дальше, чем экономика?

За рубежом откровенно насмеваются над нашими экономическими "новациями" (см., например, у Т. Моримоты; "Известия", 1990, № 133). Насмеются над административно-идеологическим иезуитством в деревне, попытками регулировать финансы административными рамками и де-

национализировать индустрию на 40-60% (не будет 90% - рынка не будет).

Между тем, экономический процесс поддается анализу. Разработан физико-математический аппарат для описания поведения сложных неравновесных самоорганизующихся систем, включая экономику. Его выводы расходятся с результатами простых линейных экономических систем, приближенных к равновесию и отвечающим уразумению и пожеланиям идеологов. Этот аппарат позволяет описать все явления экономического процесса, понять их природу и сделать выводы. Согласно теории самоорганизующихся систем, экономика существует только как процесс, непрерывно меняющийся сам и изменяющий условия и структуры для своего существования. Чтобы выжить, необходимо непрерывное самосовершенствование.

Основным свойством самоорганизующейся системы является существование двух режимов ее развития: линейный и нелинейный. Первый характерен для начальных стадий процесса, когда его источники намного превосходят потребности. В этот период процесс легко управляем, его параметры не меняются и не зависят друг от друга. Система находится в состоянии текущего равновесия, где всё можно сбалансировать.

С развитием системы, с увеличением потребления ресурсов и с изменением их качества возникают ограничения. В действие вступают новые параметры, которые ранее не были существенными. Они заставляют взаимодействовать между собой переменные величины, характеризующие систему и в ее уравнениях появляются нелинейные члены, которые приводят к неоднозначным решениям. (Так, например, у линейного уравнения $ax + b = 0$ - одно решение, а у простейшего нелинейного $x^2 + px + n = 0$ - два решения.) В более сложных случаях, каковы и суть экономические процессы, появляются высшие степени, и поведение модели становится многозначным. Такие системы оказываются также более чувствительными ко всякого рода неопределенностям, ошибкам, случайностям, которые даже при небольших флуктуациях могут ввергнуть систему в хаос. При этом решающая флук-

туация может быть и не связана с мерами по предварительной подготовке системы к переходу в новое состояние.

Развитие нелинейной самоорганизующейся системы в определенный момент приводит к критической точке (катастрофе, кризису, бифуркации - раздвоению), когда она не может (по термодинамике, по математике) существовать в прежнем состоянии, она вынуждена расслаиваться (как перегретый пар при сжатии). В окрестностях критической точки процесс неуправляем. Логика не работает. Никакие грамотные и продуманные решения не помогут (система сложнее сжатого пара), процесс развивается "безграмотно". Именно в этой точке закладывается судьба системы - или погибнуть, или переродиться в новое качество и получить новые импульсы к развитию. Может получиться и то, и сё. Увильнуть не удастся. Можно облегчить удар, но можно и усугубить его. Биологическая эволюция демонстрирует оба варианта, а введение сознательного элемента ничего не меняет в термодинамике, в математике процесса. Но все же судьба во многом в наших руках. Важно создать такие условия, которые не угнетают, а способствуют развитию нового процесса. Лишь бы не промахнуться. Прекратим развитие - погибнем, ускорим движение - выживем, хотя и с потерями. Ускорить можно только за счет введения (стихийного или сознательного - не имеет значения) новых мотивационных механизмов и новых источников ресурсов (последнее связано с первым).

Второе замечательное свойство самоорганизующейся системы заключается в том, что она сама способна создавать эти мотивационные механизмы. Это достигается автоматически, если все части системы, включая отдельные элементы, например, индивиды, свободны в своем стремлении к своим частным целям. Процесс сам вырабатывает необходимые ему структуры управления, контроля и защиты, изменяя и приспособлявая их к своим нуждам. Он сам впитывает в себя все рациональное и отбрасывает ненужное, неповоротливое и ленивое (если ему, конечно, не мешать).

7. Несоответствие между предложениями и моделью

Очевидно, что предложения Алексеева и Бунича быстро приведут к катастрофе, без надежды на восстановление. Едва ли помогут и рецепты Шаталина и Селюнина. При всей силе их аргументации видна их неполнота. По нашему мнению, они недооценивают ряд обстоятельств: выводы науки, масштаб необходимых структурных изменений хозяйства и финансовых вливаний, а главное - состояние природы, генофонда человека и трудовых ресурсов. Нелинейная модель не следует продуманным и взвешенным шаталинским предложениям, она не согласуется и с сохранением режима. Система вблизи кризиса и во время его не может тихо и мирно накапливать ресурсы и культуру экономических действий. Все это достигается лишь через процесс, через кризис.

Едва ли проходят и упования Селюнина на руководство хозяйством экономистами. Революционной силой выступают не экономисты и не политики, а технологи, потому что именно они определяют НТП, т. е. возможность совершенствоваться экономическому процессу (как бы это ни расходилось с амбициями политиков). Поток новаций непрерывно разрушает любые построения и регулировки со стороны экономистов. Можно ли регулировать рынок в условиях НТП, когда на него непрерывно поступают новые продукты, появление которых не может быть предсказано? (К примеру, предсказал ли кто появление картошки с нитратами?) Нельзя регулировать новое, ранее не известное, но можно способствовать развитию этого нового.

Рынку не нужно регулирование или управление. Рынок сам кого хочешь будет регулировать и все регулировщики будут им создаваться по мере надобности, подчиняясь ему. Единственно, что нужно обществу-человеку, это ввести рынок в более широкий контекст, включающий нравственность, духовность, экологичность, иначе рынок сожрет их и себя тоже. Назначение же специалистов (экономистов) - в "техническом" обслуживании, но не в управлении эко-

номическим процессом. Впрочем, следует заметить, что из самостоятельности рынка выводятся многие другие категории человеческого бытия. На Западе давно поняли, что лишь материально и духовно богатый, здоровый человек может обеспечить полнокровное функционирование рынка. Рынок и человек взаимодополнительны. Одно без другого не существует. Существует лишь пародия на рынок, да и на человека - рабство, принудительное распределение. Беден человек - жалкий рынок.

Во время кризиса система требует больших и часто бесполезных материальных, нравственных и организационных затрат. Она разболтана. Падение уровня жизни неизбежно. Тут Селюнин прав, но не полностью. Позволит ли генофонд трудиться лучше? Способна ли новая структура (а она обязательно новая) к согласованным действиям со своими частями и элементами?

Развитие страны с 1917 года регрессирует по важнейшим показателям: экономика и финансы, национальные отношения, нравственность, воспитание, экология, генофонд. За эти годы накопились долги перед природой и населением. Они растут в степенной зависимости. Мы начали проходить через горнило кризиса, и это не зависит от наших желаний. Чем дольше будем латать дыры и обновлять кафтан, тем глубже пропасть. Страшное свойство реальности, как самоорганизующейся системы, - режим после кризиса не помнит прошлого. Так случилось в Октябре. Правительство не понимает, что управлять экономикой нельзя, можно лишь постараться создать условия для смягчения удара с надеждой на будущее возрождение. Непременным свойством самоорганизующейся системы является свобода ее элементов, иначе она не является таковой, что равносильно смерти.

Пора бы понять, что управляют не люди и не партии (это дорогостоящая и лживая иллюзия), а материальные законы реального мира, в нашем случае - законы свободного (несоциалистического, недиктаторского, нерегулируемого) рынка, основанные на двух формах собственности: Моё - не-Моё, на одной философии-биологии: Я - не-Я. Отсюда и интересы. Призывы Шаталина сохранить прави-

тельство нарушают условие кризисной и посткризисной ситуации, где все не так и прежнее правительство не нужно. Положение даже хуже, чем думает Селюнин. Подорван генофонд, а мнение Шаталина о его фантастической восстанавливаемости наивно. Тревожит также, что ни правительство, ни ведущие экономисты не могут отрешиться от представлений линейного характера экономического процесса, из которых вытекают их предложения.

Основное различие линейных и нелинейных систем состоит в том, что линейная система пренебрегает и даже запрещает взаимодействие параметров. Почему же существуют линейные, т. е. менее приспособленные к жизни явления? Очень просто. Такое явление, как пожар. Все сжигает (и простое, и сложное) и оставляет пепелище и дым. Было бы топливо. Располагая необъятными ресурсами, власти кидали и продолжают кидать в костер все, что им под силу. Когда же топливо кончается, кочегар оказывается не у дел, не нужным.

Простая линейная система имеет основные черты, присущие паразитирующим организмам. У них упрощенная структура, лишённая многих важных органов. Зачем, когда можно присосаться? Так произошло с природой и человеком, соки которых выпил партийно-военно-государственный аппарат. Природа аппарата состоит в одном - он должен управлять. Поэтому он будет искать все возможности, чтобы сохранить власть. Последние решения по регулируемому рынку подтверждают это. Подтверждает и съезд так называемого "Крестьянского союза СССР", где под руководством Е. Лигачева произошло окончательное слияние партаппарата с колхозно-совхозной администрацией для защиты привилегий этого слоя. Проведено дальнейшее утверждение сельхозведомств. Большинство делегатов съезда - директора и председатели - под гром оваций объявили себя лучшими тружениками-производственниками, лучшими крестьянами ("Известия", 1990, № 165). Идеология усиливает свое влияние в сельхоз-экономике. Интересы крестьянских масс барски игнорируются. Игнорируются по-партийному. Власть добровольно не сможет лишиться своих

привилегий (разве могут высшие генералы расстаться со своими усадьбами по несколько гектаров земли? "Огонек", 1990, № 21, с. 4). Свойство паразита - сосать до конца, а когда хозяин погибает, перебраться на другую жертву. Вот и не хотят страны Восточной Европы и Прибалтики быть заложниками. Но самое страшное состоит в том, что аппарат развратил большую часть населения, привил ей свои ценности и мировоззрение: служи беззаветно начальнику, и он тебя не оставит. Этим пропитаны все сферы нашей жизни: партийные, государственные, производственные, научные, культурные...

Отметим, что свойства рассмотренной нелинейной системы согласуются с концепцией английского философа М. Стояновича о постмарксизме ("Вопросы философии", 1990, № 1, с. 147). Сверхкатегорический императив нового времени - выживание человечества. Никакая политика, которая не поглощена вопросом о его выживании, не может быть законной. В этом у капиталистических стран с социал-демократическим лицом с их производительностью и гуманизмом неоспоримое преимущество перед возможностями гуманистического социализма. (Чем отличаются Китай и Тайвань, Северная и Южная Корея? Почему немец из ГДР берет за границей в 7 раз меньше патентов, чем в ФРГ? Почему Россия кормила всю Европу, а мы к своим 58 млн. т зерна прикупаем еще 44 млн. т?) Почему в 1913 г. Россия произвела зерна 81,6 млн. т. - на четверть больше, чем ведущие зерновые страны - Аргентина, Канада и США вместе взятые, а в тяжелый 1916 год имела зерна на треть больше, чем потребность?

В отличие от капитализма как общественно-экономической системы, социализм как общественно-политическая формация не может продвинуться далеко в самореформировании, иначе это не реформа, а революция. Социализм не достижим без буржуазных компонентов - частной собственности, интеграции в мировую свободную рыночную экономику. Но будет ли после этого социализм?

Мысли Стояновича, адресованные всему человечеству, особенно остро проявляются именно у нас. Мы ближе всего

к апокалипсису и можем потянуть за собой остальной мир. Живя при реальной возможности коллективного самоуничтожения, мы все еще продолжаем мыслить, чувствовать и действовать так, как будто не существует абсолютно *нового* в человеческой истории. Предпосылка Маркса о самовоспроизводящем человеческом бытии оборачивается способностью к самоуничтожению. Реальность этого усиливается при нашей склонности к коллективному самообману, когда не хочется видеть, что сами можем вызвать и вызвать случайно, не желая этого, абсолютное зло, когда появилась реальная возможность завершить цикл человеческой случайности: от биологической случайности появления человека во Вселенной до случайности его исчезновения. На первый план в нынешней ситуации выдвигаются не оборона, не атомные и космические программы, а вопросы воспитания, экологии, генофонда (экономика и политика - средства для этого).

8. Что же делать?

Положение страны катастрофически ухудшается. Правительство беспомощно. Оно должно уйти. Новой власти остается разваленная, нищая, вымирающая страна. Для выхода из состояния развала насущно необходимы хотя бы небольшие улучшения. Предложения Селюнина о собственности, правительстве, партии необходимы, но едва ли достаточны. Необходимы экстраординарные меры, поскольку вопрос стоит о жизни населения, а не государства или идеологии. Вопрос не в том, нужна ли частная собственность (нужна, конечно), а в том, как с наименьшими потерями пройти революцию. Одно ясно, чем дольше оттягивать, тем больше будет крови.

Выполнение селюнинских условий необходимо сразу же подкрепить кардинальным перераспределением средств. И делать это нужно немедленно, иначе начнется самоперераспределение. Мы вогнали в гробы обороны, космоса, атома, квазимелиорации, великие халтурные стройки века, в идео-

логию лжи несметные богатства. Пора одуматься и не прикрываться фиговыми листками конверсии, регулируемого рынка, арендой и процентами госзаказа.

Перед лицом вероятного апокалипсиса необходимо в корне пересмотреть всю нашу политику финансирования. Равноправие частной собственности на любые средства производства, включая землю, должно быть подкреплено всемерным (на 80-90%) сокращением затрат на оборону, космос, атом, Север, погранвойска, аппарат и т. д., иначе норму отчуждения труда не уменьшим. Робкие призывы академика Г. Арбатова подсократить расходы на оборону получили гневный окрик ("Огонек", 1990, № 22, с. 4). Конечно, генералам не хочется терять свои места, а с офицерством ясно - это отличные фермеры, попутно решающие свои жилищные проблемы.

Пора также прекратить помощь развивающимся странам. Помощь со стороны третьеразрядной, умирающей страны безнравственна. Мы не имеем ни морального права, ни материальных возможностей поддерживать наши амбиции. На сегодня нет и интеллектуальных сил, поскольку НТП и наша наука остановились. Пора, наконец, начать защищать детей, нашу смену, наше будущее от идеологической лжи.

Наступил предел, когда упорство властей кончается взрывом. Необходимо немедленно отдать все природные угодья людям, живущих на них. Это их право от Бога. Раз мы родились на этой земле и государство не препятствовало этому, значит отдайте нам нашу долю жизненного пространства: 4,5 га леса, пашни и болот (не считая мерзлоты) каждому, а на семью из 4-х человек - 18 га, отдайте и реки, озера, горы и подземные кладовые. Поделите, а мы распорядимся - самим ли хозяйничать, сдавать в аренду или продать свой кусок. Мое болото, моя клюква, покупайте, если хотите, хоть клюкву, хоть болото. И власти в этих вопросах делать нечего, кроме защиты от бандитизма.

Для возрождения страны необходима и коренная перестройка структуры хозяйства. Но частная инициатива, если ей не мешать, сделает это автоматически.

Другого пути нет, нет времени для проволочек и лжереформ. Умирающая страна, где подавляются все инициативы, не может дальше позволять себе роскошь паритета, даже десятую его долю, не может обойтись без частной собственности, без стремления здоровой половины населения к инициативе. Чего мы боимся? Что защищаем? Нищий образ жизни от богатого? Вялую культуру и безнравственность? Глупость и лень от инициативы? А может быть, защищаем больных детей и вырождение нации от здорового образа жизни? Может, защищаем ложь, которой кормим детей и внуков? Или привилегии верхних эшелонов партии, генералитета и аппарата? Не пора ли понять, что такая защита не имеет оправдания, она преступна.

Мы погрузились в новое качество человека, называемое советским народом: наполовину пьяный, глупый и ленивый, наполовину запуганный, завистливый и вороватый, наполовину больной и халтурный. Наше сообщество воспитывается на лжи и развращено этим. Похоже, что в нас расплодились бесы Гоголя, Достоевского, Бердяева. Создана новая порода людей. Селекционеры были решительны. Теперь они персональные пенсионеры, а их дети и внуки продолжают их дело - укрепляют аппарат, приспособливают его к новым условиям, себя не забывая. Слышны вопли: лучше умереть, чем пойти в рабство к буржуям. Успокою, рабами вопиющие не станут. Разучились работать. Получите 80-120 р., поживите. Пусть ваши дети стартуют на общих основаниях. Это будет справедливо. Не хотите? Хотите стрелять?

* * *

Мы давно уже не великая страна, с 1917 года. Пора увидеть масштаб трагедии. Природа и люди не выдержали разбоя, лжи, надругательства и нищеты. Не видеть этого могут лишь глупцы и преступники. Аппарат изощрен. Часто его предложения выглядят убедительно. Такая убедительность основана на двух обстоятельствах. Описание поведения линейной системы может быть непротиворечивым,

а свойство нашего мышления таково, что полная ясность реальности достигается лишь в рамках линейного описания. Но система нелинейна, и это разрушает аргументы, которые могут быть и справедливы для случая линейности.

Главная задача новой власти, переходного правительства (возможно технократического, но либерального) будет состоять в создании условий для предприимчивости и защитительных социальных и экологических структур. (Вероятно, полезен опыт США, преодолевших Великую депрессию начала 1930-х годов.) Три силы способны спасти население страны: стремление к выживанию и лучшей жизни, стремление к инициативе, стремление к нравственно-духовным ценностям и осознание их нового места в нашей жизни. Только не мешайте. Может быть, этого и достаточно. Не нужно даже и власти. Эти силы и есть власть, они сами создадут средства защиты от зла, глупости, распущенности, от любых любителей власти, от временщиков, от лжи.



О диалектике трудовых отношений в условиях экономической свободы

Чуть-чуть о диалектике

Для начала посчитаемся с ошибочным, но, увы, слишком уж часто встречающимся представлением о так называемой диалектической "гегелевской триаде": тезис - антитезис - синтез, - согласно которому сначала бывает тезис, затем из него (в виде бунта и протеста) рождается антитезис, а затем (в порядке снятия или преодоления противоречия между ними) появляется синтез, в свою очередь принимающий функцию тезиса по отношению к как бы уже вперед запрограммированному в нем новому антитезису.

Эта наивная схема не срабатывает ни в природе, ни в истории по той простой причине, что она построена на совершенно ложном представлении о диалектическом развитии противоречий в потоке времени. Никакого "затем" в смысле последования во времени в отношении тезиса и антитезиса просто нет. И тезис, и антитезис существуют *все время*, всегда. Из их противостояния рождаются все новые и новые формы синтеза, представляющие собой все новые и новые разрешения противоречия во все время меняющихся конкретно данных условиях.

В приложении к общественной жизни задача уже не философии, а политической теории и практики - поиск оп-

тимальных форм синтеза, отвечающих потребностям данного общества на данной ступени его исторического развития. Тезис и антитезис при этом вовсе не исчезают. Они ведь, по слову Платона, "связаны концами"; противоборствуя, они относятся один к другому, как правое и левое, как верх и низ, как полюсы магнита: каждый из них предполагает существование другого.

"Философская нищета марксизма", по удачному выражению Вышеславцева, заключается именно в его неспособности мыслить диалектически, в односторонне-пристрастном выпячивании одной стороны противоречия и подавлении другой. При таком партийно-ограниченном подходе (Сталин называл его "разматыванием противоречий") подлинная диалектика становится невозможной и подменяется словесной спекуляцией и выработкой практически целесообразных, но лишенных познавательной ценности фикций, а вносимые (особенно в послесталинский период) оговорки об обратном влиянии надстройки на базис, об опережающем отражении и опережающей функции научного познания или о том, что детерминизм в истинности не снимает исторической ответственности с тех или иных деятелей, носят характер вынужденных уступок неустранимой очевидности и только затемняют проблемы.

Но оставим марксизм с его бесплодной попыткой свести всю историю к борьбе классов, а переживаемый в настоящее время период - к борьбе между трудом и капиталом. Диалектические противостояния необходимости и свободы, солидарности и борьбы, власти и права, а соответственно, и авторитарных и солидарных методов управления возникают перед каждым философствующим умом, как только он задумывается над жизнью человеческого общества вообще и над трудом человека, в частности.

Наемный труд в век научно-технической революции

Труд в наш век научно-технической революции принципиально изменил свой характер. И что нужды, если в

Эфиопии или Мали крестьянин по-прежнему ковыряет землю мотыгой, а во Вьетнаме или Бангладеше по-прежнему по колена в болотной жиже высаживает рассаду риса. Они живут в отсталых странах. (Будем называть вещи своими именами!) По сути дела они - такой же анахронизм, как папуасы или бушмены. Труд их, однако, гораздо ближе к труду французского или русского крестьянина времен Маркса и Энгельса, нежели к труду современного европейского или американского фермера, с их тракторами, комбайнами и инсектицидами.

Аналогичные сдвиги произошли и в промышленном производстве, и в научно-исследовательской работе, и в педагогике, и в медицине. И хоть научно-техническая революция охватила еще далеко не всю планету, направление развития обозначилось вполне однозначно: механическая работа перекладывается на плечи механизмов, а трудовое усилие человека направляется на преодоление возникающих трудностей, на управление, изобретательство и творческий поиск.

Такое положение вещей в корне меняет отношение между наемным трудом и управлением. Трудящийся по найму в современном развитом производстве перестает быть простым исполнителем подаваемых ему приказов, он становится членом определенного сообщества, деятельность которого направлена на достижение определенных целей, превращается в участника определенного предприятия.

Предприятие, в котором он соучаствует, представляет собой определенную поставленными целями открытую функциональную систему с внешним и внутренним взаимодействием. Это один из распространеннейших и *важнейших общественных союзов - трудовая группа или трудовая формация*. Характерное свойство ее - хозяйствование в самом широком смысле слова и способность и право принимать самостоятельные решения в тех социальных и культурных условиях, в которых она находится.

Классифицировать предприятия можно по-разному. Можно различать между коммерческими предприятиями, стремящимися к получению прибыли (торговые и производ-

ственные ассоциации) и предприятиями, довольствующимися покрытием своих расходов по обслуживанию клиентов (учебные заведения, больницы); можно различать между предприятием частным, управляемым одним лицом - хозяином и собственником, и между предприятием, принадлежащим обществу или государству. Но дело не в этих различиях. Общее для всех предприятий то, что в каждом из них, в интересах поставленной цели, вырабатываются и принимаются решения, удачные или неудачные, что, принимая эти решения, руководство, да и все участники несут за них ответственность и принимают на себя риск успеха или неуспеха.

Процессам выработки решений посвящено в наше время немало исследований. Можно смело сказать, что значение этих процессов осознано ныне полностью. И можно считать доказанным, что продуктивность любого предприятия - не простая сумма продуктивностей его участников, но результат их взаимодействия, их *трудовой солидарности*. И нет никаких сомнений, что чисто человеческие отношения - дружба или неприязнь, сотрудничество или соперничество - внутри коллектива играют не меньшую роль, чем внешние условия работы. В результате целого ряда исследований ныне уже не оспаривается, что достижения каждого отдельного работника в значительной мере зависят от поведения его сотрудников; иначе говоря, продуктивность любого предприятия зависит не только от личных способностей, но и от настроенности коллектива как целого.

Внутри каждого предприятия, наряду со связями между непосредственными сотрудниками, образуется ряд неформальных, дружеских или недружеских отношений, со своей стороны влияющих на производственную атмосферу и самочувствие занятых в производстве людей. Воля к труду, а с ней вместе и производительность труда, по мнению специалистов, на 25-30% зависят от физического и морального самочувствия работающих.

Наметившееся уже в конце 1920-х годов учение Л. С. Выготского о доминанте поведения как сознательной установке, позволяющей преодолевать трудности и отвлекаться

от помех, во многом предвосхитило работы западных ученых, увлекавшихся в то время тейлоризмом и психотехникой. Новые исследования в области психосоциологии совершенно опрокинули прежнее представление о "гомо экономиксе", о хозяйствующем человеке, как о последовательном эгоисте, движимом исключительно мотивами личной выгоды. Оказалось, что человек не только индивидуум, но и член целого ряда различных сообществ, что он чувствует себя не только как самодовлеющее "я", но всегда и как часть определенного "мы", как член определенной семьи и определенной трудовой группы.

Совершенствовать работу предприятия надо на пути заинтересованности в общем деле, на пути свободной солидарности его участников, выработки в них чувства принадлежности к общему "мы". Чтобы поднять производительность труда, надо сделать так, чтобы трудящийся был и чувствовал себя сохозяином предприятия. Стремление к общей цели и превращение чувства солидарности в доминанту, определяющую его поведение, - вот путь, на котором в наше время происходит поиск наилучшей организации труда в обозримом будущем.

Организация труда

Организация труда в любом предприятии всегда представляет собой удачный или неудачный синтез элементов жесткого командования, с одной стороны, и свободной самодетельности, с другой.

Нужно ли уточнять, где в этой диалектической паре всегда стояла ставка большевиков, особенно Ленина и Сталина? Уже одно только противопоставление социалистического планового хозяйства капиталистической анархии производства ясно показывает, в какую сторону они всегда стремились - "не замазывать, а вскрывать и разматывать противоречия". И нужно ли повторять, что монополистическое плановое хозяйство, названное социализмом, привело страну к банкротству по той простой причине, что оно было грубейшим нарушением не только принципов соразмер-

ности задач и средств, рассредоточения властных полномочий и согласования обязанностей и прав, но и, - что еще важнее, - подавлением автономии личности и самостоятельности общественных союзов.

Тем не менее, даже при жестком планировании тоталитарного типа (план - это закон!), даже когда и само производственное задание исходит от государственной власти, за управлением предприятия силою вещей всегда остается некоторая доля автономии, в рамках которой принимаются самостоятельные решения. И задача согласования деятельности всех работников предприятия с поставленными задачами при всех обстоятельствах стоит перед каждым начальствующим лицом и лежит всегда где-то между авторитарным приказом и использованием добровольной готовности работника произвести желательное действие.

Найти наиболее плодотворное сочетание этих двух диалектически противостоящих элементов - неснимаемая задача каждого руководителя.

Чтобы правильно решить ее, нужно верно оценить, с одной стороны, характер ожидаемого трудового усилия, с другой, - потребности данного работника, перспектива удовлетворения которых способна побудить его к деятельности.

Административно-командный и солидарный типы управления

В пирамиде человеческих потребностей нужда в пище, одежде и жилище - первейшая и неотъемлемая потребность всякого человека, к которой примыкает его забота о ближнем, в первую очередь о собственной семье, которую он любит и хочет накормить досыта и одеть в красивые одежды. И если вознаграждение за труд обеспечивает ему эту возможность, он задумывается прежде всего о том, как закрепить за собой это вознаграждение, сделать его постоянным, как удержаться на этом устраивающем его рабочем месте, а если возможно, обеспечить себе еще и на-

копления на всякий случай, на болезнь, на старость или на развлечения и отдых.

На этом уровне наемный работник, механически исполняя как физическую, так и несложную умственную работу, действительно продает свой труд, причем на определенное время и за определенную плату. Плата может быть относительно высокой, но феномен так называемого "отчуждения", а проще говоря, обязательство, не рассуждая, исполнять чужие приказы, так возмущавшее юного Маркса и его теперешних эпигонов, ему хорошо знакомо. Он трудится только для того, чтобы получить плату. Но именно поэтому он нуждается в распоряжающемся его работой боссе, патроне, шефе, начальнике, а созданные для его защиты профсоюзы нуждаются в нем как в члене, который платит им членские взносы, но и как в клиенте, труд которого они стремятся продать на как можно более выгодных условиях.

Командный стиль управления со стороны предпринимателя и забота исключительно о материальных интересах трудящихся со стороны профсоюза на этом уровне отношений уместны и плодотворны. Они обеспечили индустриализацию прошлого века и достигли апогея в тейлоризме и изобретении конвейера. Они подготовили компьютер и роботов и открыли дорогу научно-технической революции наших дней.

Заинтересованность в обеспеченном постоянном заработке не теряет, конечно, своей стимулирующей силы и на других уровнях трудовых отношений. Но как только плата за труд перестает быть вознаграждением за рутинную механически исполняемую, заведомо неинтересную "чужую" работу, и от работника начинает требоваться умение взяться за дело и самостоятельное качественное разрешение порученной ему задачи, в игру вводятся соображения авторитета, престижа, компетентности, карьеры и сопутствующего всякому мастерству профессионального интереса к делу как таковому. *Доминанта трудового поведения смещается*, и оправданием трудовых усилий становится уже не столько забота о хлебе насущном, сколько желание заслужить уважение сотрудников, приобрести авторитет,

проявить свой талант и принести пользу обществу, науке, искусству, своей стране или прогрессивному человечеству.

Если допустить, что все живое развивается от низшего к высшему, - а в этом убеждены отнюдь не только солидаристы, - то и потребности низшего уровня должны быть удовлетворены прежде, чем заговорят потребности высшего порядка. Человек старается прежде всего удовлетворить свои физиологические потребности. Но после того как ему это удалось, эти потребности перестают быть доминантой его поведения, и он начинает искать удовлетворения своего стремления к безопасности, обеспеченности, а там, глядишь, и к уважению окружающих. И этот процесс продолжается вплоть до потребности в самовыражении и жертвенной самоотдаче, для которой вознаграждение просто перестает играть роль. Стоит ли говорить, что эффективность административно-командных приемов управления уменьшается синхронно с этим процессом?

По мере развития науки и техники, с одной стороны, и роста материальной обеспеченности, с другой, нацеленный на сотрудничество, *солидарный тип руководства* распространяется все шире, используя возможности новейшей технологии, перекладывающей все большее число стандартно повторяющихся операций на плечи технических устройств.

Авторитарный тип руководства и сегодня сохраняет свою эффективность там, где приходится иметь дело с работами, не требующими ни большого умения, ни творческого усилия, но требующими готовности точно исполнить полученное распоряжение, иначе говоря, где работник лишь исполнитель получаемых приказаний, где все решения принимаются начальником и вся ответственность лежит на этом начальнике, в то время как исполнитель заинтересован не столько в самом труде, сколько в вознаграждении за него.

Начальствующий при этом типе руководства не может и не должен советоваться с подчиненными. Он будет командовать, как правило, подчеркивая свои полномочия и требуя послушания и уважения к своей персоне.

Солидарный тип руководства, напротив, характеризуется активным участием сотрудников в выработке принимае-

мых решений. Он строится на делегировании полномочий и ответственности и предполагает иерархическое строение общей работы, в которой каждый несет ответственность за порученный ему участок и обычно с основанием хочет участвовать в решениях, касающихся как порученной ему работы, так и предприятия в целом. Поскольку же все участки должны действовать слаженно, естественно возникает и требование коллегиальности на всех этапах управления, а равно взаимной поддержки и солидарности в мышлении и поведении всех участников общего дела.

В передовых индустриальных странах, особенно в США и в Японии, существует богатая литература о методах и приемах руководства предприятием, но все эти методы и приемы так или иначе укладываются в непрерывный диалектический ряд между авторитарным командованием на одном конце и солидарно-самодеятельным сотрудничеством на другом, причем каждый раз требуется отыскать синтез, оптимально отвечающий конкретно данным задачам и условиям работы, как они подсказываются задачами предприятия, уровнем образования и квалификации занятых в нем работников, характером их мотивации и желанием продолжать трудиться именно в нем.

Для простых и рутинных задач, решение которых не представляет труда для сколько-нибудь опытного начальника и не требует постоянного участия квалифицированных специалистов, авторитарный тип управления не только годится, но при разумном удовлетворении материальных запросов трудящихся дает отличные результаты, даже если работа сама по себе неприятна и тяжела. Для сложных, неповторяющихся творческих задач, требующих квалифицированных сотрудников, солидарное ведение дела, напротив, представляется совершенно необходимым, не только потому, что уровень знаний руководителя в этом случае зачастую несколько не будет выше уровня руководимых, но и потому, что квалифицированное обсуждение может не только помочь найти правильное решение вопроса, но и подготовить участников к проведению этого решения на практике, удовлетворяя в то же время и их духовное самочувствие.

Каждая данная система управления диктуется, конечно, конкретными условиями работы. Однако обобщая, можно сказать, что силой технологического развития от египетских фараонов и до наших дней ясно видно движение от авторитарного к солидарному управлению, в настоящий момент резко ускоряющееся в процессе научно-технической революции и толкающее на поиск новых форм организации труда.

Между тем проблемы управления и организации труда на том или ином предприятии зависят отнюдь не только от политического строя. Политический строй, как и география страны, в которой работает предприятие, лишь внешнее условие его работы, такое же, как возможности транспорта и связи, конъюнктуры на внутреннем и международном рынке, налоговых обложений или льгот (а в иных случаях и дотаций) и других важных и неважных обстоятельств, к которым руководству предприятия приходится приспосабливаться. Как именно происходит это приспособление, решает в конечном счете управление предприятия. Даже при жестком планировании тоталитарного типа, когда и само производственное задание исходит от государственной власти, за управлением предприятия всегда остается некоторая доля автономии, в рамках которой принимаются решения. Задача согласования деятельности всех работников предприятия с поставленными задачами при всех обстоятельствах стоит перед каждым начальствующим лицом и лежит всегда где-то между авторитарным приказом и использованием добровольной готовности работника произвести желательное действие. Найти наиболее плодотворное сочетание, оптимальный синтез этих двух диалектически противостоящих элементов - постоянная задача каждого руководителя.

Перспектива будущей организации труда

Солидарный тип управления не снимает, конечно, но сильно смягчает противостояние между владельцем пред-

приятия и занятыми в нем наемными работниками, подчеркивая общую заинтересованность в успехе предпринятого дела и сплачивая его участников в солидарное сообщество, трудовую группу или трудовую формацию.

Авторитарный метод управления общей работой для этого не благоприятен. При нем демократия, а вместе с ней и свободная солидарность останавливаются у ворот завода, независимо от того, распоряжается ли им единоличный владелец, директор анонимного общества, государственный чиновник или расписавший все на годы вперед принудительный план.

Правда, в современных прогрессивных и особенно в профсоюзных кругах многие не без основания жалуются на это и упорно стремятся преодолеть отчуждение и выработать демократическую форму соучастия рабочих и служащих в управлении предприятием. С этой целью отыскиваются и предлагаются различные виды формального соучастия рабочих и служащих в решениях судебных предприятия, на котором они работают. Так, работникам предприятия предлагается льготная покупка акций, а также возможности контроля и корректировки принимаемых администрацией решений выборными представителями персонала или профсоюза. И то, и другое делается, без сомнения, с наилучшими намерениями, но тем не менее остается лишь паллиативной попыткой ввести демократию извне, так как строится на внешнем, а, следовательно, непрошенном вмешательстве в деятельность администрации. Работающим по найму это дает дополнительную защиту от произвола и укрепляет их самочувствие, но не делает их полноценными сохозяевами производства.

Понимая это, российские солидаристы в главе 9-й Программы НТС предлагают построение системы полноправных трудовых комитетов и трудовых союзов, венчающейся Советом Труда, задача которого "согласовывать деятельность различных трудовых союзов и соучаствовать в законотворчестве".

Научно-техническая революция с вызванным ею расширением и ростом солидарных приемов управления

становится тут драгоценнейшим союзником этого замысла. Ведь она не только освобождает все большее число трудящихся от рутинного исполнения множества не требующих творческой инициативы рабочих операций, но и стимулирует коллегиальность отношений, смягчая элементы отчуждения и делая предприятие "своим" для всё большего числа его работников.

Рожденные из конфликта между трудом и капиталом традиционные профессиональные союзы будут, разумеется, продолжать свою деятельность, но - с увеличением удельного веса солидарного управления защищать в первую очередь интересы тех, кто продолжает трудиться на однообразной рутинной работе под привычным авторитарным управлением. Такого типа работ ведь остается немало, и нужно быть утопистом, чтобы надеяться, что они могут исчезнуть. Тяжелую и грязную работу нужно будет делать и впредь, и тем, кому придется ее делать, будет нужна защита их профессиональных и классовых интересов, с которыми традиционные профсоюзы отлично умеют справляться.



Виктор БЫЧКОВ

Возвышенным земное укрепляя

*(Религиозно-эстетические феномены
в России "смутного времени")*

Сегодня, когда в России на руинах тоталитарного государства, в течение трех четвертей века беспощадно душившего отечественную культуру и всяческое проявление духовности, появились слабые ростки демократии, свободы, культуры, духовности, независимых наук и искусств, среди них с большой скоростью и в большом количестве стал произрастать и мощный частокोल псевдокультурных сорняков. Россия вступила в очередную эпоху "смуты" как в экономической, социально-политической, так и в культурно-духовной сферах. Поэтому сегодня будет нелишним обращение к опыту отечественной истории, который, естественно, в целом уникален и неповторим, но может дать творческие импульсы и возрождающейся культуре нашего многострадального времени. Здесь я имею в виду духовный опыт "смутного времени" первой трети XVII века, когда русская культура укрылась от мощной волны западной экспансии за щитом возросшей отечественной духовности.

После жестокого многолетнего единодержавия Ивана Грозного Московская Русь вступила в полосу затяжного государственного кризиса, социальных и политических неурядиц. Борис Годунов, не "по правде" занявший престол, и кровь безвинно "убиенного", по прочно укрепившейся легенде, царевича Димитрия, настоящего престолонаследника, в народном все еще средневековом сознании явились

главными причинами всех бед, обрушившихся на Русь в начале нового века. Эти идеи и настроения разделяли и многочисленные книжники того времени, подробно описавшие основные события Смуты.

Князь Иван Андреевич Хворостинин¹ с горечью повествует о тяжелых временах, пришедших на Русь, когда "растлеваемо богатство, красота и слава оскудеваше и родоначалие владыческое преиде от земли нашея изреневени быша от любве человеколюбия, оскудеша грады, оскудеша люди, не оскуде мерзость и возрасте плод греха, взыде дело беззакония и возненавиде друг друга, и умножися в нас падения, и убиена бысть земля наша голодом" (ПСВ, 531)².

Сложные социальные и политические коллизии, в которые вылился начавшийся еще в предыдущем столетии кризис Средневековья, драматический первый этап активного проникновения западноевропейской цивилизации на Русь, феномен "самозванчества" Хворостинин, как и большинство писателей смутного времени, осмысливает еще в чисто средневековых категориях - как божественную кару за оскудение на Руси человеколюбия, нравственных и духовных устоев, за беззакония и грехи, наполнившие землю русскую, за возросшую вражду ее людей друг к другу (ср.: ПЛДР-9, 134-136).

Беды и неурядицы века, усиление католической и протестантской экспансии возбуждают в народном сознании новую волну православного благочестия, рост религиозных настроений, которые теснейшим образом переплетаются с национально-патриотическими чувствами. Иностранцы, посещавшие в этот период Россию, отмечают удивительную набожность русских, их приверженность к религиозным обрядам, церковности. Об этом же свидетельствует и словесность того времени. В основном это историография и историософия, целиком пронизанные православной духовностью.

Интенсивное движение, наблюдавшееся в эстетическом сознании во второй половине XVI в., теперь заметно ослабевает. Эстетика, как и вся художественная культура,

отходит на второй план перед трагическими событиями, обрушившимися на русский народ. Эстетическое сознание, как и в тяжелейшие годы татаро-монгольского нашествия, уходит глубже в недра культуры и оттуда продолжает питать дух народа высокими идеалами вечных духовных ценностей.

В целом для эстетики первой половины XVII в., как и для всей духовной культуры и, особенно, книжности, характерно обращение к средневековым традициям, стремление в них отыскать абсолютные истины. Именно их забвение, полагали писатели той поры, привело русскую культуру (а она в этот период мыслилась почти тождественной и с крепкой самодержавной властью, и с неколебимой православной верой) на край гибели, а народ на грань утраты национальной самобытности и государственной независимости.

Эстремальные ситуации социального бытия ориентируют эстетическое сознание на поиск опорных точек мятущемуся духу в глубинах иррационального. Религиозный, мистический опыт предоставляет для него в этом плане бескрайнее поле деятельности и эстетическое сознание охотно использует его. Особенно показательно это для рассматриваемого периода. Ситуация социального и политического кризиса наложилась на активно развивающийся кризис средневекового миропонимания, средневековой культуры в целом. В ней возникла защитная реакция - мощная вспышка средневековых интенций, настроений, религиозно-мистических устремлений.

Чудеса, мистические видения, знамения и пророчества, органично вплетаясь в ткань исторических сочинений смутного времени, служили их авторам важным подспорьем в осмыслении бессмысленных с точки зрения разума, иррациональных событий реальной действительности. Древнерусские книжники накопили богатый опыт объяснения иррационализма истории на уровне религиозно-эстетического сознания, и им не преминули воспользоваться писатели первой половины XVII века.

Для средневекового сознания сверхъестественные явления типа чудес, видений, знамений - феномены одновремен-

но и религиозного, и эстетического сознания. В первом случае они являются объектом (и предметом одновременно) веры, во втором - объектом эмоционально-эстетического восприятия, возбудителем духовного наслаждения. У средневекового человека эти две сферы были объединены теснейшим образом, и мы, размышляя о проблемах того времени, не должны забывать об этом. С точки зрения эстетического содержания, все названные феномены ближе всего подходят к той группе эстетических явлений, которую новоевропейская наука обозначила понятием *возвышенного*.

Знаменательными, то есть имеющими предсказательный, предвещательный смысл, средневековые книжники считали некоторые события реальной жизни, выделяющиеся из обычного ряда, или особые, как правило, символические картины, увиденные во сне или наяву некоторыми визионерами. Так, автор "Иного сказания" считал страшные московские пожары смутного времени знамением, грозным предупреждением всем, отступившим от пути истины. Таким способом, полагает автор, Бог учит нас, "многообразными образы и грозными знаменами яростно устрашая нас на путь заповедей святых Его" (ПСВ, 141).

Евстратий в "Повести о некоей брани..." описывает видение, явившееся ему и его товарищам, посланным для сбора войска по России. На облаках увидели они вдруг огромного льва, окруженного множеством зверей и стоящего напротив него "змия прелюта и прегорда" с сонмом малых змей. Затем видение неожиданно исчезло. Некий толмач с немецкого языка Григорий объяснил смысл видения: Лев - Василий Шуйский, змий - лже-Дмитрий Тушинский; скоро оба они исчезнут (ПСВ, 255-256).

Интересно заметить, что в этот традиционно-средневековый (даже народно-средневековый) тип символического мышления вторгается элемент нового сознания. Толкует религиозное видение не духовный подвижник, а человек новой формации - переводчик с немецкого, то есть человек ученый и ориентированный на Европу. Раз уж немецкий понимает, значит и символический язык видений ему нипочем - логика мышления Евстратия достаточно наивна, но строится

уже не по средневековым, а практически по законам Нового времени.

Очевидцы и первые историки Смуты описывают ряд видений, вероятно, наиболее популярных в народе того трудного времени. Суть их сводится к тому, что, как правило "в тонком сне", тому или иному персонажу открывается завеса времен, он видит фрагменты небесного бытия, связанного с происходящими на земле событиями, и ему дается указание повлиять на их ход, донести на участников божественную волю.

Популярной в те годы была повесть "О видении некоему мужу духовну". Ночью во время "тонкого сна" воссиял свет, раздался колокольный звон и "некий муж" позвал героя повести в Успенский собор, весь наполненный неземным сиянием. В алтаре увидел он Господа Бога на престоле, вокруг него ангелов, Иоанна Предтечу и святых пророков. Богоматерь обращается с мольбой к Сыну за род человеческий и он, снисходя к ее просьбе, обещает простить людей, если они раскаются и оставят дела греховные (ПСВ, 179-184; там же: 102-103).

В другом видении, явленном монаху Варлааму в Великом Новгороде, осажденном немцами, на престоле в Софии Новгородской восседала Богородица, окруженная святыми, молившими ее о помощи новгородцам. В этой "повести" с новой силой вспыхивает средневековая световая эстетика. Все видение пронизано сиянием, в семь (!) раз (чисто русская и даже новгородская конкретика) превышающим видимый свет: "и видех свет великий неизречен, зело сияюще, паче света зего светлее седмерицею" (ПСВ, 244). Некто вводит Варлаама в храм, наполненный неопикуемой красотой светозарной: "и видех посреди церкви свет не вечерний сияющ, яко железо разжено искры пушая, посреде ж света оного престол злат, имуще веле украшение, тысяща и тмы тмами изметан, еже неудобь человеку во ум вместити, и на престоле же седящу надежду нашу, Владычицу Богородицу и Приснодеву Марию... яко солнце сияющу". Светонный престол ее окружали сонмы небесных чинов с огненным оружием (там же, 245).

Популярным был сюжет и о видении некоему благочестивому Григорию в Нижнем Новгороде. Во сне увидел он, как поднялась вдруг крыша его дома "и виде свет велий, аки небо и солнце, и луну и звезды и всю красоту небесную. И видех Господа, сходяща во образ человечестей, аки птица крылата слетев... и сяде на персех моих". Рядом с ним появился человек, задававший Господу вопросы, из ответов на которые Григорий уяснил, что и как надо делать России (поститься, соорудить храм и т. п.), чтобы избежать грядущих бед и несчастий.

А во Владимире в том же году "явися пречудное видение и зело ужаси исполнено" некой Мелании: "внезапу отворишася двери храмины тоя и обсия мя свет несотворенный. И вниде во храмину ту жена в светлых ризах, поверх главы образ на руках держит велик и чуден велми". Она также передает через Меланию повеление народу поститься, молиться, вести благочестивый образ жизни, чтобы избежать кары небесной (ПСВ, 236; так же: 951-956).

Мы видим, что в описании видений книжники первой половины XVII в. стремятся сохранить и даже в какой-то мере усилить их чисто средневековую религиозно-эстетическую окраску. Световая эстетика сверкает здесь всеми своими гранями и свет, может быть, даже сильнее, чем в классическом Средневековье, замещает красоту. Последняя, в чисто средневековых традициях, представлена здесь в модусе возвышенного - объект возбуждает у зрителя удивление, трепет и восхищение, граничащие с ужасом и страхом. Практически каждое видение авторы сопровождают стереотипными формулами: "Аз же видех сия и ужасохся", "и чудяся тому неизреченному видению", "аз же недостойный от того ужасного видения в велице страсе и трепете пребых", "зря видения того страшного и ужасного", "видех, рече, чюдное видение и зело ужаса исполнено" и т. п.³ Именно этими формулами средневековые книжники пытались зафиксировать эстетически-религиозное переживание возвышенного. Духовное наслаждение от "страшных" видений средневековые люди испытывали, в частности, и по той причине, что воспринимали их как "образ" божественного

человеколюбия (см.: ПЛДР-9, 114), как знак контакта с Богом, дающим людям по своему "бесконечному человеколюбию" очередной шанс к спасению; как знак того, что Бог не отвернулся еще от них в своих милостях.

С этим же аспектом религиозно-эстетического сознания связаны и многочисленные чудеса, сопровождавшие основные события Смуты в повестях и хрониках того времени. В известном "Сказании" Авраамия Палицына, центральная часть которого посвящена подробному описанию обороны Троице-Сергиева монастыря, чудотворцы Сергей и Никон неусыпно охраняли основанную и взращенную ими обитель. Они являлись защитникам, ободряя и укрепляя их, и осаждающим - с угрозами и страшными пророчествами. По Авраамию, только благодаря их чудесному вмешательству осажденные так долго удерживали оборону.

Постоянной поддержке небесных сил, считает другой автор середины XVII в., обязаны были и казаки, выдержавшие осаду Азова бесчисленными ратями турок. Сама Богородица и Никола-угодник помогали осажденным, хранившим "чистоту телесную и душевную", соблюдавшим пост, постоянно воссылавшим молитвы к Богу. Многие из осажденных видели, кто во сне, а кто и наяву, говорится в "Повести об азовском осадном сидении", "ову жену прекрасну и светлолепну на воздухе стояще посреди града Азова, ини мужа древна, власата, в светлых ризах взирающ на полки бусурманские" (РП, 70); нередко был слышен голос Богородицы, укреплявший осажденных.

Многие чудеса совершались во время осады. У образа Иоанна Предтечи при каждом наступлении "бусурман" текли из глаз слезы, а в первый день осады лампада перед ним была полна слез. Некий юный муж с мечом помогал казакам при вылазках, поражая множество осаждавших. Его видели сами турки. Бежали они из-под Азова тоже от ужасного, по рассказам пленных, видения: от Москвы пришла по небу страшная туча и встала над турецким лагерем. "А перед нею, тучею, идут по воздуху два страшные юноши, а в руках своих держат мечи обнаженные, а грозятся на наши полки бусурманские"; из Азова же вышли страшные

воеводы и "пластали" турок надвое. Это видение и решило исход осады - турки позорно бежали, хотя у казаков уже не оставалось никаких сил для обороны (РП, 71-72).

Чудесами переполнены и многие другие повести первой половины века. Муромским крестьянкам сестрам Марфе и Марии было дано в видении настоящее золото и серебро, из которых прибывшие (за три часа!) из Царьграда ангелы отлили чудотворный крест. Открытый через 9 лет после захоронения гроб Ульянии Осорьиной оказался наполненным миррой, исцелявшей многих от болезней. И ряд подобных чудес в литературе этого времени может быть значительно продолжен.

Средневековый мотив чуда, видения, знамения, то есть сверхъестественного вмешательства (физического или предвещательного) в жизнь людей, играл важную роль в религиозно-эстетическом сознании того времени. Он явился своеобразной реакцией этого сознания на сложные, трагические события "бунташного века", - сознания, ищущего опору в прошлом, в освященных многовековой традицией стереотипах художественного мышления и религиозного опыта.

В средневековом духе осмысливают писатели смутного времени и духовное наслаждение - цель и смысл жизни христианина. Тяжкие испытания, трагические события, обрушившиеся на русский народ, побудили людей духовных, как и обычно в подобных ситуациях в истории христианского мира, с особым вдохновением размышлять о наслаждениях, уготованных в награду мученикам, подвижникам, всем страстотерпцам, притесняемым в этом мире.

Особую популярность и сочувствие у народа приобретает в это время образ убиенного царевича Димитрия (чем собственно и воспользовались самозванцы и их покровители). В народном сознании он окутан ореолом мученичества; при этом особый акцент сделан на посмертном вознаграждении за мученическую смерть, что должно было, по убеждению книжников, укрепить дух множества безвинно гибнущих за правду, веру, отечество людей смутного времени.

Душа младенца Димитрия, пишет автор "Иного сказания", после злодейского убийства отлетела в мир радости и неописуемых наслаждений - "возлетев к селом небесным и ко престолу трисолнечного Божества и неизреченныя и божественныя оная и недомыслимыя видением заря наслажаяся восприятия" (ПСВ, 8). Вожденное для любого христианина наслаждение, ради которого он готов терпеть все невзгоды этого прекрасного в частностях, но с трудом переносимого в целом мира, мученик получает сразу, ибо мученическая смерть очищает душу, освящает ее. Любая же святая и праведная душа "со ангелы ликовствует и радуется исполнения славы божественныя истиннаго света, и сияет яко солнце, посреде божественных ангел к первому Свету еже и ангелом неведому самому Богу, яко светило светло" (ПСВ, 9). Этот духовный идеал, наполнявший светом тихой радости душу каждого христианина средневековой Руси, продолжал светить и многострадальным русским людям начала XVII столетия.

Автор "Жития царевича Димитрия" сообщает, что и тело мученика осталось нетленным. Когда через 15 лет после захоронения мощи царевича перевезли по указанию нового царя Василия Шуйского в Москву, то оказалось, что и тело, и одежда совершенно не изменились от лежания в земле. Более того, тело его "цело и ничем не вредимо, но светло соблюдеся, сияя, яко цвет прекрасный от плода добротворения, посреде всетленных" (ПСВ, 892). Душа царевича, сама наслаждаясь в царстве небесном, через это прекрасное тело передает кое-что от своих духовных радостей и еще живущим людям, услаждая их взоры прекрасным видом мощей и даруя исцеление страждущим - "сладкою снедию, яко райскою пищею, негиблемою насытив неоскудную трапезою" (891).

Торжественное перенесение мощей Димитрия в Москву было воспринято народом как исправление допущенной некогда несправедливости, восстановление правды и благочестия, вселявшее в души надежду на окончание бед и страданий народных. Агиограф описывает, как все люди московские вышли с крестами, свечами, кадилами, с пением и

великой радостью встречать мощи. Сам царь "велию радостию возвеселися... о пришествии святого во отечество свое". Открыв гроб, он увидел "тело святого, ака шипок (роза) благоуханен посреди раю цветущи, ...и обоня воня неизреченная благовония" (894).

Царевич Димитрий безвинно принял смерть в отроческом возрасте, не помышляя о ней и не готовясь к ней, как и многие люди в период Смуты. Однако далеко не все из них, по представлениям средневековых идеологов, были так же безгрешны, как Димитрий. Трагические события начала века опять выдвинули на одно из первых мест в общественном сознании идею бренности и скоротечности земной жизни, напомнили христианскую мысль о необходимости в любой момент быть готовым предстать перед высшим Судией. Отсюда опять возрастает авторитет подвижников, посвятивших свои жизни Богу, усиливается интерес к их жизни, учению, соответственно, опять повышается значение агиографии и эстетики аскетизма. Жития святых, по мнению писателя того времени Семена Ивановича Шаховского, "возжеленны... во ушесех кротких, якоже всегдашнее непоение новосажденному древеси" (ПСВ, 838).

На пороге Нового времени князь Шаховской с неменьшим воодушевлением, чем отцы-пустынники IV в. или первые русские книжники возносит хвалу подвижникам, их чисто духовным устремлениям, бесстрастному образу жизни. "Бяше же поистинне чудно видети, яже по Бозе житие их", как они, уединившись в горах, лесах, пустынях, проводят дни и ночи в молитвах и псалмопениях. "Лишишася всего мира, да Творца всего мира насладятся", покинув людей, они беседуют с ангелами, оскудев телом, они обогатились духом, отринув земные почести и славу, они получают славу небесную наравне с ангелами. "О дивьства дивнее такое житие и ангелы чудимо пребывание и естество плоцкое преходя" (ПСВ, 839-841). Отказавшись ото всех земных радостей и утех, подвижники приблизились к Богу, обретя в нем неизреченную радость и успокоение. "Несть никто же, точию Господи един бысть им утеха и отрада и прибежище и хранитель. Приблужиша бо ся к Нему невозвратно, и Он

приступи к ним; возлюбisha Его, и вдастся им; взыскаша Его и вселися в ны" (842).

Отнюдь не легким, однако, был путь подвижников к этому единению с Богом, к небесным наслаждениям. Для многих он был именно подвигом, совершаемым в течение всей жизни и непосильным для большинства людей. Отсюда и особое почитение к подвижникам в народе.

Как сообщает, например, "Житие преподобного Иринарха", этот чудотворец и провидец ходил круглый год босым и в ветхой одежде, носил на себе "железа тяжкая и на ногах пута" (1361). По преставлении старца на его теле обнаружили "сто сорок два креста медных, да семеры труды плечных, да уже (цепь) железное двадцати сажень на вые было, да путы железные ножные, да на руках было на персех оковцов железных и медных 18, да связки носил по поясу туги пуд, да палка железная; и трудился: невидимых бесей изгаял" (1405).

Слишком суровая аскеза Иринарха была не по душе даже монахам, которые изгоняли его из монастыря, выбрасывали из кельи. Старец же со сломанной рукой "повержен един лежаше, радуясь о оскорблении", молил Бога о прощении и спасении своих гонителей (1387). За столь великие подвиги "дал ему Господь прозрение видети в человецех тайная" (1370) и творить чудеса. В будущем же веке его ожидало вечное наслаждение. "И ты в Вышнем Царствии пространно поживеши и насладишися пищи небесныя", - возвещает ему явившийся во сне святой Авраамий (1359).

В период социальных неурядиц, смуты и всеобщего брожения, когда князья, бояре и народ толпами переходили от одной враждующей стороны к другой, именно духовные подвижники выдвигаются в ряд идеальных героев. Их ориентация на высшие духовные ценности и нравственные идеалы, их удивительное мужество и негибкость духа, презрение к тяготам жизни, превратностям судьбы, физическим страданиям и к самой смерти, постоянство и негибкость их внутренней установки делали их в глазах народа носителями правды, национальными героями, истинными патриотами. Именно у них в самые сложные моменты ис-

тории народ и его вожди находили моральную поддержку, получали новый заряд духовной энергии.

В Ростове, занятом поляками, тот же Иринарх постоянно заявлял захватчикам, что он человек русский и православный, и страстно молился за царя Василия, желая ему победы над врагами (1381). Князя Михаила Скопина он благословляет на борьбу с Литвой, укрепляя его патриотические чувства (1382). И этот пример отнюдь не единичен для того времени.

Таким образом, идеалы христианской аскетики в начале XVII века приобретают новую силу и значимость, теснейшим образом переплетаясь с идеями борьбы за правду, нравственность, национальную самостоятельность и самобытность.

Драматические события первых десятилетий XVII века возбудили в умственной жизни новую волну отрицания земной, суетной и бессмысленно жестокой жизни, пробудили ностальгию по возвышенным духовным идеалам, во всем противоположным обыденной действительности, привели к новым поискам таких идеалов. Существенно, что поле этих поисков активно переместилось в сферу эстетического, духовная нагрузка которой значительно возросла. Ярким выражением этого является трактат "О царствии небесном", автором которого считается князь И. А. Хворостинин³.

В духе раннехристианских мыслителей он призывает своих читателей "возненавидеть" мир и "яже суть в мире", то есть "похоть плотскую", похоть очей и "горкость житейскую" (43). Человек, напоминает он, лишь странник на этой земле, но полноправный гражданин неба, куда он и должен вернуться, как существо духовное. "Тело убо земляно есть, но человек несть тело, человек есть душа в теле, ум есть небесный и божественный, род Божий есмы" (43). Столь высоко оценив человека, автор призывает его быть достойным своего высокого положения и назначения в универсуме, отказаться от излишней привязанности к земле, к материальному и вспомнить о духовном. "Что стены и землю красиши, сам же наготю пребываеши?" (45), упрекает он своего современника, имея в виду наготу духовную. Об-

лечся в одежды духа, прозреть духовно для усмотрения неземной красоты страстно желает Хворостинин своим читателям. А красота эта разлита в царстве небесном, обретение которого и должно составлять цель жизни человека в этом бренном мире. Весь трактат собственно посвящен многословному, пестрому и изощренному восхвалению красоты царства небесного.

Все красоты мира сего (дворцов, роскошных тканей, земной музыки и т. п.) - ничто по сравнению с красотами небесного царства. Восхваляя их, автор подчеркивает принципиальную вынесенность их за пределы земного человеческого понимания, восприятия и описания. "...Который язык может ты ноне мало коснуться?" (33) - риторически вопрошает автор у украшенного Богом "небесного сиона". Напомнив слова "Великого Богослова" о небесном строении из "злата чиста и камней драгих", автор разъясняет, что речь здесь идет не о земных материалах, а о духовных, не поддающихся прямому словесному выражению (33).

Отказавшись от попытки непосредственно описать сущность и красоты небесного царства, автор трактата стремится возбудить у читателей представление о нем путем описания эмоционально-эстетической реакции на эту красоту идеальных жителей небесного царства - праведников, которым оно предназначено. Автору известно только, что там "место вечнаго покоя и некончаемого благоточнаго наслаждения, идеже есть свет не вечерний и крайнее благих наслаждение... неизреченное празднество, некончаемое ликование, безпрестанное веселие, <...> благорадованное веселие, неведомая сладость, неизреченная светлость, ненасыщаемое зрение..." (30-31) и т. д. и т. п.

Всё в царстве небесном направлено на духовное услаждение зрения и слуха небожителей, которые будут "яко ангелы Божии". Сами тела воскресших останутся теми же и одновременно "красновидно изменятся", так что об их новой красоте "вышестествене разумевати подобает нам" (37), ибо будет она "неизреченна" в своем "божественном осиянии" (31). Видимая красота человеческого тела достигнет, таким образом, своего предельного, идеального выражения.

В том же плане понимает автор трактата и небесную музыку - как запредельное совершенство музыки земной, доставляющее неописуемое наслаждение небожителям. Это немолкающее пение небесных чинов: "херувимское славославие небесных сил" (27); "неописуемая и благогласная праздники невмещаема слухом ушес, изытием сердца не-смыслемы" (30); "пение тамо ангельское, не гласы бо мусикиискими, ниже струны краснопевными zde тлеемыми, но недостижаемыми некими высокогласными ангельскими пении воспевается и глаголется божим духом движимо". И нет ничего "сего пения сладостнейши" и "предивнейши" (34).

Источником и центром всей этой идеальной духовно-эстетической ауры, некоего абсолютного моря духовной красоты и наслаждения является сама Троица, описанная автором в изошренной световой терминологии - это "пребожественный в трех составах единосущный пребезначальный живоначальный и вышеначальный неизследимый неописанный недоведомый тресветлый свет" (31). Именно он немолчно воспевается и восхваляется на все лады ангельскими чинами как источник красоты, как "светодатель и благодатель", как главный объект духовного наслаждения. "Тамо" же "сияет тмами солнца светлейшии неизреченный свет божественного лица Господа нашего Иисуса Христа" (30).

Этот ареопагитовский световой аспект божества был популярен на Руси. Еще в начале XVI в. его активно разрабатывал Иосиф Волоцкий. Однако у автора начала XVII века он достигает, пожалуй, крайних форм изошренности, какого-то рафинированного эстетизма, неожиданно ассоциирующегося с чем-то, напоминающим духовный маньеризм или экзальтированную световую мистику барокко. В своей устремленности в мир высших реальностей автор как бы преодолевает узко конфессиональные и национальные рамки и прорывается в тот уровень духовности, который был характерен для европейско-христианской культуры того времени.

Божественный свет небесного царства является "ненасыщаемой пищей" и "ненасыщаемым зрелищем" для всех его обитателей, той вожденной пищей духовной, которой так

алчет человек на земле. "Тамо" же все будут просвещены этим "божественным светом разума и возсияет во сердцах веселие и сладость страха Божия и озарит благоразумным светом разумением ко истинному зрению неприкосновенная славы величества его" (31). Вся "небесная" эстетика, таким образом, в конечном счете ориентирована на постижение, "разумение", "истинное зрение" умонепостигаемого абсолюта, то есть имеет своеобразную гносеологическую ориентацию. Постоянное духовное созерцание, "неусыпная бодрость и духовное пребывание и легостное некое движение", доставляющие неопишемое духовное наслаждение, - в этом, по глубокому убеждению автора, и состоит "высочайшая жизнь" (32), которая обещана всем праведникам.

Подробно описанный в трактате религиозно-эстетический идеал, по существу, является содержанием той категории, которая в европейской эстетической традиции получила название *возвышенного*. Средоточие духовного света и красоты, источник высшего и нескончаемого наслаждения в небесном царстве, одновременно, и - источник страха и ужаса ("свет ужаса исполненный" - 44). Представленный Хворостининым идеал, как концентрация высших ценностей, настолько высоко вознесен им над эмпирическим миром, что возбуждает в человеке "сладость страха Божия" то есть чувство возвышенного. При этом на самой "*сладости*" делается на протяжении всего трактата столь сильный акцент, что проповедуемый в нем религиозно-эстетический идеал далеко выходит за традиционные рамки средневекового мировоззрения.

Итак, социально-политическая "смута" начала XVII в. возбудила и умножила целый ряд духовных феноменов, с помощью которых общественное сознание того времени стремилось если не найти прямой выход из затянувшегося кризиса, то по крайней мере укрепить сущностное ядро культуры, создать духовные предпосылки для последующей стабилизации и развития социально-культурного организма. Понятно, что каждому историческому этапу соответствуют свои формы выражения духовности и свои спо-

собы ее активизации. На закате русского Средневековья они локализовались, прежде всего, в религиозно-эстетической сфере православия и носили, как правило, маньеристский, экзальтированно-визионерский характер.

Какие формы сегодня обретёт (и обретёт ли) отечественная духовность, пока неясно. Очевидно одно. Без мощного духовного всплеска, без глубинного всеобъемлющего духовного преображения невозможно истинное культурное и нравственное возрождение России. Она или должна сделать новый, доселе еще не происходивший в истории культуры духовный взлет в наше предельно бездуховное компьютеризированное время и явиться человечеству проводником новой духовности, или - превратиться в навсегда отсталый аграрно-сырьевой придаток супертехнизированной интернациональной цивилизации земли, утратившей даже смысл таких понятий, как культура и духовность.

Примечания

1. Подробнее о нем см.: В. О. Ключевский. Сочинения. Т. 3. Курс русской истории. М., 1957. С. 241-242.

2. Тексты XVII в. в данной статье цитируются по следующим источникам с указанием в тексте в скобках страницы:

ПЛДР-9 - Памятники литературы Древней Руси. Конец XVI - начало XVII веков. М., 1987.

ПСВ - Памятники древней русской письменности, относящиеся к смутному времени. Русская историческая библиотека. Т. 13. Спб. 1909.

РП - Русская повесть XVII века. М., 1954.

3. Текст трактата цитируется по изданию: Из истории русской литературы XVII века. Сочинение о царствии небесном и о воспитании чад. Памятники древней письменности. Вып. 93. Спб., 1893 с указанием в скобках страницы.

Леонид БОРОДИН

Полюс верности

Надзиратель всегда враг заключенному. Враг, когда тащит в наручниках в карцер и когда выпускает из карцера; враг, когда рычит с перекошенным лицом: "Моя воля, я бы тебя..." и когда вежливо обращается на "вы"; враг, когда вручает посылку и когда сообщает о лишении таковой; враг, когда следит за тобой и когда просто проходит мимо; он - враг в погонах рядового и офицера, он-враг днем и ночью; и в последнюю минуту твоего пребывания в лагере или тюрьме он такой же враг тебе, как в первую минуту пребывания в пределах его власти.

Такова аксиома взаимоотношений двух категорий людей, совмещенных законом в своеобразном социуме, именуемом местом заключения. Я говорю о советских местах заключения, и названная аксиома есть порождение специфически советских условий, в которых сосуществуют друг с другом советский политзаключенный и советский надзиратель.

На 11-й лагпункт нас увезли группой в 14 человек, но двое наших, Е. Вагин и А. Аверичкин, были уже там. Изолируя от остальных заключенных, под конвоем надзирателей нас провели через всю зону к вещевому складу, где мы должны были разменять наше гражданское индивидуальное одеяние на стандарт, состоящий из серых брюк, серой куртки, башмаков и типовой фуражки кубинского образца. Конечно же нам хотелось скорее пожать руки друзьям, которых мы не видели более года, а некоторых и не знали - по законам организационной конспирации. Аверичкина, по крайней мере, почти никто не знал. Не обра-

шая внимания на окрики надзирателей, мы успели перекинуться с друзьями несколькими фразами. И вот тогда-то один из надзирателей произнес великолепную фразу, ради которой я восстановил этот эпизод. Сказал он беззлобно и с таким равнодушием, что в убежденности его сомневаться невозможно. Вот эта замечательная фраза:

"Так вы, значит, по одному делу, да? И они за клевету, и вы за клевету?"

Мы были поражены. Перед ним стояли шестнадцать молодых здоровых мужчин, осужденных... за клевету! Как он, бедный пасынок Гулага, представлял себе эту самую клевету, как мог он вообразить клеветствующими хотя бы ту, большую часть из нас, что ростом выше метра восемьдесят, которых, бородатых и безбородых, уж, в конце концов, можно было посчитать за гангстеров, за конокрадов... Но ему сказали, что за клевету... И он верил. Мы, конечно же, не обиделись, но именно вера его в установку, вера, исключая всякую работу мысли, - она потрясла нас.

И второй эпизод из десятков, каких мог бы назвать любой.

Лагерь 17^а был маленький, сто человек. Автоматчики на вышках знали каждого в лицо и пофамильно. С них требовалось это знание, оно обеспечивало дополнительный контроль за каждым, потому, как известно, что "сверху видно всё".

Валерий Ронкин прогуливался вдоль "запретки", и автоматчику-мальчишке казалось, что он гуляет ближе к "запретке", чем это положено. "Эй ты, фашист, а ну отойди" - крикнул солдат, пошевеливая автоматом. Ронкин поднял голову, спросил спокойно: "А почему я фашист?" "Знаю! - зло ответил тот. - В войну детей убивал!"

- Дурачок! - уговаривал его Ронкин. - Ты хоть посмотри на меня внимательно! Мне же в войну три года было!

- Все вы фашисты! - Ничуть не смущаясь, ответил солдат и отвернулся. Ему было сказано, что фашисты. И он верил. Он не перестал бы верить, если бы даже увидел

паспорт "фашиста", где указан год рождения 1938 и национальность "еврей".

Надзиратели - самая оболваненная категория населения нашей страны. В этом они превосходят даже школьных учителей. Надзиратели - самые несчастные обитатели архипелага. И потому аксиома вневременной и безотносительной враждебности не обладает свойством обратной связи, т. е. она не обуславливает ее.

Сегодня, через три года после освобождения*, анализируя свое теперешнее отношение к надзирателям, с уверенностью могу сказать, что ненависти, если говорить о надзирателях вообще, не испытываю, но если уж говорить вообще, то и сочувствия - тоже, хотя сочувствия они заслуживают, как и прочие, кто есть по судьбе одновременно и орудие зла, и жертва его.

Срок, что отбыл я в заключении, ничтожен, и мои рассуждения на эту тему могут вызвать возражения тех, кто провел там половину жизни. Я заранее принимаю эти возражения, потому что видел настоящую, неизлечимую и неиссякаемую ненависть к надзирателям со стороны долгосрочников, ненависть, которую те просто не заслуживают по ничтожеству своему, но она, эта ненависть, есть такое же наследие Гулага, как язва желудка, ревматизм или преждевременная старость, и осуждать ее невозможно.

* * *

Сталкиваясь с подлостью, с жестокостью, с садизмом жрецов Гулага, часто задавал я себе вопрос: как это происходит, что люди теряют человеческий облик, что мучительство становится удовольствием, какая психологическая операция совершена над ними, вытравившая из их душ способность к сочувствию, к жалости, к снисходительности?

* То есть в 1975 году. Это был первый "срок" Л. Бородина.

Во многом я сомневался, когда поднимал руку на этот строй, физически страдал от сомнений на следствии, и не попади я в лагеря и тюрьмы, выйди я из зала суда на волю, годы понадобились бы мне еще для того, чтобы сделать окончательные выводы, чтобы выработать в сознании оптимальный вариант цельного мнения о сути нашего бытия. Лагеря и тюрьмы в общем типаже надзирателей открыли мне ту конечную перспективу трансформации человеческой психологии, что именуется "воспитанием нового человека". На "материке" "воспитание" всё же не достигает цели в идеале, этому препятствуют многие факторы сопротивления, что противоядием заложены в человеческой душе. "Архипелаг" обладает идеальными условиями для "воспитания". Если бы власть имела возможность пропустить все молодые поколения через, положим, пятилетнюю службу на "Архипелаге", вместо армии, не состоялись бы даже хрущевские реформы.

* * *

Я хожу по улицам славного города Владимира и всматриваюсь в лица прохожих. Я достоверно знаю, что среди них в обычном человеческом облике бродят несколько сот надзирателей Владимирской тюрьмы, и каждый, идущий мне навстречу или обгоняющий меня, может оказаться, к примеру, начальником режима тюрьмы полк. Николаевым.

Я говорил ранее, что не вынес из заключения ненависти к надзирателям вообще. Вообще - да! Но в частности - маленький человек в полковничьем мундире, злобный карлик с бесцветными глазами, с гримасой эпилептика на губах - я очень хотел бы встретить его на улице и слава Богу, что он мне не встречается. Я не поднял бы руку на него, как не поднял бы на любого другого урода, но я знаю эту внутреннюю нервную тряску, когда нет слов, потому что их слишком много, и они топчут друг друга и не рождаются звуками, когда ногти впиваются в ладони, но ты знаешь, что это не кулаки, а только судорога, когда обнаруживаешь на своем лице болезненную и бессмысленную улыбку, а зубы не сжимаются, а стучат в ознобе. Так реаги-

рует естество человеческое на явление перед ним его палача. Это ненависть. И я не хочу ее испытывать. Пусть никогда не встретится мне начальник режима...

А там, у газетного киоска, сутулый и вислозадый, не полковник ли Золотов (какая фамилия!) - главный перевоспитатель тюрьмы, написавший мне при освобождении в характеристике, что помимо всего прочего в камере я занимался пропагандой войны (!), человек фантастической глупости, какой только и может обладать "главный перевоспитатель".

На скамейке около тюрьмы каждый рабочий день с восьми часов утра можно увидеть бывшего главного "опера" тюрьмы полковника Водина. Ныне он на пенсии и состоит юрисконсультантом при тюрьме. Работы у него немного, потому что законность в тюрьме торжествует, а относительно своих прав заключенные в консультациях не нуждаются. Это о нем, о Водине, пелось в тюремной песне: "С чего начинается Родина?/ Она начинается с Водина". Справедливости ради следует сказать, что Водин считался на фоне прочих почти "хорошим", хотя, если у кого есть другое мнение, оспаривать его не буду.

Всех надзирателей можно условно разделить на три категории.

Первая, самая меньшая, но я постараюсь сказать о ней побольше, это - "человеки". Т. е. чудом оставшиеся людьми на нечеловеческом поприще.

Вторая - это "пунктоглофы", т. е. соблюдающие до мелочей требования тюремного устава, но не злоупотребляющие служебным положением. Эта группа больше первой, но не велика.

Третья и самая большая часть - "любители", т. е. любящие надзирательство, испытывающие моральное удовлетворение от отправления культа надзирания и подавления - и приобретшие, как следствие своего пристрастия, садистские наклонности.

Коль начался разговор третьей категорией и Владимирским центральным, то как не упомянуть "корпусного" с нежной фамилией Сарафанов. Имел он две клички: "Сорек пер-

вый" и "Полотенце". Однажды за одно дежурство написал он сорок один рапорт на заключенных, рапорт, т. е. донос, по которому лишают ларька и бросают в карцер. Что же касается "полотенца", то это уже из области психиатрии. Почему-то он не выносил вида висящего в камере полотенца. В его дежурство после отбоя начиналась всегда одна и та же история: открывалась кормушка, и в камеру врывался рык: "Убрать полотенце!". Убрать полотенце нужно было так, чтобы его не было видно из глазка камеры. Если вы только перевешивали его с одного места на другое или просто бросали на тумбочку или опорную рейку нар, кормушка хлопала снова, и с усиленной яростью следовал приказ: "Убрать полотенце!" По третьему разу следовал рапорт и все вытекающие из него последствия.

Надзирателям не разрешается бить заключенных, но ведь хочется! Ведь политзаключенные, это же сволочи, они "права качают", на "вы" требуют. Нет такого сильного желания у человека, которого он не сумел бы удовлетворить. Сарафанов умел. Дерзкий заключенный вызывался в коридор, где его обступали двое или трое односменных надзирателей, и один из них, встав носом к носу с намеченной жертвой, вопрошал шипяще: "Права качаешь?" (легкий толчок в подбородок, почти только касание). "Грамотный, да?!" (легкий рывок за рукав). Дернись при этом заключенный, подними руку для самозащиты, или того хуже, дотронься или прихвати руку надзирателя - сопротивление! Этого и надо. За этим следует заламывание рук, причем не очень, чтобы оставить возможность к сопротивлению. Вывертываешься! Лягнул по ноге! Боднул головой! Вот тут-то и можно отвести душу.

В щель форточной кормушки наблюдал я однажды, как Сарафанов несколько минут провоцировал на сопротивление двадцатилетнего паренька из Красноярска Валерия Петрашко. Сцепив руки за спиной, стоял сибирский протестант лицом к лицу с тремя надзирателями, крепкими полномордыми мужиками, смотрел кому-то из них в глаза и молча дергался головой и плечами от тычков то в подбородок, то в переносицу, то в бок... Его не били, но

по мне легче перенести неравную драку, т. е. избивание, чем такое вот утонченное издевательство. Отчаявшись почесать кулаки, Сарафанов *втокнул* Петрашко в камеру. Слово выделено не случайно. Легкий толчок в спину на пороге камеры, когда человек уже должен расслабиться, поверив, что от него отстали, толчок этот может свести на нет минуты мужества. Толчок неожиданен. И невольно срабатывает инстинкт сопротивления... Может вырваться рука движением, напоминающим взмах, да и слово может слететь резкое... Тогда тебя рванут назад из камеры, дверь захлопнется и свершится-таки... В лучшем случае, тебе скрутят руки так, что несколько дней будут помнить они профессиональную ловкость рук надзирательских.

Сам я лишь случайно избежал однажды хорошей взбучки. Не помню сейчас, по поводу чего сцепился с Сарафановым. Заскрежетал замок, распахнулась дверь камеры, и Сарафанов скомандовал: "А ну, выходи!" Я видел за его спиной других надзирателей и понимал цель вызова, но был больше чем зол, а в такие минуты инстинкт самосохранения отказывает... Я уже было сделал шаг, но по обе стороны, взяв меня за руки, оказались два моих сокамерника - сионист Яков Берг и коммунист Юрий Федоров. "Выйдем только втроем!" - сказал Берг. "Или вызывайте дежурного офицера", - добавил Федоров.

Сарафанов, кажется, и поныне служит в означенном заведении, потому что видел я его около здания тюрьмы во время суда над В. Осиповым, который проходил в Красном уголке или клубе курсантов-надзирателей, училище которых находится тут же, при тюрьме. Под нашими окнами за тюремной стеной тренируется в шагистике юное поколение надзирателей, отсюда же уходят они с бойкими песнями на парады в дни великих праздников, и радостные владимирчане приветствуют их на праздничных улицах улыбками глубокого расположения к доблестным защитникам внутреннего покоя государства.

Молодые надзиратели! Чудо коммунистического воспитания!

Впервые я оценил их в следственной тюрьме Ленинграда.

Там главный костяк составляли сталинские кадры, отслужившие в бастиионе Питерского ЧК по тридцать лет. Фамилии их законспирированы. То есть их просто нам не говорили, и потому я могу лишь привести клички некоторых из них. "Красавчик", например. У него была еще и другая кличка, но мне неудобно ее называть. Уже давно выживший из ума старик забавлялся тем, что в ночные дежурства подходил вплотную к двери какой-нибудь камеры и издавал плотью своей звук, напоминающий ржание взбесившегося коня, а если вы, паче чаяния, в этот момент тоже оказывались у двери, то спешили заткнуть нос, потому что старому кадру ГБ удавалось так испортить воздух, как это не сумела бы сделать лошадь самого Буденного.

Был там такой кадр - по кличке "Сова" или "Хрыч", - любивший через кормушку колотить по ногам спящего заключенного шваброй по ночам, если он закрывался одеялом с головой от электрического света.

Другого, кривобокого и сутулого, не раз видели подглядывающим в женскую камеру, где сидела Валентина Машкова.

Усталыми шаркающими шагами бродили по коврам внутренней тюрьмы мастодонты эпохи, всё пережившие и выжившие (в том числе и из ума) динозавры. Но почти у любого из них вы могли при случае получить лишнюю кружку кипятка, иногда даже с заваркой цвета детской мочи.

Молодой же надзиратель - о! это совсем другое дело! Все, сидевшие в то время и позже в ленинградской следственной тюрьме КГБ, запомнили крысиную мордочку чернявенького комсомольца по общей кличке "Гаденыш"! Я говорю "по общей", потому что клички возникают одновременно в разных камерах, координируются. С юным комсомольцем произошло редчайшее чудо. Кличку "Гаденыш" он получил по общему несогласованному порыву выразить каждому свое мнение о нем.

"Гаденыш" относился к службе, как к азартной игре. Это был новый, послекультовый тип надзирателя, сотворенный "воцарившейся законностью" после критики "сталинских

перегибов". Он олицетворял эту законность, он сиял этой законностью, он демонстрировал ее разящим отличием в поведении от надзирателей старого типа. Он обращался только на "Вы", он никогда не кричал, он не тарабанил по двери камеры ключами, когда делал замечания по режиму. Он тихо открывал кормушку, так тихо, что вы этого не слышали, и тихим "законным" голосом говорил вам, что лежать на койке днем нельзя.

Если вчера вы пришли вечером смертельно уставшим с допроса и потом не спали почти до утра, в дежурство "Гаденыша" днем вам не удастся вздремнуть ни в лежащем положении, ни в сидячем, ни уткнувшись подбородком на ладонь, ни прикрывшись сбоку воротником пальто; и даже если книгу разложите на коленях и в полудремотном состоянии будете перелистывать ее - вам не обмануть бдительности "Гаденыша", потому что для него ловить вас - красться на цыпочках к камере, предварительно громко простучав сапогами в обратном направлении, приоткрывать глазок лишь на миллиметровую щель, так, что вы даже не заметите движения заслонки и не услышите шороха под дверь, бесшумно вставить ключ в замочную скважину кормушки, а потом внезапно открыть ее - всё это для него, как полная ладонь козырей, и он не может сдерживать и скрывать своего восторга, поймав вас на очередном "нарушении", и вот как раз по этой гнусной полуулыбке азарта прозвали его "Гаденышем".

В 1967 году изолятор ленинградского КГБ оказался неожиданно переполненным. Кроме 21 члена ВСХСОН там было несколько групп перебежчиков (в том числе, группа Юрия Машкова), несколько групп валютчиков и контрабандистов, несколько очередных "за войну" и пр. Надзирательского состава не хватало, и были переведены временно на эту работу из управления МВД молодые парни - милиционеры. Это произошло примерно на пятом или шестом месяце нашего сидения, и мы сразу почувствовали разницу характеров кагебистов и милиционеров. Последние выполняли вполне добросовестно возложенные на них обязанности, но ни малейшего энтузиазма в выполнении не проявляли. Мне

все они запомнились хмурыми и недовольными, либо безучастными и равнодушными к временной службе.

Любопытный конфликт произошел однажды между одним из милиционеров и "Гаденышем". Раз в неделю нас водили бриться в отведенную специально для этого камеру в общем тюремном коридоре, где под контролем надзирателя скребли мы свои лица тупыми лезвиями. С обновлением состава надзирателем по бритью стали назначать милиционеров. С ними мы успевали поговорить о том, о сем за минуты бритья, конечно, не о деле, а о погоде, о новых кинофильмах и лишь иногда осторожно прощупывали их отношение к нам и КГБ. К нам любви они, разумеется, не питали, любопытство заранее было подавлено служебными предостережениями и соответствующей информацией. Но и к КГБ любви с их стороны мы тоже не замечали. Кагебисты-надзиратели в свою очередь относились к ним, как к неполноценным, как к людям низшего ранга и сорта, и, надо полагать, не только по своей инициативе, частенько подслеживали за помощниками из МВД.

Однажды, во время обычного беспредметного разговора бреющегося заключенного, или, как там называют, подследственного, с милиционером, тот вдруг насторожился, покосился на приоткрытую дверь камеры-парикмахерской (закрывать ее не полагалось), затем тихо поднялся, подкрался к двери и резко распахнул ее. За дверью стоял смутившийся "Гаденыш".

- Слушай, ты, сука... - только и сказал милиционер. Большого он не смог себе позволить. "Гаденыш" побелел и быстро ретировался.

Связь - это самое главное в жизни заключенных. Пресечение ее на следственном этапе - главная задача надзирателей. Но поскольку для надзирателей это только задача, а для заключенного - жизненная необходимость, последний всегда практически в преимуществе.

Когда же задача, служебный долг превращаются и у надзирателя в жизненную необходимость, в предмет удовольствия и наслаждения, тогда заключенный теряет свои преимущества, тогда борьба за связь и борьба со связью

превращается в соперничество "интеллектов". С одной стороны, предельно мобилизованная на "творчество" личность заключенного, жизненно заинтересованная в связи и подгоняемая азартом соперничества, а с другой - самопрограммирующийся робот, вооруженный правом, властью, опытом и заинтересованностью.

Два месяца я вел такую борьбу с "Гаденышем". Думая, по наивности, что он на мне специализируется, но потом оказалось, что его хватает на всех.

В соседней камере сидел Ю. Машков. У него не было денег на газеты, и я почти ежедневно отстукивал ему политическую хронику.

Недели две я мучал "Гаденыша" тем, что, накинув на плечи пальто, садился на кровать, раскрывал на коленях книгу, придерживал ее правой рукой, а левой из-под полы пальто стучал в стену огрызком карандаша.

Благопристойность позы смущала "Гаденыша", а тонкий комсомольский слух улавливал стук. Он нервничал и страдал, как сыскной пес у следа. Я внимательно следил за глазком и при малейшем движении заслонки прекращал стук и перелистывал страницу. Наступил, однако, тот день, когда "Гаденыш" открыл кормушку и сияющий заявил: "Я напишу рапорт. Уберите руку из-под пальто".

Пришлось перейти на послеотбойный способ связи. В нем было больше риска, потому что в тюрьме, и без того сохраняющей склепную тишину, ночью эта тишина казалась воцарением небытия. Но способ связи был еще более великолепным. Дисциплинированно положив голову на подушку, левую руку на одеяло, правую просовывал я под подушкой, и маленькая пуговица, найденная на прогулочном двореке, отправляла соседу информацию и просто радость общения. "Гаденыш" похудел. Лисья мордочка его вытянулась, тонкие стрельчатые бровки ходуном ходили по переносице, бантиковые губки дрожали от обиды, когда он заглядывал в кормушку, отчаянно приносясь к атмосфере нарушения. Я переоценил чистоту варианта, и, в конце концов, на меня был написан очередной рапорт с подробным изложением технологии нарушения режима. От карцера спасло, между

прочим, только сильное обострение язвенной болезни и намечающееся помещение в больницу по освобождении места.

Соперничеству с "Гаденышем" неожиданно положил конец мой временный сокамерник - уголовник. Два или три раза совпало так, что "Гаденыш", выслеживая связь, подсматривал в глазок в тот момент, когда мой сокамерник ритуально восседал на параше.

- Сечет, пидер! - пробурчал он однажды, когда уж в который раз с параша увидел в глазок нос "Гаденыша". Покончив с надобностью, он, не застегивая штанов, подошел к двери и нажал на кнопку вызова надзирателя. В форточке тотчас же нарисовалось рафаэлевское рыльце "Гаденыша".

- Гражданин надзиратель, - обиженно заговорил мой сокамерник, - ну зачем же подглядывать! Ежели вас интересуется моя ж..., то скажите по-человечески, я вам ее в натуре подам в кормушку!

Он повернулся спиной к кормушке, неторопливо снимая штаны. Форточка хлопнула, и с тех пор "Гаденыш" почти оставил меня в покое.

* * *

Разговор шел о правде и неправде. Молодой надзиратель, только что отслуживший в армии, по типу этому русский парень-весельчак, танцор и балагур, беседовал со мной от скуки. В ПКТ (помещение камерного типа) 17-й зоны я находился один. Делать было нечего, и юный надзиратель, открыв внешнюю деревянную дверь, через решетку внутренней железной двери беседовал со мной о "политике".

- Ну ладно, - говорил я ему, - не будем спорить, но вот скажи, сколько погибло, по-твоему, человек при штурме Зимнего?

Он пожал плечами.

- А все-таки? Ну примерно?

- Тысяч сто, - ответил он неуверенно.

Я оторопел.

- А как ты думаешь, во сколько рядов надо положить эти сто тысяч, чтобы они разместились на Дворцовой площади и в помещении дворца?

Он покосился на меня, сказал с сомнением.

- Ну, может, пятьдесят...

- А если я тебе скажу, что Зимний был взят почти без выстрелов, и погибло во всей операции не больше семи человек, ты мне поверишь?

Он хорошо и добродушно расхохотался. Не зря же нас за клевету сажают! В его цепкой юношеской памяти с детсадовского возраста остались захлебывающиеся рыла пулеметов на штабелях дров у дворца, разрывы гранат в дворцовых покоех, падающие цепи наступающих матросов и красногвардейцев, отстреливающихся до последнего патрона, наемники капитала и одухотворенное лицо Ильича, прислушивающегося к залпам "Авроры", и всё это намертво зацементировалось в слове "революция", которое есть и символ, и конкретный образ, и нравственно-эмоциональный критерий проекции политического сознания на историю.

- А если я тебе докажу, что всё это было именно так? - спросил я.

- Не докажешь! - уверенно ответил он.

- У вас в казармах есть библиотека?

- Есть.

- Возьми там книжку, она называется "Десять дней, которые потрясли мир". Автор Джон Рид.

Парень подозрительно нахмурился. Беспокойно нахмурился.

- А кто он такой?

- Американец, который...

- А, я так и знал! - радостно, победоносно и с облегчением рассмеялся он. И махнул рукой.

И тщетно пытался я объяснить ему, что этот американец - коммунист, и что на титульном листе книги предисловие Ленина, и что Рид похоронен у Кремлевской стены... Ему этого было не нужно. Американец! И слава Богу! Всё встало на свои места! Можно только думать о конце дежурства

и о танцах в субботу в Доме культуры, и в жизни всё прочно и незыблемо.

* * *

"Утконос" - самый гнусный из молодых надзирателей и самый продажный - в благом расположении духа. Прищуриваясь хамоватой улыбочкой, он угощает Галанскова сигаретой. Рядом с ним "хороший мент", тоже молодой парнишка с русыми кудрями из-под фуражки. Он младший по чину, он молчит, привалившись к косяку двери. "Утконос" развалился на скамейке.

С Галансковым надзиратель разговаривает охотно. В тоне Юры никогда не бывает презрения или злобы, от чего большинство из нас не застраховано.

- И чего ты, Галансков, в политику полез? - снисходительно поучает "Утконос". - Гулял бы сейчас по Москве, да девок пощупывал!

- А что такое политика? - спрашивает Юрий.

- Гы! - отвечает тот. - Это, когда нос суют, куда не положено!

- А политика партии и правительства?

- А ты чо, правительство что ли? Правительство, оно на то и правительство, чтобы кому хош в его дела не лезли.

- А если лезут, то к ногтю?

- А чего! Запросто!

- Завтра придет приказ расстрелять меня, расстреляешь? "Утконос" немного смущен.

- Теперь не расстреливают.

- А если?

- Если приказ такой придет, значит ты его заслужил.

- Ну вот, если бы на твое усмотрение было дано, что бы ты с нами сделал?

"Утконос" сегодня добр.

- В колхоз бы пахать землю всех вас загнал.

- А сам чего не идешь туда?

- Мне и здесь хорошо!

- Ну что хорошего? Ходишь гавкаешь с утра до вечера.

- От того спину не ломит! - гогочет "Утконос".

Уходя, идущий сзади напарник "Утконоса" поворачивается к Галанскову и говорит полупрошептом:

- Нашел с кем говорить! У него же три раза на дню мозги в прямую кишку проваливаются! Он потом по часу на голове стоит. Иог - называется!

Июль месяц, жара. В жилой зоне разрешено ходить в тапочках. С криканием разрешено. После настойчивых требований. В рабочей зоне тоже разрешено. Жилая зона от рабочей отделена воротами. На работу положено выходить по форме.

- Всем переобуться! - командует "Утконос".

- Нам разрешили! - гудит строй.

- На работу положено в форме! Переобуться!

Зэки, сплевывая, идут в бараки переобуваться. Мы с Платоновым подходим к воротам.

Послушай, ведь нужно сделать всего один шаг, зачем переобуваться?

- Не разговаривать! Не положено.

Мы идем за сапогами. Подходим к черте ворот, переобуваемся, делаем один шаг, снимаем сапоги, надеваем тапочки, поворачиваемся к надзирателю.

- Порядок!

- Давай! Давай! Проходи! - рычит "Утконос", нутром чувствуя каверзу в наших действиях.

На следующий раз мы подходим к воротам в тапочках и с сапогами, одетыми на руки.

- Опять не по форме! - ревет "Утконос".

- Послушай, ну какая тебе разница, на ноги или на руки надеты сапоги?

- Делай, как положено! - надувается от ярости блюститель "положенного".

- Можно я пройду на четвереньках через черту? Ведь это будет означать, что я прошел в сапогах.

- Поговори у меня! - шипит "Утконос".

- А можно я пройду на руках? Ходить на руках режимом не запрещается! - говорит Платонов.

- Грамотные больно! Переобувайся, а то щас рапорт напишу!

Вздохнув, мы надеваем сапоги, перешагиваем через черту, снимаем, надеваем тапочки и идем в рабочий барак шить рукавицы.

Что до последнего эпизода, то он относится к кратковременному периоду "либерализации". Скоро с тапочками было покончено вообще. И в тридцатиградусную жару люди губили ноги в тяжелых кирзовых сапогах так же, как и морозили себе ноги зимой в тридцатиградусные морозы.

* * *

Я понимаю, почему в "Архипелаге" А. Солженицына речь идет только о жертвах и палачах. Оскорбительно было бы для памяти жертв копаться в психологии палачей и осуществителей истребления. В сущности, полтора десятка лет отделяют наши лагеря от лагерей Солженицына. И никаких принципиальных изменений в жизни Архипелага не произошло. Нет принципиальных изменений и в самой системе, по-прежнему ориентированной на физическое подавление чужеродного. Система (как считают многие) лишь осознала невыгоду и опасность для себя в крайнем радикализме. И потому едва ли актуальна тема, которой я пытаюсь заинтересовать читателя в этой главе.

Но в моей личной лагерной судьбе было некоторое преимущество перед большинством политзаключенных. Я не был и не считал себя жертвой режима. Я был осужден за конкретные действия, предусматривающие и более трагический исход. По воле властей основная тяжесть кары легла на руководителей нашей организации, я же, рядовой ее член, получил в историческом аспекте Гулага жалкий и мизерный срок, о котором даже стыдно было говорить коренным обитателям Гулага. Получив этот срок, я не жаждал его сократить, как и большинство из нас, и не единожды совершенно искренне мы с В. М. Платоновым говорили о готовности, если бы представилась возможность, разделить между собой срок Огурцова.

Мы были не жертвы. Мы были проигравшие. Едва ли удастся мне достаточно внятно определить разницу самоощущений между жертвами и "проигравшими", но эта разница есть, она существенна и, в известном смысле, она даже выступает в роли решающего фактора в формировании позиции по отношению к комплексу отвергаемых идей, нейтрализует ежечасно порождаемый лагерной системой эмоциональный негативизм - бесплодие, опустошающее душу, хотя и постулирующее к активному протесту.

В бытность подполья нас мучило сомнение относительно готовности народа к радикальным преобразованиям в стране, в готовности к отречению от марксистской идеологии и поддержке оппозиционной силы. В оценке этой готовности многие члены организации расходились с ее руководителями. Я в том числе. Лагерь предоставил нам интересную возможность проанализировать свое мнение на этот предмет.

Лагерь - это такое место, где происходит невольная сополюсовка системы. Здесь вступает в соприкосновение полюс верности и полюс отречения. Чаще всего, когда это соприкосновение только механическое, контакт искрит.

Мы же часто шли на контакт не ради искр, а с целью выяснить для себя, в чем суть, что есть главное определяющее в "полюсе верности", что самое существенное в психологии тысяч и тысяч обитателей этого полюса.

Те, у кого не хватало терпения в этом вопросе, как правило, приходили к одному из двух выводов.

1. "Полюс верности" - это итог подбора отбросов, подонков, психоуродов.

2. "Полюс верности" - это итог спецвоспитания на задачу "тащить и не пущать!"

Оба эти момента, конечно, имеют место, второй особенно, но как решающие факторы психологического комплекса они не выдерживают критики.

Я пытался разгадать загадку проверкой на позитивный рефлекс по трем основным установкам "полюса верности" дореволюционной России.

1. Хула на государя (критика руководителей государства).

2. Хула на веру (критика марксизма-ленинизма).

3. Хула на державность (критика строя в целом).

И что же? Ни один из этих рефлексов, составляющих основу позитива "полюса верности" старой России, не срабатывал.

Разговорчивые надзиратели охотно посмеивались над вождями, *никак* не относились к марксизму-ленинизму и лишь в оценке строя были осторожны, да и то лишь по той причине, что не имели понятия об альтернативе.

Амальрик, прибыв на Запад, сообщил любознательным, что в СССР кроме оппозиционной интеллигенции существует оппозиция рабочих. Ему, очевидно, удалось откровенно поговорить с двумя-тремя рабочими, которые в доверительной обстановке "крыли" почему зря власть имущих. Жаль, что Амальрику не удалось в такой же обстановке с хорошей выпивкой и закуской потолковать с двумя-тремя, к примеру, директорами школ. Он тогда шокировал бы Запад сообщением, что в СССР существует оппозиция директоров школ.

До ареста был у меня эпизод, комичный сам по себе, но весьма характерный. В уютной беседе с партаппаратчиком областного масштаба возникла вдруг у нас взаимная симпатия и доверительность. И пошел я выкладывать ему свое кредо, на каждом слове встречая всё больше и больше сочувствия и понимания. Будь побольше времени - и рискнул бы я "вербануть" его во ВСХСОН. Но времени было мало. К взаимной досаде беседу пришлось прервать. А через несколько дней дошло до меня высказывание моего собеседника в своем кругу: "Если бы все были, как Бородин, давно бы уже коммунизм построили".

В программе организации, куда я было уже нацелил "единомышленника", было сказано: "...даже фашизм, являющийся разновидностью тоталитарной системы, не представляет собой столь всеобъемлющей тирании, как коммунизм". Я говорю это к тому, что если под оппозицией понимать недовольство, то можно с успехом говорить о

наличии таковой в среде, положим, работников цирка или воспитателей детских яслей.

И более того! Амальрик мог бы произвести подлинную сенсацию на Западе, если бы ему повезло вызвать на откровенность нескольких надзирателей политлагеря. Оппозиция в среде надзирателей концлагерей! Вот где можно было бы потолковать о загадке русской души! Именно от надзирателей приходилось мне слышать высказывания, в сравнении с которыми кредо Роя Медведева просто заплесневела ортодоксия! Так в чем же хитрость?!

Двадцать лет назад, после первых нескольких дней пребывания на строительстве Братской ГЭС, я записал в своем дневнике: "Вот это да! Я и не подозревал, как рабочие ненавидят коммунистов! Собственными ушами слышал вчера, как один мужик кричал "Сволочи, коммунисты! Перевешать всех!" А меня сюда еще послали на политическое перевоспитание! Да то, за что меня выгнали из университета - детский лепет по сравнению..."

Через двадцать лет с улыбкой просматривал я эти записи.

В Норильске в 58 году говорили: "У нас здесь Советская власть всего три года!" Под этим имелось в виду, что лишь три года назад были распущены лагеря, и Норильск стал городом, а не большим лагерем, как был до того.

А что же понимать под советской властью? *Путь* к хорошей жизни. Не хорошая жизнь сама по себе, но путь к ней, который, как бы длинен ни был, он все же путь к хорошему, и потому направленность на добро "одобряет" и сам путь, пусть он в данный момент - сплошные запинания на колдобинах и ухабах.

Недовольство властью, на которое я клюнул двадцать лет назад, на которое клюют и по сей день люди отнюдь не восемнадцатилетнего возраста, - оно было и есть сегодня еще в большинстве случаев просто обида, досада, раздражение на несоответствие сущего должному.

Сегодня нередко можно услышать о негодяе: "Что вы хотите, это же коммунист!" Но чаще и даже в большинстве случаев сказано будет другое: "А еще коммунист!" И

кто не улавливает разницу в этих двух фразах, принципиальную разницу, тот наверняка ошибается в оценке настроения говорящего.

Но я не ставлю здесь задачу анализа специфики советского сознания в целом. Хочу лишь отметить, что свойственно нашему народу недовольство настоящим, как недоволен своим произведением художник, сознающий несоответствие задуманного со сделанным. "Земля богата наша, порядку только нет!" Нет порядка! Это вы услышите, где угодно, от кого угодно. Но если слово "порядок" вы поймете, как правопорядок, то ошибетесь. "Суди нас не по закону, а по совести!" - говорили ранее. И порядок для русского человека - это не господство буквы закона, а бытие по совести, в историческом аспекте - совести христианской. Слишком, чрезмерно велик запрос у русского народного сознания. Будь чуть поменее, не свершилось бы на нашей земле столько зла!

Как бы ни была необходима и справедлива борьба за права, что ведется ныне диссидентами, пока русский народ остается русским, не пойдет он класть головы за пункты и параграфы, потому что либо коммунизм - это хорошо, а всё остальное мелочи, т. е. переживется, утрясется, мы и не то терпели... Либо коммунизм есть ложь по существу, по самому главному - вот тогда сохрани, Господи, в разуме народ русский!

Это большая и больная тема, так трудно к ней подобраться и так трудно оторваться от нее.

Многие считают, даже, кажется, Солженицын, что народ уже внутренне отказался от коммунизма. И тогда сохранение статуса рассматривается, как итог тотального насилия. Но это не так. Насилие ощущает только часть интеллигенции. Народ его не ощущает, как не ощущаем мы атмосферного давления, принимая и понимая его необходимым условием своего существования. Измените наше внутреннее давление, и мы начнем задыхаться и искать средства прекращения страданий. А пока, сколько ни объясняют нам, что на каждую нашу клетку давят килограммы, мы, согласившись, ответим: "Хитро! Но зато у нас нет безработицы!"

Другой причиной сохранения коммунистического статуса считают отсутствие информации. Это, однако же, вовсе несерьезно...

На столе под стеклом у участкового милиционера я вижу портрет Сталина. "Зачем же положил?" - спрашиваю. "А что, не имею права?" - отвечает он обиженно и сердито, с ноткой вызова.

Мальчишка, родившийся при Хрущеве! Его уже научили любить Сталина, ему уже объяснили, что Сталин - это героическая, не без ошибок, попытка осуществить идеал! При нем был порядок! Ему это объяснили, вложили любовь, точнее разбудили в нем томящееся в беспредметности чувство любви, но не разрешили еще повесить портрет на стену, не позволили любить открыто. Не время еще! "А что, не имею права!" - говорит он мне, как сам я отвечал столько раз, когда спрашивали меня о моей вере. Мальчишка жаждет любви, он жаждет искупителя, спасителя, царя, некоего одного, кто олицетворял бы в своем лице добро и смысл, который бы в любви объединил разобщившиеся души, а что мы предлагаем ему взамен? Суррогат, именуемый правопорядком, интеграцией человечества, реализацией свободы вообще. Его призывают любить свободу! Но свобода-то в любви, и те, кто объяснили ему про Сталина, понимают это лучше, чем борцы "за права". Те, объясняющие, они вынуждены повернуться лицом к человеку, вынуждены понять его - это вопрос их самосохранения. А с баррикады борцов, что, кроме призывов, слышит он в свой адрес. Увы! Часто барское, а часто и хамское презрение к "темноте", пренебрежительное умствование на предмет "скверны русской души" - эту информацию от него не скроют.

Его соблазняют свободой слова. А зачем ему она, если его слово - это его жизнь, и прожить он ее хочет ради чего-то, что абсолютно по ценности, чтоечно и всему человечеству на благо, хотя бы и подумать ему об этом случилось лишь раз в жизни.

Ох уж этот наш народ! - Сколько раз слышал я такую фразу от наших борцов за права. И коли уж я коснулся

этой темы, то скажу, что пока наша оппозиция не станет национальной, т. е. таковой по своему мироощущению и по отношению к народу, которому она ныне себя неправомерно противопоставляет, - до той поры ни о каком национальном движении, хотя бы в умах, а не в действии, говорить не придется.

Итак, я хотел сказать всего лишь, что этот строй существует и сохраняется не посредством насилия, как думают многие, а напротив, насилие есть органический элемент этого строя, как клыки у тигра и копыта у лошади. Основа строя - духовная, она есть его цемент и арматура. Насилие, скорее, функция саморегуляции, и не она суть строя. Она лишь бросается в глаза, она вызывает болевые ощущения у тех, кто неожиданно обнаружил в себе фактор болевого порога чувствительности. Боль реальна только для того, кто ее ощущает.

Строй существует, функционирует и воспроизводится. Строй защищает себя от инородного, он локализует это инородное и изолирует его из общей системы. Требовать от него иной формы поведения можно и нужно - это вопрос этики. В чем-то он и уступит. Но где-то обнаружится и предел возможного, и тогда отступление может перейти в видоизменение сущности. Но оно, отступление, может и оказаться лишь процессом сжатия пружины, которая, дойдя до предела сжатия, сработает сокрушительной отдачей.

В пользу второго варианта убедительно говорит тот нравственный аспект проблемы, который я именую полюсом верности.

Уже говорилось, что охранники и надзиратели лагерей и тюрем отличаются от большинства граждан лишь крайним примитивизмом усвоения идеологических формул. Они столь же вольноязычны (не вольнодумны! - это не одно и то же), что и прочие, они позволяют себе всё, что может позволить по условиям времени представитель любой другой категории советских граждан. Но есть нечто, свойственное всем, но у этой социальной группы вынесенное за скобки опознавательным знаком особой касты.

Это нечто я попытался бы определить как *способность неузнавания человека*. Для надзирателя человеком является только советский человек, не советский же, а тем более антисоветский - это что-то вроде человекообразной обезьяны, на которую не распространяются нормы морали. Подавляющее число надзирателей с удивлением и осуждением воспринимает ограниченность репрессивного регламента по отношению к политзаключенным. Подавляющее число из них считает, что система необоснованно либеральна к политзаключенным, некоторые даже не понимают прихоти системы, по которой нас почему-то судят, сажают, а не расстреливают, что было бы гораздо проще.

Между прочим, что нас не расстреливают, удивляет не только надзирателей.

После лагеря оказался я в Иркутске и позвонил одной своей знакомой, когда-то сокурснице, которая никогда не была ортодоксом. Узнав меня, она очень мило воскликнула: "Ой, это ты! Да! А я слышала, что тебя расстреляли! Заходи, я буду рада тебя видеть!" Если завтра нас начнут расстреливать, это никого не удивит и, тем более, не возмутит, даже исподволь сочувствующих нам. Уничтожение инородного - *нормально* для сознания советского человека, потому что не советский не есть человек.

Сто лет назад П. Лавров таким образом сформулировал моральный принцип социализма: "...социализм пройдет к солидарности человечества по трупам врагов этой солидарности, потому что он ОДИН ПРАВ в последней борьбе".

Социализм ПРАВ онтологически, объективно, как принято говорить, всё неправое должно погибнуть, будь в числе неправых 4/5 человечества. Нас же не 4/5, знаменатель нашей дроби столь велик, что не уничтожить нас даже смешно. Но среди нас было много и таких, которые сидели не за борьбу против коммунизма, а напротив, за него, против, по их мнению, извращений. Когда наши марксисты беседовали с надзирателями, то вполне находили общий язык, но от этого они не становились "человеками" в глазах своих сторожей, потому что всё это бесполезно, по-

тому что нормальный советский человек не борется, а не борется, потому что это бесполезно*.

Несправедливо было бы сказать, что надзиратели безжалостны. Это было бы даже неверно так сказать. Просто жалость есть тип отношения к человеку. Политзаключенный к этой категории не относится, и нелепо требовать от надзирателей того, чего в их понятии не существует.

Сколько раз замечал я в глазах наших "опекунов", особенно у молодых, из новеньких, искреннее удивление, когда кто-то из заключенных открывался для них своей какой-то человеческой стороной. Вот так бы я смотрел на дельфина, вдруг пропищавшего мне: "Привет, старик, как живешь?" Зоологическое восприятие "антисоветчика" усиливается, если последний находится в камере. Тут уж полная ассоциация с клеткой.

Молодые надзиратели с любопытством торчат у глазка, а те, кто посмелее, ищут возможность завязать разговор - кто не испытывал желания погладить через прутья клетки чудного бурого мишку! У одних желание погладить, другому хочется, чтобы рычал. Угостить конфеткой, то бишь сигаретой, в этом тоже что-то есть!

Веселый азарт появляется в глазах надзирателей при виде мучений "антисоветчика". Когда тебя полураздетого бросают в ледяной панцирь карцера, когда ты в судороге корчишься от холода и голода или задыхаешься от жары и духоты в закупоренной коробке, или когда кувыркаешься в воронке из угла в угол от тряски на ухабах (конвойные сидят на мягком) - ты услышишь одну и ту же фразу: "Здесь тебе не курорт!"

* Врачи-психиатры, кстати, тоже исходят из подобного силлогизма. Они, отталкиваясь от собственной позиции, полагают, что нормальный человек не будет колотиться головой об стену, а должен разумно понимать бесполезность протеста и борьбы и приспособливаться к режиму - в этом здоровая логика. В противном случае, т. е. в случае неразумного, противоречащего инстинкту самосохранения поступка или действия, проявляется отклонение от нормы, для которой лишь следует подыскать соответствующее обозначение.

Ни разу, даже от самых "хороших" надзирателей не встречал я сочувствия или жалости. Чаше злорадство и удовлетворение, реже - просто равнодушие.

Чего греха таить! Мы порой отвечали надзирателям тем же. Мы кричали им, что они нелюди! Что их надо вешать, как бешеных собак, что они выродки и ублюдки. Да, бывало, что мы срывались и... тем только доставляли им удовольствие и потеху. И разве не забавно, если бы макака в зоопарке вздумала обвинять посетителей в бесчеловечности.

Есть еще один аспект этой проблемы, который для меня, как головоломка.

В истории, как мне кажется, обычно личность была гуманнее политической структуры. Вспомним хотя бы, с каким ужасом смотрит Гринев на казнь Пугачева, хотя сам воевал против него с оружием в руках. У нас же, и это удивительно, режим гуманнее любой отдельной личности, участвующей (а часто и не участвующей) в охранительной функции режима. Из опыта своих наблюдений я, например, уверен, что будь воля прокурора-обвинителя на нашем процессе, он потребовал бы всем нам смерть. Будь воля судьи, она удовлетворила бы это требование. Будь воля наших надзирателей и охранников...! Правда, сами многие не приложили бы руки, если бы от их воли зависело прилагать или не прилагать. Но все приняли бы с удовлетворением самую высшую меру наказания.

И разве это не удивительно, что в то время, как сознание народа подготовлено к жестокости, режим воздерживается от нее. Я даже от не столь далеких родственников слышал: "Стрелять вас всех надо!" А режим не стреляет. И это противоестественно. Его обвиняют в жестокости, а я считаю, что он до неумения либерален. Имея полную возможность уничтожить своих противников, он почему-то с ними церемонится.

Говорят, дескать, ныне невозможно власти вернуться к прежним методам действия! Да почему, собственно? Что изменилось? Власть бессильна тогда, когда теряет понимание своих действий массами, когда теряет поддержку, когда

может натолкнуться на сопротивление масс. Но ведь ничего подобного!

Говорят, что власть ныне зависит от мнения Запада и потому не может... Запад молчал, когда гибли миллионы, и теперь одни будут шуметь, а другие под шумок торговать, тем более, что речь идет не о миллионах, а о нескольких сотнях человек.

Говорят, что власть стала бояться выстрелов, начав стрелять, трудно остановиться. Может быть... Хотя и не очень убедительно.

Естественно было бы предположить, что режим стал либеральнее, человечнее сам по себе. Но почему это тогда не отразилось на сознании функционеров режима? Ведь раньше всегда бывало наоборот. Гуманизация личностного сознания приводила к гуманизации политической системы. Пусть кто-нибудь докажет мне, что я ошибаюсь, и я с радостью приму доказательство. А пока что склонен видеть в несоответствии гуманистических уровней режима и личности историческое недоразумение, парадокс, замешательство, которое грозит разрешиться приведением к общему уровню отнюдь не в пользу гуманности. Лучше предполагать худшее, а лучшее подготовки не требует.

Итак, полюсом верности режиму я считаю способность охранителей режима воспринимать своих противников как нелюдей. Способность эта естественна, она не требует со стороны индивида насилия над своей природой для овладения им, она органична и не вступает в противоречие с прочими эмоциями советского индивида.

О ее проявлениях можно было бы повествовать до бесконечности. Я же хочу рассказать об исключениях. Исключения часто бывают интереснее правил. Иногда мы можем в силу обстоятельств уловить тот переход, когда исключения становятся правилом, количественно еще не превозобладав.

В длинной галерее лиц надзирателей-врагов, в галерее довольно безликой, словно высвечены в моей памяти несколько лиц, как бы случайно попавших в эту галерею...

К оперу (куму) Тамбовцеву, пока он был при нас, мы относились, скорее всего, никак. И лишь когда он исчез

и заменил его карьерист и негодяй Ковалевский, мы оценили бывшего опера. Отличались они один от другого подходом к проблеме режима. Первый везде, где было возможно (возможность была мала), не нарушая общего устава, - разрешал. Второй везде, где было возможно (диапазон возможностей оказался достаточно велик), - запрещал.

Тамбовцев почему-то никогда не смотрел в глаза, был всегда хмурый и словно сонный или уставший от суеты. Говорили, что он просто всегда "с похмелья", говорили, что убрали его из нашего лагеря за пьянство. Пьяным мы его не видели, но очень возможно, что так оно и было.

За несколько дней до исчезновения вызвал он меня для получения бандероли. Это была вторая из двух положенных в год бандеролей. В надзирательской комнате он буркнул что-то, сунув бандероль в руки. Она была уже вскрыта, т. е. проверена, хотя проверка должна осуществляться в присутствии заключенного.

- Не положено сухое молоко... - не глядя на меня, сказал опер.

Я пожал плечами.

- Где написано?

- В конституции, - с мрачным юмором ответил Тамбовцев.

- В сталинской... - уточнил я.

- Ага! - согласился он.

- Так вроде бы новую писать собирались? - предположил я неуверенно.

- Думаешь?

- Слышал...

Он махнул рукой и ушел.

С детства было у меня цветовое восприятие людей. Сталин, например, которого я любил до слез, олицетворялся для меня коричневым цветом. И не нужно искать здесь ассоциации с "коричневой чумой" и прочими штампами века. Просто, возможно, этот цвет преобладал на портретах вождя. Девочка, в которую я был влюблен в 12 лет, тоже была "коричневой", хотя была она, как говорят, темной шатенкой. Веселый и добрый человек всегда был для меня "синим".

Люди, которые вызывали жалость, "зелеными". Жалость в хорошем смысле слова.

Тамбовцев, опер 17-й зоны Дубровлага, запомнился мне "зеленым".

Знакомство с надзирателем 11-й зоны В. состоялось при чрезвычайных обстоятельствах.

При возвращении в жилую зону из рабочей заключенные подвергались обыску. "Шурики", т. е. бывшие уголовники, оказавшиеся в нашем лагере, часто проносили в казармы "политуру", подвешивая полиэтиленовые мешочки с желанной жидкостью в самых интимных местах. Хотя обыск был обязателен для всех, нас, т. е. "чисто политических", лишь формально обшаривали. Почти каждый надзиратель знал нас в лицо.

Но случилось так, что я опоздал пройти со своим "отрядом" и шел с чужим. Как всегда, четыре надзирателя у вахты пропускали через себя строй, обшаривая, разувая, раздевая, если нужно.

Надзиратель В. то ли не узнал меня, то ли вошел в азарт, но присев на корточки, он вдруг, как говорится, "щупанул" меня, да так, что я вскрикнул от боли. Боль - это было на секунду. А затем дикая ярость захлестнула мое сознание до помутнения в глазах, и, не сознавая, без желания к тому, а просто инстинктом злобы, я ударил надзирателя ногой в ляжку и так, что он как был на корточках, то не просто опрокинулся на землю, но еще и кувыркнулся почти через голову.

Трое остальных надзирателей тотчас же накинулись на меня, и руки мои закрипели, застонали, завопили..., но только руки, сам же я лягался, бодался, крутился и выворачивался, продолжая что-то кричать дико и истощно о фашистах, коммунистах...

Наверное, это было смешно и несолидно. Был я весом тогда 54 килограмма и талией мог поспорить с иной королевой красоты. Бугайи-надзиратели не просто подмяли меня и смяли, они сплющили меня до щепки и в этом бездвижном и щепочном состоянии занесли на вахту и втолкнули в ка-

меру-"ожидаловку", где заключенный обычно ожидал часа свидания с родственниками.

О, мудрость и продуманность системы! Однажды я все же поблагодарил ее! В коробке, куда меня кинули, бешенство мое улеглось через несколько минут, и только потому, что там не было окна, не было стула или стола, стена с печкой обита листовым железом, а три других были прочны и несокрушимы, как сама система. Чуть успокоившись, но всё еще кипя от ненависти, припомнил я вдруг удивленный взгляд опрокинутого надзирателя, - и, не найдя ему объяснения, приписал его в общий комплекс подлости и коварства гулаговского служаки.

Открылась дверь, вошел капитан Иоффе. Увидев за его спиной физиономию моего "шмональщика", я снова затрясся в ярости. "Убью!" - закричал я во весь отпущенный моему тембру голоса рык. Но надзиратель вдруг, вывернувшись из-за спины Иоффе, каким-то необычным, несвойственным надзирателям голосом не сказал, а проблеял: "Ты чо, псих что ли! Я тебе чо сделал? Я чо, нарочно что ли?!"

Напиши он рапорт, что я его ударил при исполнении служебных обязанностей, и не миновать добавки к сроку. Что помешало поступить ему так, как поступили бы 99 из 100? Что-то незадавленное, незадушенное, неизуродованное в нем выявилось и выделило его белой вороной из кодекса своей касты.

В итоге я был лишен ларька на месяц, но не за удар надзирателя, а за оскорбление его!

А через две недели, попав в карцер за отказ посещать политзанятия, встретился там с В. и ожидал поначалу мести с его стороны - благо, поле деятельности для того было неограниченно, однако в первый же вечер поговорили мы с ним, как до того не приходилось говорить ни с одним надзирателем. И оказалось, что был он обижен на меня, как только может быть обижен надзиратель на заключенного. Оказалось, что считал он себя самым хорошим "ментом" в зоне, что гордился кличкой "хорошего мента" - и вот на-

града! Схлопотал пендель от политического. "Ты спроси у любого, - говорил он мне с обидой через карцерную решетку, - ты спроси, у кого хошь, скажет хоть один, что В. (т. е. он) сука? Хоть на одного "марксиста"* я написал рапорт? Да я вообще один рапорт написал за три года и то на педика! А ты меня бериевцем обозвал! Мне мои говорят, так, мол, тебе и надо!"

Он заварил хорошего чайку и, обжигаясь глотками, я извинился перед надзирателем за то, что принял его за обычного "мента". Заключенный извинился перед надзирателем.

Он же, надзиратель В., провожал меня (точнее сопровождал до вахты) на этап, откуда я уже в эту зону не вернулся и больше не встретился с ним.

- Ну, бывай... - сказал он мне на пороге вахты, - как говорится, привет семье...

- Уходи отсюда! - посоветовал я ему, но знаю, не уйдет. Здесь он - "хороший мент". И это - что-то! А чем он будет на гражданке?

Уже во Владимирской тюрьме узнал я, что повесился "Косой мент", надзиратель 17-го лагеря. Фамилии его не знал никто. Была кличка - "Косой мент".

О судьбе надзирательского состава 17-го лагеря стоит сказать особо.

Был задуман этот лагерь - клочок земли длиной в сотню метров и в половину шириной, обнесенный положенными заборами и проволокой, - как карательный тупик для особо социально-опасных. Туда переводили из прочих лагерей заключенных, чья активность или влияние могли сказаться на остальном контингенте. Там был установлен мелочно жестокий режим, погубивший Галанскова, подо-

* Надзиратели всех политических называли "марксистами", и была в этом, с одной стороны, ирония мужика против теоретиков, но, с другой, срабатывала привычка, потому что первыми политическими в послесталинский период были неомарксисты, которые при всяческом случае подчеркивали свою марксоидность в укор "господствующему оппортунизму".

рвавший здоровье десяткам других, но... сломавшийся в итоге упорной борьбы маленькой группы сплотившихся заключенных, не уступивших и не отступивших перед силой и злобой карательного комплекса. Группа эта не превышала тогда восьми человек, за исключением отдельных случаев и отдельных лиц, ни разу остальной лагерь не поддержал ее, один за другим уходили этапом во Владимир участники группы, и умирали, как умер Ю. Галансков, М. Сорока (последний, хотя и не входил в группу, всегда поддерживал ее и организовывал поддержку среди украинских националистов).

В итоге упорного сопротивления 17-й лагерь превратился в исключение в системе Дубровлага.

В итоге повесился "Косой мент"! На чем он сломался? Об этом мы уже не узнаем. А в свое время был он в когорте палачей одним из самых гнусных, самых подлых и мелочных.

А на чем сломался начальник лагеря Кишка, в свое время основательно приложивший руку к гибели Ю. Галанскова? Последние месяцы (лагерь впоследствии был расформирован) он, кого справедливо считали прирожденным садистом, изменился даже голосом. Мне рассказывали, как, краснея(!), оправдывался он в рабочем бараке, когда Н. Иванов и Ю. Галансков обвинили его в подложных рапортах.

На основании одного такого рапорта я был отправлен во Владимирскую тюрьму. Поводом послужил следующий случай.

Подло, без всяких на то оснований был лишен очередной посылки Виктор Калныныш. Заявления и протесты ничего не дали. Расценив этот шаг администрации как начало наступления на группу, мы решили объявить голодовку. Решение было принято вечером, перед отбоем, и от имени группы А. Гинзбург и я пошли в штаб для переговоров с Кишкой. В штабе никого, кроме него, не было. Ушел уже и библиотекарь. И, когда мы вдвоем без разрешения зашли в кабинет Кишки, он струсил самым жалким образом. На-

ши переговоры, собственно, заключались в сообщении ультиматума: либо отмена приказа об отказе в посылке, либо завтра голодовка. Говорили мы достаточно резко, но, конечно же, и мысли не было у нас, чтобы покушаться на здоровье, а тем более на жизнь начальника лагеря.

Однако страх его был так силен, что весь разговор для него проходил под рефреном: "Сейчас будут бить!" И в том, что его собираются бить, он уверился до такой степени, что даже не дал нам категорического отказа в удовлетворении требования.

Была голодовка, были карцера и ПКТ, мы победили полностью. Администрация признала факты нарушений*. Кишка, тем не менее, не смог простить нам того страха, что пережил однажды, и, когда пришла наша очередь с Гинзбургом отправляться во Владимир, мы обнаружили в обвинительном досье докладную Кишки, где он писал, что подвергался угрозам физического насилия со стороны Бородина и Гинзбурга такого-то числа во столько-то часов.

В преследовании Галанскова Кишка изощрялся во всю мощь своих способностей и возможностей. За то, что книга лежала на койке, был Юрий лишен ларька, то есть того скудного и жалкого добавочного пайка, которым спасались заключенные от дистрофии и авитаминоза. Уже *всегда* больной, не мог Юрий отойти от машинки во время работы, чтобы не нарваться на вездесущего Кишку; его загоняли после отбоя в барак, если он выходил постоять на свежем воздухе; ему запретили посылки и бандероли с лекарствами - ему создали все условия для гибели. И руководил этим капитан Кишка.

Но прошло время, и стал неузнаваем этот неутомимый поборник "перевоспитания посредством порядка". Вечером стал зазывать то одного, то другого заключенного в свой кабинет на "беседы", часами слушая, споря, возражая и

* Для Юрия Галанскова эта голодовка была последней. Он объявил ее, находясь на стационарном лечении, несмотря на все наши уговоры и просьбы.

даже забывая про отбой, забывая об "обязанности постоянного контроля", забывая, что перед ним "клеветники" и "отщепенцы".

И тогда повесился "Косой мент".

А другой, не лучше его, по кличке "Кошкодав" (при его появлении кошки, что жили в зоне, обезумев, разбежались в стороны) признался, что пишет стихи и попросил кого-то посмотреть, а через некоторое время с гордостью говорил, что он самый хороший мент в зоне.

* * *

Я обещал рассказать об исключениях и от обещания не отступил. Судьба 17-го лагеря в целом - исключение, хотя есть все основания считать, что исключение не случайное.

Еще об одном человеке хочу я сказать особо.

С высокой завалинки рабочего барака хорошо просматривалась улица надзирательского поселка. По ней часто проезжал на мотоцикле невысокий, плотненький, круглолицый человек. Иногда он останавливался и разговаривал с кем-то из своих, подошедших к нему, и, если это бывало недалеко от нас, то видно было его славную, добрую улыбку простого русского парня-мужичка. А на завтра он появлялся у нас в зоне в форме старшего лейтенанта и в роли офицера лагерной службы. И когда он дежурил, в зоне было спокойно, и будто исчезало постоянное нервное напряжение, что вросло в атмосферу лагеря, как неотъемлемое его состояние, и можно было быть уверенным, что не накричит, не обгавкает, не "дернет" тебя на вахту "обходящий мент".

Звали его Ваня Хлебодаров. И нужно же было иметь ему такое имя! И какая кривая судьба сделала его надзирателем, его, при ком в поселке не матерились охамевшие стражи, и бабы в его присутствии не ругались, и мальчишки бегали за его мотоциклом, как бездомные собаки за городовым.

Ваня Хлебодаров был исключением, и исключением служебным, но для меня, например, он был доброй весточкой от того народа, что зовется русским народом, нами часто

несправедливо попрекаемом в измене добру, в забвении добра, в отречении от сути своей и от своих святынь. Одна крохотная брешь в "полюсе верности" в лице Вани Хлебодарова помогала мне сохранять трезвость и не терять чувства кровного родства с обезличенным на фабрике социальной демагогии народом и сознавать при том, что я сам не противопоставлен судьбой этому народу, не выделен из него собственными качествами и заслугами, но лишь облечен обязанностью в силу данного мне знания и понимания соотносить личный поиск истины с ее идеальным образом, который несомненно присутствует в народном сознании, который я должен и обязан понять, а не конструировать его из социальной конъюнктуры и хотя бы даже из логики социальной механики.

Как хорошо и радостно чувствовать себя оптимистом!

Как хорошо и радостно сознавать себя не одиночкой и даже не членом группы или клана!

Как это желательно видеть линию своей судьбы штрихом на плане судьбы народной...

НО

На берегу озера рядом со мной с удочкой в руках седовласый мужчина в потертом галифе. Мы обмениваемся мнениями на предмет рыбацкой удачи, а я мысленно прикидываю на его седины фуражку надзирателя, и внутренне сжимаюсь от маеты - ПОХОДИТ!

Мой сосед по купе взволнованно рассказывает мне о своей собаке, и я тоже люблю собак, особенно верных, но мысленно прикладываю к плечам собеседника погоны капитана лагерной службы... и грустнею - ПОХОДИТ!

У метро двое молодых парней, современно длинноволосых оживленно беседуют об американском джазе. Я же упаковываю их ладные фигуры в форменные френчи и, уже ничему не удивляясь, узнаю в них молодых надзирателей с пересыльной тюрьмы на Красной Пресне, где один из таких сказал мне когда-то: "Давить вас всех надо!" ПОХОЖЕ! Слева! Справа! Впереди! Сзади! ПОХОЖЕ!

Я понимаю - преувеличение, гротеск! А тревога остается.

„Сколь глубоко вошел в психику народа ”полюс верности ? Обратим ли процесс? И каковы пути обратимости обращения - преобразования - возрождения?

”Полюс верности” - полюс искажения Божьей правды о человеке. Может ли быть иной путь к преобразению, кроме возвращения к правде без искажения? Думаю, что нет!

И всё прочее - полумеры и полуправда!

1975 г.



Посмертная книга Леонида Ржевского*

"...мыслимо ли вообще исчерпывающее, без остатка, изучение стиля большого писателя, расчленение м а с т е р с т в а? Что-то непременно останется за скобками, за найденными а-б-ц творческого приема. И это "что-то" и будет, вероятно, искусством, неподражаемо "своим" каждого художника, — можно пытаться его разгадать, но нельзя выложить, как зерно, на ладонь для наглядности и "общего пользования": оно не раскрывается до конца и неповторимо" (с. 164).

Так пишет Леонид Ржевский, отдавший много лет жизни на изучение творческого мастерства и умевший "разгадывать" неподражаемое "свое" многих художников. Однако в приведенной цитате четко видна черта характера, ныне редкая среди писателей. Ржевский обладал (до сих пор трудно писать о нем в прошедшем времени) благороднейшей творческой скромностью на фоне не только подлинного писательского таланта, но большой и разносторонней эрудиции. Он не был литературным снобом. За все годы нашего знакомства я не слышала, чтобы он резко спорил, нетерпимо настаивал на с в о е й точке зрения, которая у него, конечно же, была в силу его знаний, убеждений и большого жизненного опыта. Он беседовал, а не спорил, не навязывал свои взгляды и не давил на собеседника своим превосходством, давал ему высказаться и лишь потом, будто бы невзначай, делал некоторые замечания, мгновенно ставившие всё на свои места, дававшие правильное освещение предмету разговора.

Всё, что делал этот замечательный человек, а делал он очень много, носило дружеский характер, — будь то организованный им симпозиум с участием почтенных лекторов и слушателей, редакторская работа или просто литературный вечер в гостеприимной нью-йоркской квартире четы Ржевских, где побывало столько известных писателей и поэтов всех трех волн русского Зарубежья.

Этой осенью Ржевскому исполнилось бы 85 лет, поэтому перед тем как перейти к обзору книги, мне хотелось бы сказать о нем еще несколько слов.

Леонид Денисович Ржевский родился 21 августа 1905 года в Москве. (Отец был подполковником царской армии.)

* Леонид Ржевский. "К вершинам творческого слова". Изд. Норвичского университета, 1990. 270 стр.

Там же получил образование, имел степень "Кандидата филологических наук". Преподавал в институтах Москвы, Тулы, Орехова-Зуева и др. В 1941 году был отправлен на фронт. В битве на Десне, раненый и контуженный, он попадает в плен. Чудом избегает смерти от горловой чахотки, явившейся результатом тяжелых условий двухлетнего плена.

На Западе после войны Ржевский начал серьезно заниматься литературной деятельностью, которой посвятил все годы своей жизни вне тоталитарного режима. Здесь необыкновенно ярко выявились три главных ипостаси его деятельности: художественная проза, литературоведение и педагогика.

Леонид Ржевский – автор многочисленных романов, повестей, рассказов, литературоведческих статей и рецензий на книги современников. Прозу Ржевского хвалили лучшие зарубежные писатели и критики – например, Ремизов, Адамович, Гуль и другие. Его статьи о литературе завоевали прочное место в зарубежном литературоведении. Их отмечали и на них ссылались западные слависты и советские литературоведы.

В своих художественных произведениях Ржевский говорил о трагедии людей, живших в России в 30-е годы. Говорил он об удушении творческой мысли, об уничтожении свободы. Фоном этих его произведений была неизменно любимая им до конца жизни Москва. Отобразил он также и судьбы людей, после войны попавших в западную и насильно репатриированных. И затем преодоление чужой среды, чужого языка и, наконец, отсутствие читателя. Все эти "российские беды" нашли место в книгах писателя, необыкновенно чуткого к нашим современным проблемам.

Долгие годы Л. Ржевский работал в качестве профессора славянских литератур, – сначала в Лундском университете (Швеция), затем в США – в Оклахомском, Нью-Йоркском и в Норвичском университетах – последний присвоил ему степень Почетного доктора. С 1952 по 1955 год он был редактором журнала "Грани".

Работал писатель, можно сказать, до последнего вздоха. Так, перед самой смертью он успел составить и отредактировать "Тяжелые звезды", книгу стихов своего близкого, смертельно больного друга Ивана Елагина. Работу он закончил, но книгу уже не увидел – она вышла из печати вскоре после его смерти.

Только что опубликованный сборник литературных статей и откликов Ржевского "К вершинам творческого слова" был составлен еще самим автором. Посмертное издание книги можно рассматривать и как попытку продления его земной жизни, оборвавшейся в результате сердечного приступа 13 ноября 1986 года.

Диапазон "Творческого слова" большой, он охватывает полтора столетия русской литературы – от Пушкина до зарубежных прозаиков и поэтов. Век XIX и век XX, искус-

ственно разделивший русскую литературу. Книга содержит подробные примечания, полный перечень произведений Ржевского и указатель имен. Обложка выполнена, как всегда с большим вкусом, известным зарубежным художником Сергеем Голлербахом, близким другом автора. Прекрасное предисловие к книге Ефима Эткинда озаглавлено "Благородство объединителя".

В первой статье о пушкинских "Египетских ночах" есть интереснейшие высказывания о двух состояниях гения: озаренность и обыденность. Тема эта, волновавшая Пушкина ("Пока не требует поэта / К священной жертве Аполлон...", "поэт и толпа" и т. д.), не исчерпана и до наших дней. Ржевский видит в незаконченном произведении Пушкина вполне законченную тему: вдохновение художника - в данном случае - поэта.

Достоевский, безусловно, один из сложнейших и в общем "спорных" писателей не только русской, но и мировой литературы. Уже существуют тома самых различных работ об этом нашем классике, написанных известными писателями и мыслителями различных национальностей. Не раз раздавались голоса, не признающие величайший талант писателя-психолога и провидца. Но были и есть фанатические поклонники, "исповедующие" Достоевского как религию.

Ржевский отдает должное большому писателю, посвящая ему (единственному в книге) четыре статьи. Первая - "Мотив жалости в поэтике Достоевского" лично мне кажется исключительно важной по теме. Именно она, жалость (или сострадание), вызывает при чтении Достоевского смятенные чувства, ибо эта, наиболее сильно выраженная у него, эмоция кажется совершенно бессильной, т. е. зло у него сильнее доброты. Любовь-сострадание князя Мышкина не спасает Настасью Филипповну от ножа Рогожина, как не предотвращает и доброта Алеши Карамазова убийство отца. "Кроткие слезки" ребенка не осушает ничья жалость, и лошадь зверски забивает во сне-кошмаре мальчика-Раскольниковца. И да, прав литературовед Владимир Марков ("О поэтах и зверях", "Опыты" № 4, 1955), что убийство старухи-процентщицы меркнет перед зверским убийством лошади. У Достоевского неизменно страдают невинные и беззащитные: дети, женщины, животные.

Однако вернемся к статье Ржевского. По Достоевскому, пишет он, чувство жалости должно быть главным импульсом человеческого бытия, его этической сущностью. Именно это чувство является основным компонентом поэтики Достоевского. Поэтому в эпоху Сталина Достоевский был под запретом. Ржевский не согласен с определением "жестокый талант" и считает несостоятельным обвинение в "мучении жалостью", хотя считает слова "острая", "болезненная" и "мучительная" наиболее точными в применении к жалости Достоевского.

Следующая статья о нем посвящена мистерии соблазна. На

примерах из "Преступления и наказания", "Идиота", "Бесов" и "Братьев Карамазовых" автор описывает две одержимости героев Достоевского: самовозвеличивание и любовное вожделение, т. е. гордыня и любострастие.

Статья о языке "Бесов" и образе их автора интересна и многообразна. Она написана не только для специалистов, а принесет истинное удовольствие любителям русской словесности и серьезным читателям, привыкшим к сосредоточенному конструктивному мышлению. Автор полемизирует с М. Бахтиным и даже с Толстым, утверждавшим, что герои Достоевского "все говорят одним и тем же языком" (с. 55). Такое утверждение Ржевский опровергает, приводя множество убедительных примеров.

И, наконец, последняя статья сочетает на первый взгляд несочетаемое: Достоевский и Пушкин. Автор находит общее в темах "Станционного смотрителя" и "Униженных и оскорбленных": разлучение отца и дочери "вторжением третьего из среды сильных мира сего" (с. 59). Затем штабс-капитан Снегирев из "Братьев Карамазовых" и станционный смотритель Вырин. Находит он у Достоевского и другие пушкинские "эквиваленты", да и эпиграфом к "Бесам" взяты строчки из пушкинских "Бесов"... "Обожание Пушкина пронес Достоевский через всю свою жизнь. ...Тема Пушкинского "Пророка" - высота творческого слова и миссии писателя - восхищала его всегда. ...Величие Пушкина и народность его гения, утверждал Достоевский, сказались во всемирной его "отзывчивости" ... его "всечеловечности". ...Так, вдохновленная Пушкиным, его народностью и всечеловечностью, складывалась русская идея самого Достоевского" (с. 68).

"Об одном образе в «Войне и мире»". Образ этот неожиданный: это не Наташа Ростова, не Пьер Безухов, не князь Андрей, не Платон Каратаев или еще кто-нибудь "значительный" из монументального романа. Это всего только мальчик Петя Ростов. Но как свежо, как лирично, как легко описан у Ржевского этот рвущийся в бой несмысленш, этот толстовский Гаврош. "Восторг - слово, с которого почти и начинается знакомство читателя с Петей" (с. 70). "Тема образа Пети... часть патриотической темы романа. Но внутренняя тема этого образа - иная. Это тема очарованности жизнью, восторженности земного дыхания... ..Образ Пети - самое короткое, но, может быть, и самое сильное выражение темы восторга в романе. Восторг всегда от сердца, пути же сердца - и это любил повторять Толстой - не менее верны, чем пути разума. Движения сердца могут быть безрассудны. И всё же прекрасны" (с. 74).

В статье "Отрицание отрицания" Ржевский высказывает интересную мысль: образ тургеневского нигилиста Базарова, отвергавшего "всё художественное", органически противостоял образу автора "Отцов и детей". Действительно, Тургенев не мог психологически (поэтому и стилистически)

стать на стезю отрицания возвышенного, прекрасного. Поэтому "цинический отрицатель влюбляется затем в помещицу Одинцову, - влюбляется той самой любовью, которую называл сам «непростительной дурью»" (с. 75). И поэтому он, недавно наставлявший Аркадия: "Об одном прошу тебя: не говори красиво", сам умирает с этими красивыми словами: "...ведь я вас не поцеловал тогда... Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет..." (с. 79).

XIX век заканчивается статьей о чеховском творческом мироощущении. "...самое удивительное во многих его рассказах - это синхроничность, переплетение светлого и мрачного, улыбочатого и трагического..." (с. 80). (Эти слова можно повторить и о творчестве самого Л. Ржевского.) Автор рассказывает, как в Москве в 1935 году его пригласили прочитать какой-нибудь рассказ Чехова на семидесятипятилетнем чеховском юбилее. Он выбрал ранний рассказ "Горе" - этот выбор одобрила присутствовавшая на торжестве сестра Чехова Мария Павловна: "Да, это был у вас, конечно, подлинный Чехов", - сказала она, и этот ее отзыв о прочтенном мною рассказе был приведен потом в издаваемой тогда газете «Советское искусство»" (с. 82).

Раздел советской литературы начинается со статьи о социалистическом реализме, печальном феномене, остроумно названном автором "запретительный реализм". Он приводит множество советских толкований этого термина, всплывшего на поверхность в статье Горького. С горьковской "легкой" руки - пошла писать губерния. Соцреализм возвели в степень "литературного метода", на что Ржевский резонно возражает. Соцреализм не является "методом", а лишь "принципом отбора и освещения явлений" и "строгой партийной директивой". Автор замечает, что в "Краткой литературной энциклопедии" Ахматовой отпущены 66 строчек, а Демьяну Бедному - 110, А. Белому - 76, а автору "Как закалялась сталь" Островскому - 182, да еще с четырьмя иллюстрациями в тексте.

В заключение Ржевский приводит меткое четверостишие Елагина о соцреалистическом "методе":

Для того ведь социалистический
И существует реализм,
Чтоб никто не мог реалистически
Изображать социализм.

"Пилатов грех" - вторая статья о тайнописи в послеоктябрьской литературе - на этот раз в булгаковском романе "Мастер и Маргарита". В этой статье особенно много интереснейших и глубоких мыслей, выраженных убедительно и вдохновенно, и вся она была будто бы написана на одном дыхании. Главная идея статьи - зашифрованный Булгаковым образ прокуратора Иудеи Понтия Пилата, страдавшего от своей вины: несопротивление злу, умовение рук. Понтий

Пилат, предполагает Ржевский, символизирует у Булгакова русскую интеллигенцию, в общем не решившуюся на открытое сопротивление, умывшую руки. Пилатов грех – грех трусости. Последовательно и четко Ржевский расшифровывает этот образ булгаковского романа-мистерии, в котором переплетаются тьма и свет, тема творческой свободы с закрепощением творческого слова, современная Булгакову Москва с древним городом Ершалаимом. "Две тысячи лет тому назад в древнем Ершалаиме был совершен этот грех, вдохновенный царем тьмы, в вечной и неисповедимой борьбе тьмы со светом. Две тысячи лет спустя грех этот повторился воплощенным в другом, уже современном, огромном городе. И привел с собою страшное хозяйничание зла среди людей: истребление совести, насилие, кровь и ложь..." (с. 142).

Совершенно блистательна статья о представителе т. н. "южной школы" Исааке Бабеле, о стиле его искрящейся, сочной прозы, в которой "внутреннее движение образа в пейзаже вторит пульсу повествования, экспрессия мизансцены – экспрессии человеческого переживания" (с. 143). И мастерство "диалогической речи" сменяется "искусством речевого портретирования героя".

Заканчивается раздел советской литературы разбором языка и стиля "Доктора Живаго", о вдохновенных взлетах и о некоторых "неровностях" формы и языка этого замечательного произведения, вызвавшего сенсацию в мировой прессе.

Леонид Денисович Ржевский искренне любил поэзию и не пропускал "мимо ушей" большинства современных значительных поэтов по обе стороны рубежа. О них писал он часто, но словом и делом помогал он также и начинающим поэтам – так в свое время он поощрил совсем еще молодого Олега Ильинского и помог ценнейшими советами мне, тогда очень неопытной начинающей поэтессе, о чем до сих пор вспоминаю светло и благодарно.

Настоящий талант Ржевский ценил независимо от поэтической школы или содержания, которое могло ему не нравиться. Он серьезно разбирал произведения советских и зарубежных поэтов, подходил с чисто эстетической точки зрения к стихам Вознесенского, Евтушенко, Ахмадулиной, Кленовского, Моршенина, Чиннова... (Об этом говорит в предисловии Е. Эткинд.)

Но особенно близка автору была поэзия Ивана Елагина. Ее он любил и понимал разумом и сердцем. С Елагиным связывала Ржевского долготелая дружба. "О поэзии Ивана Елагина" (с. 212) – прочувствованная и эрудированная статья, появившаяся в печати в 70-х годах и до сих пор являющаяся самым серьезным анализом творчества большого поэта второго поколения эмиграции, давшей русской поэзии несколько значительных имен.

Старшего из них, Дмитрия Кленовского, названного "парижанами" "последним из царскосельских лебедей" (так некогда называли Ин. Анненского), Ржевский считает "са-

мым гармоническим поэтом нашего времени" (с. 232). Очерк о нем озаглавлен "Последний акмеист". Автор приводит много прекрасных образцов просветленной лирики Кленовского, просветленной, несмотря на часто встречающуюся у него тему смерти. Не могу удержаться, чтобы не привести хотя бы вот эти четыре строчки из цитируемых Ржевским образцов поэзии Дмитрия Кленовского (1892–1976):

О, не стыдись! Поговорим о чуде,
О несказанном таинстве земли,
Где все мы, все – поля, деревья, люди –
Хотя бы раз, хоть тайно, но цвели.

(с. 233)

Кончается книга тремя откликами на прозу Владимира Максимова ("Прощание из ниоткуда"), Романа Гуля (общий разбор его произведений) и Андрея Седых ("Крымские рассказы"). Три, столь непохожие друг на друга произведения первой и третьей волн эмиграции.

У Максимова – "решительный отказ... от плоскостного приземленного реализма... надматериалистическое, духовное осмысление мира...". У Гуля "струя документальная и струя творческой выдумки". Это его романы-биографии: "Бакунин", "Азеф", "Дзержинский"... Струя автобиографическая: "Конь рыжий" и многочисленные мемуары: "Я унес Россию".

Автор тепло и тонко пишет о юмористической линии в рассказах Андрея Седых: сюжетная ситуация, юмор портрета, речевой характеристики и т. д. Эти же свойства писателя "южной школы" некогда отмечал и Иван Бунин.

Книга "К вершинам творческого слова" дает возможность как бы заново прочитать многих авторов прошлого и настоящего и также дает нам возможность приобщиться к большому творческому миру одного из наших славных, недавно ушедших современников – Леонида Денисовича Ржевского.

Валентина Синкевич

Сталин – это Маркс сегодня*

Юрий Боров, профессор, доктор наук, чьи книги: "Эстетика", "О трагическом", "Комическое" и другие переведены на 33 языка, выпустил книгу микророманов об эпохе сталинизма, которые собирал и литературно обрабатывал около полувека.

* Юрий Боров. "СталиниАда". "Советский писатель", Москва, 1990 г.

Книга логически делится на два раздела. В первый вошли воспоминания выдающихся людей: писателей, актеров, режиссеров, а также политических деятелей и военачальников. Во второй – анекдоты и предания, созданные неизвестными авторами (кто их сочиняет? Бог весть!), но отражающие суть эпохи.

Бореву удалось создать объемный образ человека-мифа, который даже не был похож на свои многочисленные портреты и изваяния, известные всему миру. Сталин предстает не только кровавым тираном, не лишенным, между тем, своеобразного "тиранского" остроумия, но и малодушным, растерянным или просто старым больным и одиноким "главным эхом страны".

Автор объединил собранные разрозненные материалы в единое целое и получилась объемистая книга – цитирую аннотацию к ней: "Пафос и главная мысль этого необычного произведения – отрицание сталинщины и утверждение идеи демократического общества".

Гегелю принадлежит рассуждение о том, что "всемирно-исторические события и личности появляются дважды". Маркс к этому добавил, что "первый раз в виде трагедии, второй раз – в виде фарса".

Борев приводит полубыль-полубайку, что актер Михаил Геловани, много игравший Сталина в кино, умер будто бы из страха, что его убьют и положат в мавзолей на место "протухшего" Сталина. Но факт остается фактом: Геловани умер 21 декабря 1956 г. в день рождения своего персонажа. И это дает некоторую связь в понимании "социалистических ценностей".

Статья В. Николаева в популярнейшем советском журнале "Огонек", положительно оценивающая книгу Борева в деле развенчания Сталина и его преемников, называется "Затянувшаяся болезнь". Но если болезнь, тем более справедливо замечено, что затянувшаяся, то когда она началась и почему прежде всего в России успешно развивалась?

Российская Империя была трансформирована в Империю под условным названием СССР в первую очередь большевиками РКП, естественно, при помощи местных кадров, и только народ Суоми с оружием в руках отстоял свою независимость от коммунистических химер. Режимы Гитлера, Мао, Чаушеску, Ким Ир Сена, Пол Пота (в процентном отношении по уничтожению своего народа перекрывшим рекорд учителя) и другие без коммунистических идей были бы невозможны. Гитлер бы вряд ли пришел к власти, если бы Сталин не заставлял бороться немецких коммунистов с "социал-предателями", да и сам его режим не пугал бы добропорядочных германцев. Восточные ученики пришли и удержались у власти благодаря ему же и его советским наследникам.

"Сталин держал для Мао Цзэдуна теньную фигуру Гао Гана, которой, как типовой деталью, можно было заменить китайского руководителя... После смерти Сталина Мао

сразу же убрал этого "запасного". По официальной версии Гао Ган покончил жизнь самоубийством" (Ю. Боров. "СталиниАДа").

И как только "социалистический лагерь" понял, что с последним "паханом" — Черненко, умерла танковая дипломатия, он развалился в течение месяцев. И только в разваливающейся метрополии еще очень много людей как в руководстве, так и среди, так сказать, простого населения пребывают в сладкой дреме коммунистических снов.

Из так называемого "нового мышления" Горбачева, которое можно назвать просто мышлением, поскольку до него у наших вождей и лидеров было нечто уж совсем далекое от этого понятия, мы меньше всех сделали выводов и меньше других имеем практических результатов.

Россия на протяжении веков неоднократно первая выдвигала на удивление прогрессивные реформы (отделение Церкви от государства в 1480 г., конституционную монархию аж в 1610 году), но выдвигать-то она их выдвигала, но так же быстренько и задвигала. И несмотря на опыт конституции Михаила Салтыкова в 1610 году, когда, например, у Англии, Франции, Швеции и в мыслях ничего не было, кроме абсолютизма, а также на другие попытки ввести конституцию (Смутное время, 1730 год перед Анной Иоанновной), Россия стала, опять не надолго, конституционной монархией лишь в 1910 году.

Правительство Алексея Адашева провело ряд реформ, о которых Европа и не слыхивала (суд присяжных, местное самоуправление, законодательное ограничение царской власти), но со временем Иван Четвертый, не без помощи противников окружения Адашева, разобрался, что эти преобразования благотворно влияют на жизнь страны, но ослабляют его личную власть, моментально преобразился в Ивана Грозного — любимейшего царя Иосифа Сталина.

Сейчас в России новая реформа, как принято говорить, целый пакет реформ, включая углубленную десталинизацию. Этой "перестройки", надо отметить, никто, кроме пары людей, в том числе и одного моего приятеля, который говорил: "Вот уж Черненко помрет — точно послабление выйдет", не ожидал. Да и трудно было ожидать, что монолит лжи и насилия может дать столько трещин. Не ожидал этого и Горбачев, так сказать, инициатор, я думаю, он тоже уповал больше на "послабление". Если бы он мог знать — то уж вряд ли решился. Себе дороже.

Пока реальных плодов, кроме, может быть, гласности и некоторых зачатков цивилизации в некоторых районах, эти самые реформы не принесли, лишь понизили жизненный уровень, но это можно отнести на "реконструктивный период", как любили говорить энтузиасты 20-х годов. И если у бывших "соцлагерников" обновления начались с резкой деидеологизации экономики, армии, закрытый кафедр марксизма-ленинизма и Академий общественных наук и даже

поджогов партийных домов и конфискации имущества компартий, то у нас, при возникновении еще слабых антикоммунистических группировок, крика в очередях и на митингах — "во всем коммунисты виноваты", а также призывов выходить из партии, еще очень много официальных и общественных людей разных направлений (от Нины Андреевой до Михаила Шатрова) призывают вернуться к "ленинским и марксистским" родникам, не поступаться принципами социалистической утопии. И, мол, "Так победим!" Мол, заветы Ленина были попорчены Кобой, а вождь предупреждал!

Пора уже давно избавиться от этого мифа, связанного с "завещанием", где говорится о "перемещении" Сталина из-за отсутствия у него "вежливости", "лояльности" и "терпимости", как будто Зиновьев, Каменев, Троцкий да и сам Ленин этим страдали. И, мол, проживи "кремлевский мечтатель" еще 10–15 лет — был бы рай на земле (вернее, в шалаше, который недавно почему-то сгорел в Ленинском мемориале в Разливе). И если, развенчивая Сталина в его непримиримой ненависти к буржуазии, к крестьянству, к интеллигенции, в его страсти к администрированию и беспрекословному подчинению всех общественных и государственных институтов партийной власти, натываются на Ленина первых лет Октябрьского переворота, то восторженно заявляют, что Ленин осознал ошибки военного коммунизма, потопив в крови Тамбов, Ярославль и Кронштадт — и пожаловал Новую Экономическую Политику. Но это она для него была Новая, а для всех нормальных политиков она была просто экономикой. И если при всей обузданности этой экономики она смогла в короткий срок улучшить жизнь страны, то где гарантия, что Ленин, как Иван Четвертый (Грозный), почувствовав, что власть его партии сужается по причине ненадобности "кустарю с мотором" марксистской идеологии, в одночасье не наплевал бы на свое же "всерьез и надолго" (тем более, он сам считал нэп отступлением) и не разогнал бы этот самый нэп, как сделал это верный ленинец Иосиф Сталин.

О моральных принципах Вождя у нас долго писали святочные рассказы и эпосы (как он в очереди сидел в парикмахерскую и т. д.), а вот в книге Борева мелькнул один очень сталинский эпизод:

"Новый 1913 год Ленин, Сталин, Троцкий встречали вместе в Кракове. После застолья заиграла музыка, и Ленин воскликнул:

— Ты, грузин, пляши!

И Сталин пустился в пляс".

Вежливость в быту, она, конечно, облагораживает праздник... Как тут не вспомнить последующих выдающихся танцоров: Хрущева (гопак), Микояна (лезгинка) уже на застольях товарища Сталина.

В романе "В круге первом" Александра Солженицына есть

рассказ дяди одного из героев, советского дипломата Иннокентия, о расстреле большевиками мирной демонстрации в поддержку Учредительного собрания, о котором на второй день после Октябрьского переворота, как всегда громогласно, заявила "Правда" - "Товарищи! Вы своей кровью обеспечили созыв в срок хозяина земли Русской - Учредительного Собрания!". 5 января и заплатили, не ошиблась газетка. За меньший расстрел 9 января Николай II получил имя "кровавый", хотя отсутствовал в это время в столице, а дедушка Ленин - памятники по всему миру и звание гуманиста всех времен и народов.

А в Таврическом, где среди мата и блевотины вооруженных матросов и солдат все же собрались депутаты уже презрительной "учредилки"? Цитирую Александра Исаевича: "Там про какой-то демократический мир, про национализацию земли, - а на него двадцать дул наведено, мушка совмещена с прорезью прицела, убьют - дорого не возьмут и извиняться не будут, выходи следующий!.. Вот это надо понять: оратору винтовкой в рот! - в этом их суть! Такими они Россию взяли, такими всегда были, такими и помрут!. В чем другом, в этом - никогда не переменятся. А Свердлов рвет звонок у старейшего депутата, отталкивает его, не дает открыть. Из ложи правительства Ленин посмеивается, наслаждается, а нарком Карелин, левый эсер, - так хохочет! Ума же не хватает, что дорого - начать, через полгода и ваших передешат..."

И передушили. Товарищ Сталин? Нет, это "терпимый" и "лояльный" Ленин душил (в фильме по сценарию Шатрова самолично пистолет заряжал и в карман клал, но, может быть, это художественная вольность?). Грубо все-таки это было у Владимира Ильича - с винтовками по залу бегают. Вот товарищ Сталин расстрелял XVII съезд своей, между прочим, партии, так никто пьяным с оружием по залу не слонялся, ну нацелил он раз подаренную туляками винтовку на делегатов, так это ж шутка, сколько рукоплесканий!

Это вы думаете, "вежливый человек" мог написать секретное письмо В. М. Молотову для членов Политбюро ЦК РКП(б) 19 марта 1922 года, в котором сказано: "Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать". Единственная в этом письме "лояльность" у Владимира Ильича так это наивное слово - "удастся", действительно, Иосиф Виссарионович таких "вежливых" слов не употреблял. И вот это "на несколько десятков лет" тоже вдохновляет. И, заметьте, пишет это уже любимейший теперешними ортодоксами "перебесившийся" Ленин. Ленин нэпа, который уже вдогонку эмиграции, под конвоем выслал неугодных философов и богословов, между тем сокрушаясь "тончайшему слою" образованных

людей как в партии, так и в стране. Этот "самый человеческий человек" в том же 1922 году настоял на проведении нескольких "образцовых, громких воспитательных процессов" над меньшевиками и эсерами со смертными приговорами. Так что, тов. Сталину предстояло только отшлифовать методы учителя и даже место для проведения своих "процессов" ему не нужно было отыскивать, оно уже было выбрано - Колонный зал Дома союзов.

Так кто был при должности более "груб и невежлив", это надо еще подумать, конечно, знание языков и умение не сморкаться в скатерть придает некоторый лоск, но в деле расстрельных диалогов с оппонентами вряд ли имеет решающее значение. И нынешние верные социалисты, может быть, только кроме друга и советчика Шатрова, профессора Владлена (ВЛАДимир ЛЕНИн) Логинова, понимая всю неперспективность защиты Ленина, уже и его склонны объявлять головотяпом и извратителем учения Карла Маркса. Оставляя основоположника в белых одеждах и с бородой, и вот уж за него, "святого Карла", стоят горой, чисто по-ленински (и сталински) не допуская ни капли сомнения в верности его взглядов, по старой формуле: "Учение Маркса непобедимо - потому что оно верно!", почему-то забывая, что под знаменем марксизма расцветало столько непостижимо-зловещих режимов, что одна только эта закономерность должна заставлять бежать от него как от огня всех здравомыслящих людей.

Можно долго разбираться, почему же марксизм так глубоко запал в мозги именно русских (вернее, русскоязычных) преобразователей, вряд ли здесь виновата "загадочная русская душа", скорее всего, главным магнитом этого полузабытого в цивилизованных странах учения является практическая победа Ленина с Троцким в Октябрьском перевороте - элементарный захват власти грубой силой. Гитлер все же победил на выборах, а большевики в Учредительном собрании получили всего 183 места, т. е. 25,6%, поэтому и потребовался его разгон и установление после него жесточайшего террора с последующим разрушением всего и вся и с обещаниями грядущего светлого будущего. Все это очень подходит меньшинству (провозгласившему себя большинством), ничего не имеющему за душой, кроме зависти ко всем и ко всему. И лозунги: "Грабь награбленное" или "Все отнять и поделить" милы сердцу разного рода люмпенов, а тут как раз Маркс с "научной" теорией о классовой борьбе и насилии как "повивальной бабке" истории, а также о том, что законы, мораль, религия - буржуазные предрассудки. А тут на беду Россия, измученная войной, с ее низкой политической и просто культурой, с едва зародившейся буржуазией, стоящей особняком в силу исторических притеснений.

И что тут считать любимой книгой Сталина трактат Макиавелли, когда фразочку "в борьбе все средства хоро-

ши" он мог прочитать и у Энгельса. И победы в борьбе со Сталиным Троцкий или Зиновьев с Каменевым, Юрию Борову пришлось бы писать другую книгу, а проживи Ленин еще 10-15 лет, обширнейшая сейчас Лениниана была бы совсем другой.

Марксизм создает такое общество распределения, в котором неизбежно все будут зависеть от главного распределителя, а поскольку это не всем будет нравиться, то неизбежен террор по отношению к этим независимым и лакейская покорность запуганных. И как было сказано, правда, по другому поводу: "Абсолютная власть – развращает абсолютно".

Чем быстрее мы избавимся от вдолбленных с детства образов бородатых основоположников и указанного ими пути нашего несчастья, тем быстрее мы создадим гарантии от возникновения новых "Чьих-то-нибудь АД" и действительно приблизимся к "утверждению идеи демократического общества".

Евгений Крохмаль



Коротко об авторах

Б о р о д и н Леонид Иванович. Род. в 1938 году в Иркутске, в семье учителей. После школы поступил в Иркутский университет, откуда был исключен (и из комсомола) за участие в студенческом кружке "Свободное слово". Позднее поступил на исторический факультет педагогического института, который закончил в 1962 году. Работал над диссертацией "Философские взгляды Бердяева". По окончании института был директором средней школы в Серебрянке Ленинградской области.

В 1964 г. создал "Демократическую партию", а в 1965-м вступил в ряды ВСХСОН - Всероссийского Социал-Христианского Союза Освобождения Народа. Создателем и руководителем этой организации был Игорь Огурцов, проведенный в лагерях и ссылках 20 лет.

В 1967 году ВСХСОН был разгромлен КГБ. Л. Бородин был арестован вместе с другими членами организации. В мордовских лагерях Л. Бородин принимал участие в борьбе политзаключенных за свои права.

Освободившись в 1973 году, начал сотрудничать в самиздатском журнале "Вече", который до 1974 года выходил под редакцией Владимира Осипова. После разгрома журнала органами КГБ Бородин начинает издавать самиздатский "Московский сборник", который был призван отображать национально-религиозные проблемы. Ему удалось выпустить три номера этого журнала. В "Гранях" были опубликованы несколько статей из вышедших номеров.

Еще в период первого лагерного срока Л. Бородин начинает писать стихи, а затем и прозу. Впервые его стихи появились на Западе в журнале "Грани" (№ 105). Также в "Гранях" опубликованы: публицистическая статья "О русской интеллигенции" (№ 96), повести "Третья правда" (№ 119) и "Гологор". Эти повести и повесть "Год чуда и печали", а также сборник рассказов "Повесть странного времени" (1978) вышли отдельными книгами в издательстве "Посев" и были переведены на многие иностранные языки.

В мае 1982 года Л. Бородин был арестован вторично по ст. 70, ч. II и приговорен к 10 годам лагерей строгого режима с последующей пятилетней ссылкой. Уже после его ареста в "Гранях" были напечатаны роман "Расставание" (№№ 131-132) и повесть "Правила игры" (№ 140).

В 1987 году в небольшом потоке политзаключенных Л. Бородин был выпущен из лагеря по "горбачевской амнистии".

Леонид Бородин - член международного ПЕН-Клуба, лауреат "Премии Свободы" французского ПЕН-Клуба за 1983 год и многих других международных литературных премий.

В последние годы началось возвращение творчества Леонида Бородина русскому читателю. В настоящее время Л. Бородин - член редколлегии журнала "Москва".

Б ы ч к о в Виктор. Доктор философских наук. Старший научный сотрудник Института эстетики АН СССР. Автор многочисленных монографий, статей и книг по теории и истории христианской эстетики. Его статья "Умозрения Павла Флоренского - венец православной эстетики" была напечатана в "Гранях" № 157(3), 1990.

К л и м е н к о Ольга Константиновна (урожд. Косинская). Род. в 1899 году в Кронштадте. О ней см. в этом номере "Граней" послесловие публикатора к ее воспоминаниям (№№ 157-159).

К р е й д Вадим. Литературовед. Живет в США, преподает в университете. С недавнего времени член редколлегии одного из старейших изданий русской эмиграции "Новый журнал". Автор многочисленных литературоведческих и историко-литературных работ, опубликованных в русских эмигрантских изданиях.

О к у л о в Андрей. Родился в Ленинграде в 1960 году. Эмигрировал с семьей в конце 70-х годов. Журналистское образование получил в Англии. Член редколлегии журнала "Посев", в котором опубликовал большое число статей и

заметок. "Леший камень" - первая литературная попытка автора.

Р е д л и х Роман Николаевич. Род. в 1911 году в Москве. В эмиграцию попал в середине 30-х годов. Бессменный член редколлегии журнала "Посев". Философ, политолог, писатель. Автор огромного числа работ.

С а п о ж н и к о в Владимир Константинович. Родился в деревне на Алтае в середине 20-х годов. Писатель. О себе самом он более подробно рассказывает в своем произведении "Мое покаяние", опубликованном в этом номере "Грани".

С м а г и н а Елена. Молодой московский поэт. До недавнего времени почти не публиковалась.

С т и ш о в Максим. 22 года. Студент сценарного факультета Московского Государственного института кинематографии. Писать начал очень рано. Автор многочисленных рассказов и сценариев, пока еще ненапечатанных на родине. "Дневник старого писателя" - первая крупная работа Максима Стишова.

Т о л с т о й Иван Никитич. Ленинградский литературовед, публицист, эссеист. За последние два года много его статей было опубликовано в газете "Русская мысль".

Ф е л ь ш т и н с к и й Юрий Георгиевич. Род. в 1956 году в Москве. В 1978 году эмигрировал в США. Изучал историю в Брандайском университете на кафедре "Сравнительная история". Закончил аспирантуру Ратгерсского университета. Последние несколько лет работал в архивах Гувера Стенфордского университета. Специализируется по русской истории 1917-45 гг., новейшей истории дипломатии и по проблемам социализма. Автор целого ряда публикаций, статей, и книг, а также составитель и редактор нескольких документально-исторических сборников.

**Главный редактор
Е. А. Брейтбарт-Самсонова**

Адрес редакции журнала «Грани»:
Grani c/o Possev-Verlag, Flurscheideweg 15,
D 6230 Frankfurt a. M. 80
Тел. (069) 34 46 71

Непринятые рукописи не возвращаются.

Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

ЖУРНАЛ "ПОСЕВ"

"Посев" - общественно-политический журнал, выходит за рубежом с 1945 года.

"Посев" участвует во внутрироссийской политической борьбе за право, свободу и справедливость. Эта задача определяет направленность журнала, который:

поддерживает российское освободительное движение во всех его проявлениях;

стоит на позициях национально-государственных интересов России;

участвует в обсуждении современных и будущих проблем российского государства (политических, экономических, социальных, идеологических, духовных);

стремится к выявлению в России конструктивных сил, осознающих необходимость оздоровительных перемен во всех областях жизни страны и готовых к активному участию в их проведении.

С 1976 года журнал "Посев" выходил также в виде ежеквартального издания, предназначенного специально для переправки в страну и распространения среди советских граждан за рубежом. С 1990 года сливаются два издания - ежемесячный "Посев" и его квартальное издание. "Посев" в новой форме будет выходить каждый второй месяц на 160 страницах.

Г Р А Н И

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

Журнал выходит 4 раза в год.
320 страниц в номере.

Цена отдельного номера:	17,50 нм
Годовая подписка: в издательстве	60 нм
через магазины	70 нм
в СССР	30 руб.
организации:	35 руб.

Московский адрес для подписок:
129010 Москва
Абонентный ящик 72
В. Батшев
тел.: 465-05-05

Расходы по пересылке за счет подписчика

ПОСЕВ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

(6 выпусков в год)

В розничной продаже:	10 нм
Годовая подписка:	50 нм
В Москве:	3 руб.

Подписную плату следует посылать:
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

POSSEV-VERLAG
D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15

ISSN 0017-3185